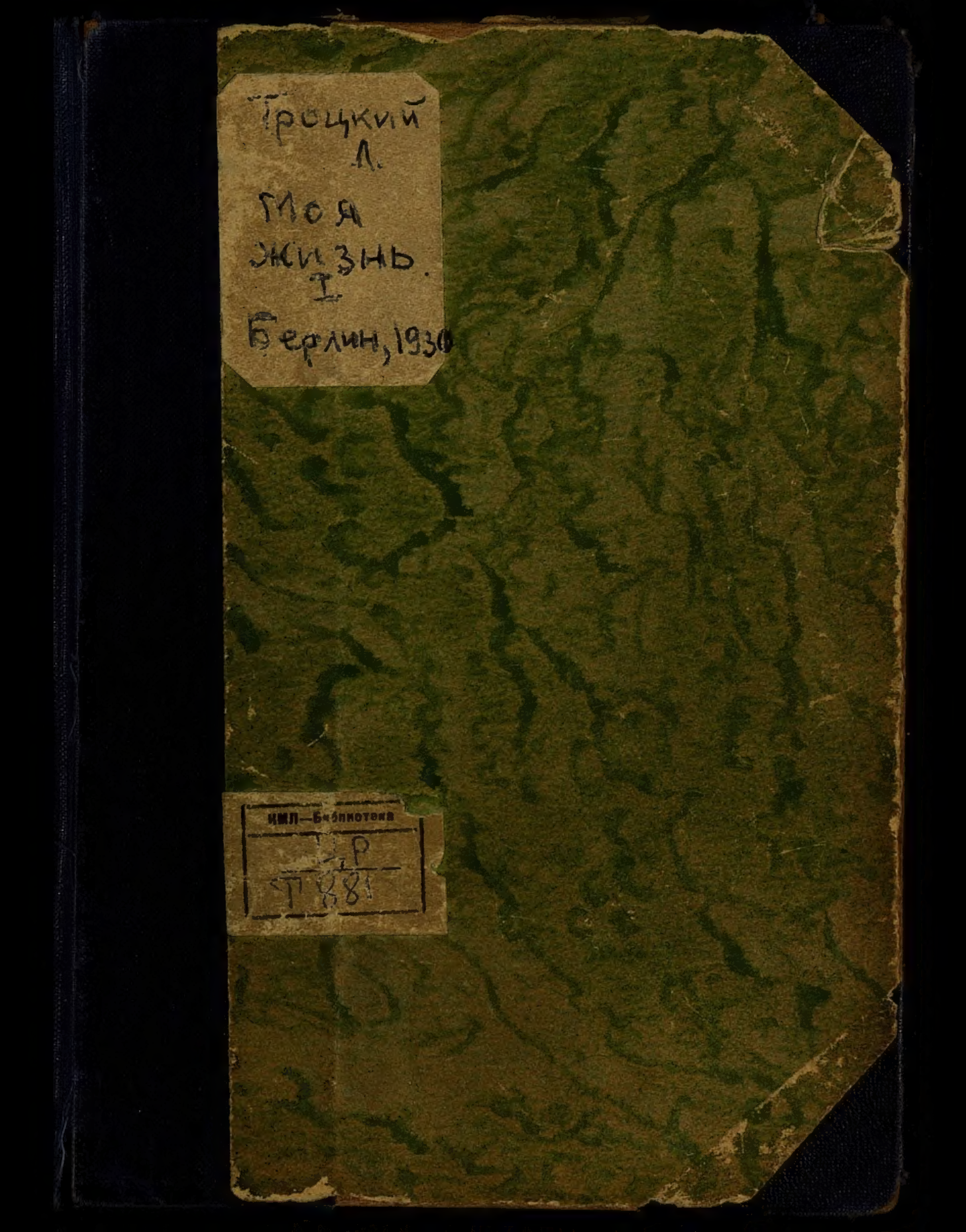
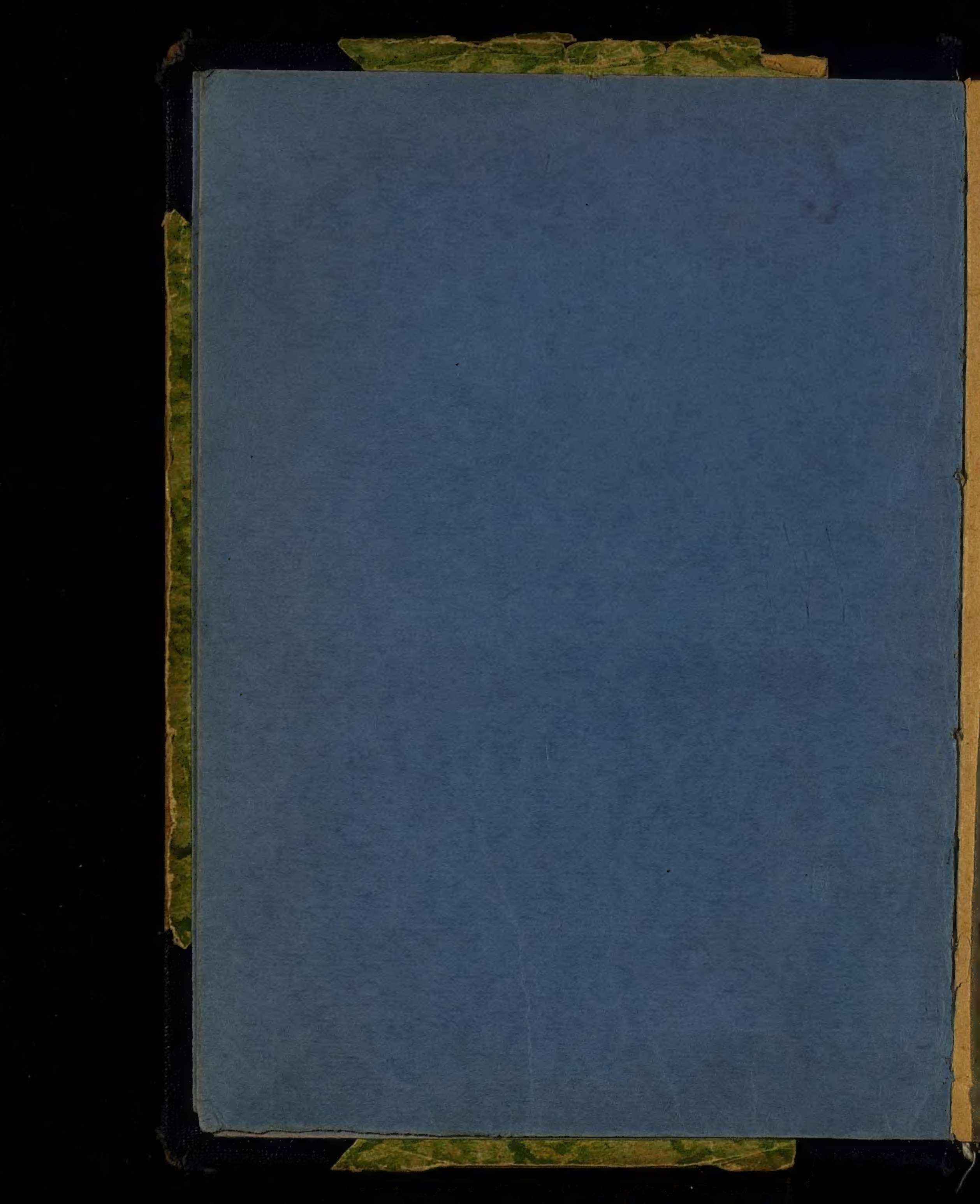

Троцкий
Л.
Моя
жизнь
I
Берлин, 1930
ИМЛ—Библиотека
Т 881



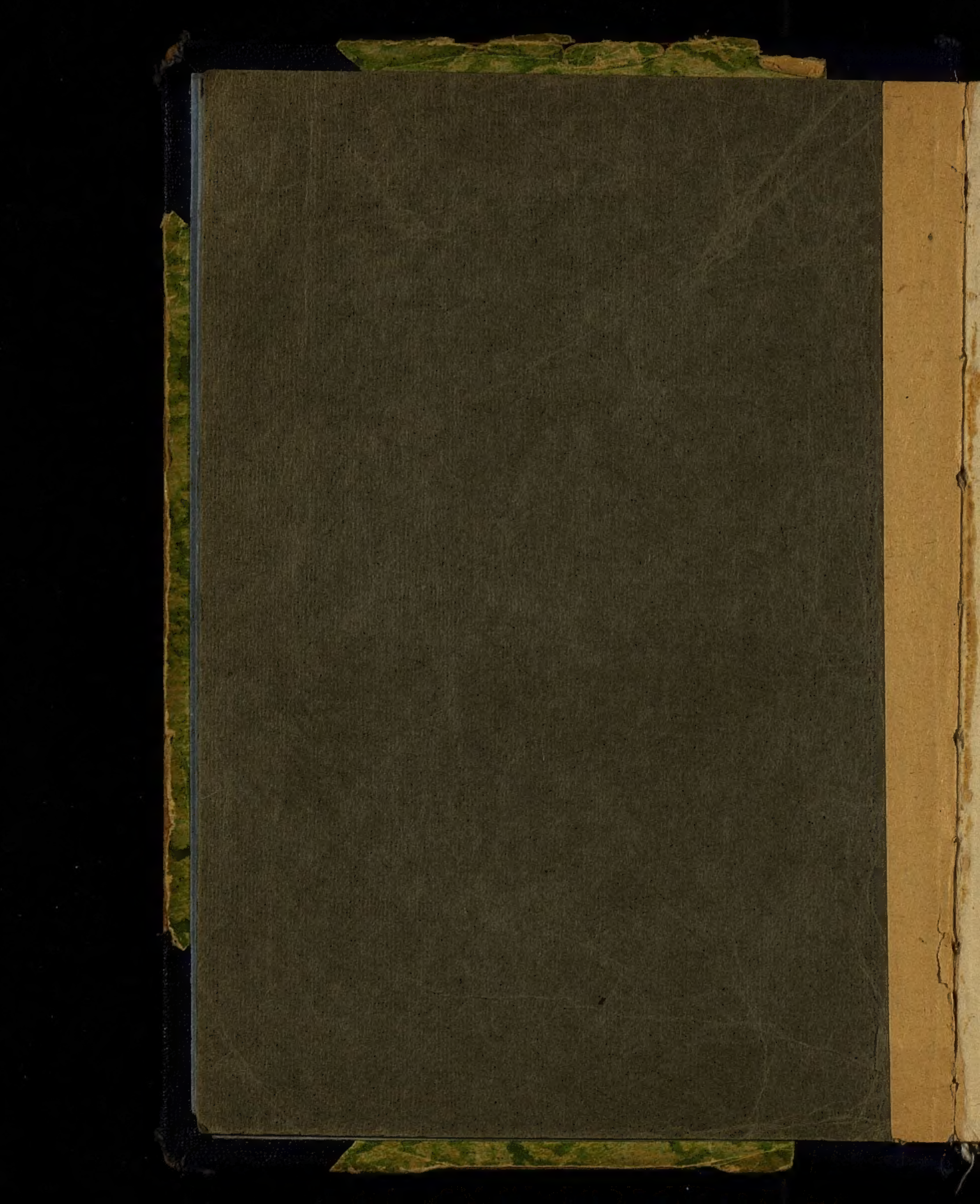
2

Л. ТРОЦКИЙ

МОЯ ЖИЗНЬ

I

ИЗ-ВО „ГРАНИТ“
БЕРЛИН



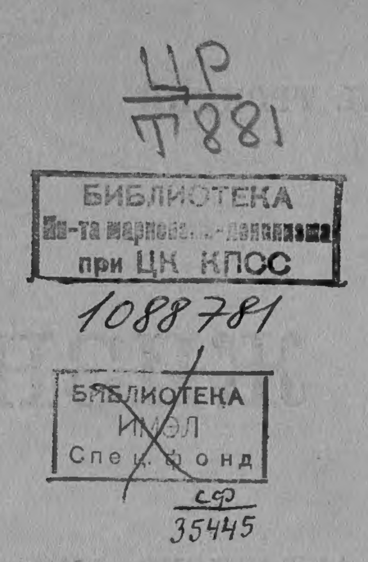
Л. ТРОЦКИЙ

МОЯ ЖИЗНЬ

ОПЫТ АВТОБИОГРАФИИ

I

ИЗ-ВО „ГРАНИТ“ • БЕРЛИН 1930



«Energiadruck», Berlin SW 61, Gitschiner Str. 91

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наше время снова обильно мемуарами, может быть более, чем когда-либо. Это потому, что есть, о чем рассказывать. Интерес к текущей истории тем напряженнее, чем драматичнее эпоха, чем богаче она поворотами. Искусство пейзажа не могло бы родиться в Сахаре. «Пересеченные» эпохи, как наша, порождают потребность взглянуть на вчерашний и уже столь далекий день глазами его активных участников. В этом объяснение огромного развития мемуарной литературы со времени последней войны. Может быть в этом же можно найти оправдание и для настоящей книги.

Самая возможность появления ее в свет создана паузой в активной политической деятельности автора. Одним из непредвиденных, хотя и не случайных этапов моей жизни оказался Константинополь. Здесь я нахожусь на бивуаке, — не в первый раз, — терпеливо дожидаясь, что будет дальше. Без некоторой доли «фатализма» жизнь революционера была бы вообще невозможна. Так или иначе, константинопольский антракт явился как нельзя более подходящим моментом, чтобы оглянуться назад, прежде чем обстоятельства позволят двинуться вперед.

Первоначально я написал беглые автобиографические очерки для газет и думал этим ограничиться. Отмечу тут же, что я не имел возможности следить

из своего убежища за тем, в каком виде эти очерки дошли до читателя. Но каждая работа имеет свою логику. Я вошел в свою тему лишь к тому моменту, когда заканчивал газетные статьи. Тогда я решил написать книгу. Я взял другой, несравненно более широкий масштаб и произвел всю работу заново. Между первоначальными газетными статьями и этой книгой общим является только то, что они говорят об одном и том же предмете. В остальном это два разных произведения.

С особенной обстоятельностью я остановился на втором периоде советской революции, начало которого совпадает с болезнью Ленина и открытием кампании против «троцкизма». Борьба эпигонов за власть, как я пытаюсь показать, была не только личной борьбой. Она выражала собою новую политическую главу: реакцию против Октября и подготовку термидора. Из этого сам собою вытекает ответ на вопрос, который так часто задавали мне: «как вы потеряли власть?»

Автобиография революционного политика затрагивает по необходимости целый ряд теоретических вопросов, связанных с общественным развитием России, отчасти и всего человечества, в особенности же с теми критическими периодами, которые называются революциями. Разумеется, я не имел возможности рассматривать на этих страницах сложные теоретические проблемы по существу. В частности так называемая теория перманентной революции, которая играла в моей личной жизни такую большую роль, и которая, что важнее,приобретает теперь столь острую актуальность для стран Востока, проходит через эту

книгу, как отдаленный лейтмотив. Если это не удовлетворит читателя, то я могу лишь сказать ему, что рассмотрение проблем революции по существу составит содержание особой книги, в которой я попытаюсь подвести важнейшие теоретические итоги опыту последних десятилетий.

* *
*

Так как на страницах моей книги проходит немалое количество лиц, не всегда в том освещении, которое они сами выбрали бы для себя или для своей партии, то многие из них найдут мое изложение лишенным необходимой объективности. Уже появление отрывков в периодической печати вызвало кое-какие опровержения. Это неизбежно. Можно не сомневаться, что если-б мне удалось даже сделать автобиографию простым дагеротипом моей жизни, — к чему я вовсе не стремился, — она все равно вызвала бы отголоски тех прений, которые порождались в свое время излагаемыми в ней коллизиями. Но эта книга не бесстрастная фотография моей жизни, а ее составная часть. На этих страницах я продолжаю ту борьбу, которой посвящена вся моя жизнь. Излагая, я характеризую и оцениваю; рассказывая, я защищаюсь, и еще чаще нападаю. Мне думается, что это единственный способ сделать биографию объективной в некотором более высоком смысле, т. е. сделать ее наиболее адэкватным выражением лица, условий и [redacted]

Объективность не в притворном безразличии, с каким хорошо отстоявшееся лицемерие говорит о друзьях и врагах, внушая читателю косвенно то, что

неудобно сказать ему прямо. Такого рода объективность есть лишь светская ловушка, не более того. Мне она не нужна. Раз уж я подчинился необходимости говорить о себе — никому еще не удавалось написать автобиографию, не говоря о себе, — то у меня не может быть оснований скрывать свои симпатии и антипатии, свою любовь и свою ненависть.

Эта книга полемична. Она отражает динамику той общественной жизни, которая вся построена на противоречиях. Дерзости школьника учителю; прикрытые любезностью салонные шпильки зависти; непрерывная конкуренция торговли; остервенелое соревнование на всех поприщах техники, науки, искусства, спорта; парламентские стычки, в которых пульсирует глубокая противоположность интересов; повседневная неистовая борьба печати; стачки рабочих; расстрелы демонстрантов; пироксилиновые чемоданы, посылаемые по воздуху цивилизованными соседями друг другу; пламенные языки гражданской войны, почти не потухающие на нашей планете — все это разные формы социальной «полемики», от обыденной, повседневной, нормальной, почти незаметной, несмотря на свою напряженость, — до чрезвычайной, взрывчатой, вулканической полемики войн и революций. Такова наша эпоха. С ней вместе мы выросли. Ею мы дышим и живем. Как же мы можем не быть полемичны, если хотим быть верны нашему отечеству во времени?

* * *

Но есть другой более элементарный критерий, который касается простой добросовестности в изложении фактов. Как самая непримиримая революци-

онная борьба должна считаться с обстоятельствами места и времени, так и наиболее полемическое произведение должно соблюдать те пропорции, которые существуют между вещами и людьми. Хочу надеяться, что это требование мною соблюдено не только в целом, но и в частях.

В некоторых, немногочисленных, правда, случаях я излагаю беседы в форме диалога. Никто не станет требовать дословного воспроизведения бесед много лет спустя. Я на это и не претендую. Некоторые диалоги имеют скорее символический характер. Но у всякого человека в жизни были моменты, когда тот или другой разговор особенно ярко врезывался в его память. Такие беседы обыкновенно пересказываешь не раз своим близким и политическим друзьям. Благодаря этому они закрепляются в памяти. Я имею в виду, разумеется, прежде всего, беседы политического характера.

Хочу отметить здесь, что я привык доверять своей памяти. Показания ее не раз подвергались объективной проверке и с успехом выдерживали ее. Здесь необходима, впрочем, оговорка. Если моя топографическая память, не говоря уж о музыкальной, очень слаба, а зрительная, как и лингвистическая довольно посредственна, то идейная память значительно выше среднего уровня. Между тем, в этой книге идеи, их развитие и борьба людей из-за этих идей, занимают, в сущности, главное место.

Правда, память не автоматический счетчик. Она меньше всего бескорыстна. Нередко она выталкивает из себя или отодвигает в темный угол такие эпизоды, какие невыгодны контролирующему ее жизнен-

ному инстинкту, чаще всего под углом зрения самолюбия. Но это уж дело «психоаналитической» критики, которая иногда бывает остроумна и поучительна, но еще чаще — капризна и произвольна.

Незачем говорить, что я настойчиво контролировал свою память через посредство документальных свидетельств. Как ни затруднены были для меня условия работы, в смысле библиотечных и архивных справок, я имел все же возможность проверить все наиболее существенные обстоятельства и даты, в которых нуждался.

Начиная с 1897 г. я вел борьбу преимущественно с пером в руках. Таким образом, события моей жизни оставили почти непрерывный печатный след на протяжении 32 лет. Фракционная борьба в партии, начиная с 1903 г., была обильна личными эпизодами. Мои противники, как и я, не щадили ударов. Все они оставили печатные рубцы. Со времени октябрьского переворота история революционного движения заняла большое место в исследованиях молодых советских ученых и целых учреждений. Разыскивается в архивах революции и царского департамента полиции все, что представляет интерес, и издается с обстоятельными фактическими комментариями. В первые годы, когда еще не было нужды что-либо скрывать или маскировать, эта работа производилась с полной добросовестностью. «Сочинения» Ленина и часть моих выпущены государственным издательством с примечаниями, занимающими десятки страниц в каждом томе, и заключающими незаменимый фактический материал, как о деятельности авторов, так и о событиях соответственного периода. Все

это естественно облегчало мою работу, помогая установить правильную хронологическую канву и избежать фактических ошибок, по крайней мере грубых.

* *
*

Я не могу отрицать того, что моя жизнь протекала не совсем обычном порядком. Причин этого надо, однако, искать больше в условиях эпохи, чем лично во мне. Разумеется, нужны были также и известные личные черты, чтобы выполнять ту, хорошую или дурную работу, которую я выполнял. Но при других исторических условиях эти личные особенности могли бы мирно дремать, как дремлет бесчисленное количество человеческих склонностей и страстей, на которые общественная обстановка не предъявляет спроса. Зато могли бы может быть проявиться другие качества, которые оттеснены или подавлены ныне. Над субъективным возвышается объективное, и оно в последнем счете решает.

Моя сознательная и активная деятельность, начавшаяся примерно с 17—18 летнего возраста, протекала в постоянной борьбе за определенные идеи. В моей личной жизни не было никаких событий, которые сами по себе заслуживали бы общественного внимания. Все сколько-нибудь из ряду выходящие факты моего прошлого связаны с революционной борьбой и от нее получают свое значение. Только это обстоятельство и может оправдать появление в свет моей автобиографии.

Но из этого же источника вытекает и затруднения для автора. Факты личной жизни оказались на-

столько тесно вплетены в ткань исторических событий, что трудно отделить одно от другого. Между тем, эта книга, все же, не исторический труд. События взяты не по их объективной значимости, а в зависимости от того, как они были связаны с фактами личной жизни. Немудренно, если в характеристике отдельных событий и целых этапов нет той пропорциональности, которой должно было бы требовать, если бы книга представляла собою исторический труд. Водораздел между автобиографией и историей революции приходилось нащупывать эмпирически. Не растворяя жизнеописания в историческом исследовании, необходимо, однако, было дать читателю опору в фактах общественного развития. Я исходил при этом из того, что основные контуры больших событий известны читателю, и что его память нуждается только в кратких напоминаниях об исторических фактах и об их последовательности.

* *
*

К моменту выхода в свет этой книги мне исполнится 50 лет. День моего рождения совпадает с днем октябрьской революции. Мистики и пифагорейцы могут из этого делать какие угодно выводы. Сам я заметил это курьезное совпадение только через три года после октябрьского переворота. До 9 лет я жил безвыездно в глухой деревне. Восемь лет учился в средней школе. Арестован был в первый раз через год после окончания ее. Университетами служили для меня, как и для многих моих сверстников, тюрьма, ссылка, эмиграция. В царских тюрьмах я сидел в

два приема около четырех лет. В царской ссылке провел первый раз около 2-х лет, второй раз — несколько недель. Дважды бежал из Сибири. В эмиграции прожил в два приема около 12 лет в разных странах Европы и Америки, два года до революции 1905 г. и почти десять лет после ее разгрома. Во время войны был заочно приговорен к тюремному заключению в гогенцоллернской Германии (1915 г.); был в следующем году выслан из Франции в Испанию, где после короткого заключения в мадридской тюрьме и месячного пребывания под надзором полиции в Кадиксе был выслан в Америку. Там меня застигла февральская революция. По дороге из Нью-Иорка я был в марте 1917 г. арестован англичанами и содержался месяц в концентрационном лагере в Канаде. Я участвовал в революциях 1905 и 1917 г.г., был председателем петербургского совета депутатов в 1905 г., затем в 1917 г. Я принимал близкое участие в октябрьском перевороте, и был членом советского правительства. В качестве народного комиссара по иностранным делам вел мирные переговоры в Брест-Литовске с делегациями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. В качестве народного комиссара по военным и морским делам я посвятил около пяти лет организации красной армии и восстановлению красного флота. В течение 1920 года я соединял с этим руководство расстроенной железнодорожной сетью.

Главное содержание моей жизни — за вычетом годов гражданской войны — составляла, однако, партийная и писательская деятельность. Государственное издательство приступило в 1923 году к изданию

собрания моих сочинений. Оно успело выпустить тринадцать книг, не считая вышедших ранее пяти томов военных работ. Издание было приостановлено в 1927 г., когда гонения против «троцкизма» стали особенно ожесточенными.

В январе 1928 года, я был отправлен нынешним советским правительством в ссылку, провел год на границе Китая, был в феврале 1929 г. выслан в Турцию, пишу эти строки в Константинополе.

Даже в этом конспективном изложении внешнее течение моей жизни никак нельзя назвать монотонным. Наоборот, по числу поворотов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков можно сказать, что жизнь моя скорее изобиловала «приключениями». Между тем позволю себе сказать, что по склонности я не имею ничего общего с искателями приключений. Я скорее педантичен и консервативен в своих привычках. Я люблю и ценю дисциплину и систему. Совсем не ради парадокса, а потому, что так оно и есть, я должен сказать, что не выношу беспорядка и разрушения. Я был всегда очень прилежным и аккуратным школьником. Эти два качества я сохранил и в дальнейшей жизни. В годы гражданской войны, когда я в своем поезде покрыл расстояние, равное нескольким экваторам, я радовался каждому новому забору из свежих сосновых досок. Ленин, знавший об этом моем пристрастии, не раз дружески подтрунивал над ним. Хорошо написанная книга, в которой можно найти новые мысли, и хорошее перо, при помощи которого можно сообщить собственные мысли другим, всегда были для меня — остаются и сейчас — самыми ценными и близкими

плодами культуры. Стремление учиться никогда не покидало меня, и у меня много раз в жизни бывало такое чувство, что революция мешает мне работать систематически. Тем не менее почти треть столетия моей сознательной жизни целиком заполнена революционной борьбой, и если-б мне пришлось начинать сначала, я не задумываясь пошел бы по тому же пути.

Мне приходится писать эти строки в эмиграции, третьей по счету, в то время, как ближайшие мои друзья заполняют места ссылки и тюрьмы советской республики, в создании которой они принимали решающее участие. Некоторые из них колеблются, отходят, склоняются перед противником. Одни — потому, что морально израсходовались; другие потому, что не находят самостоятельно выхода из лабиринта обстоятельств; третьи — под гнетом материальных репрессий. Я два раза уже пережил такие массовые отходы от знамени: после крушения революции 1905 г. и в начале мировой войны. Я достаточно близко знаю, таким образом, из жизненного опыта, что такое исторические приливы и отливы. Они подчинены своей закономерности. Голым нетерпением не ускоришь их смены. Историческую перспективу я привык рассматривать не под углом зрения личной судьбы. Познать закономерность совершающегося и найти в этой закономерности свое место — такова первая обязанность революционера. И таково вместе с тем высшее личное удовлетворение, доступное человеку, который не растворяет своих задач в сегодняшнем дне.

Л. Троцкий.

Принкипо, 14 сентября 1929 г.

ГЛАВА I

Яновка

Детство слывет самой счастливой порой жизни. Всегда ли так? Нет, счастливо детство немногих. Идеализация детства ведет свою родословную от старой литературы привиллегированных. Обеспеченное, избыточное, безоблачное детство в наследственно богатых и просвещенных семьях, среди ласк и игр, оставалось в памяти, как залитая солнцем поляна в начале жизненного пути. Вельможи в литературе или плебеи, воспевавшие вельмож, канонизировали эту насквозь аристократическую оценку детства. Подавляющее большинство людей, поскольку оно вообще оглядывается назад, видит, наоборот, темное, голодное, зависимое детство. Жизнь бьет по слабым, а кто же слабее детей?

Мое детство не было детством голода и холода. Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток людей, поднимающихся из нужды вверх и не желающих останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все помыслы направлены на труд и накопление. В этом обиходе детям доставалось скромное место. Мы не знали нужды, но мы не знали и щедростей жизни, ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилий и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелкобуржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки.

Духовная атмосфера, окружавшая мои ранние годы, и та, в которой прошла моя дальнейшая сознательная жизнь, это два разных мира, отделенные друг от друга не только десятилетиями и странами, но и горными хребтами великих событий, и менее заметными, но для отдельного человека не менее значительными внутренними обвалами. При первом наброске этих воспоминаний мне не раз казалось, будто я описываю не свое детство, а старое путешествие по далекой стране. Я пытался даже вести рассказ о себе в третьем лице. Но эта условная форма слишком легко сбивается на беллетристику, т. е. на то, чего я прежде всего хотел бы избежать.

Несмотря на противоречие двух миров, единство личности переходит какими-то подспудными путями из одного в другой. Этим и объясняется, вообще говоря, интерес к биографиям и автобиографиям людей, которые, по той или иной причине, заняли несколько более пространное место в жизни общества. Я попробую поэтому с некоторой подробностью рассказать о своем детстве и своих школьных годах, ничего не предугадывая и не предрешая, т. е. не нанизывая факты на предвзятые обобщения, — просто так, как это было и как сохранила прошлое моя память.

Иногда мне казалось, что я помню, как сосал грудь матери. Надо думать, однако, что я просто перенес на себя то, что видел на младших детях. У меня были смутные воспоминания о какой-то сцене под яблоней в саду, которая разыгралась, когда мне было года полтора. Но и это воспоминание недостоверно. Наиболее твердо осталось в памяти такое происшествие: я с матерью в Бобринце, в семье Ц., где есть девочка двух или трех лет. Меня называют женихом, девочку невестой. Дети играют в зале на крашеном полу, потом девочка исчезает, а маленький мальчик стоит один у комода, он переживает момент остолбенения, как во сне. Входит мать с хозяйкой. Мать смотрит на мальчика, потом на лужицу возле него, потом опять на мальчика, качает укориз-

ненно головой и говорит: «как тебе не стыдно»... Мальчик смотрит на мать, на себя, и затем на лужицу, как на нечто ему совершенно постороннее.

— «Ничего, ничего, говорит хозяйка, дети заигрались».

Маленький мальчик не испытывает ни стыда, ни раскаяния. Сколько ему тогда было? Должно быть два года, но может быть и три.

Около того же времени я наткнулся на гадюку, гуляя с няней в саду. «Гляди, Лева, сказала няня, показывая что то блестящее в траве, табачница зарыта в земле». Няня взяла палочку и стала раскапывать. Самой няне вряд ли было больше шестнадцати лет. Табачница развернулась, вытянулась в змею и с шипением поползла по траве. — Ай! ай! вскричала няня и, схватив меня за руку, быстро побежала прочь. Мне было трудно переставлять быстро ноги. Захлебываясь, я рассказывал потом, как мы думали, что нашли в траве табачницу, а оказалась гадюка.

Вспоминается еще ранняя сцена на «белой» кухне. Ни отца, ни матери дома нет. В кухне. кроме прислуги и кухарки, их гости. Старший брат, Александр, приехавший на каникулы, вертится тут же. Он становится обеими ногами на деревянную лопату, как на ходули, и долго пляшет на ней по земляному полу кухни. Я прошу брата уступить мне лопату, делаю попытку взобраться на нее, падаю и плачу. Брат поднимает меня, целует и на руках уносит из кухни.

Мне, должно быть,было уже года четыре, когда кто-то посадил меня на большую серую кобылу, смирную как овца, без седла и без уздечки, только с веревочным недоуздком. Широко раскарячив ноги, я обеими руками держался за гриву. Кобыла тихо подвезла меня к грушевому дереву, и прошла под веткой, которая пришлась мне по животу. Не понимая, что это значит, я съезжал по крупу вниз, пока не

шлепнулся в траву. Больно не было, но было непостижимо.

Покупных игрушек я в детстве почти не имел. Раз только из Харькова мать привезла мне бумажную лошадку и мяч. С младшей сестрой я играл в самодельные куклы. Однажды, тетя Феня и тетя Раиса, сестры отца, сделали нам несколько кукол из тряпочек, и тетя Феня навела карандашем глаза, рот и нос. Куклы казались необыкновенными, я помню их и сейчас. В один из зимных вечеров Иван Васильевич, наш машинист, вырезал и склеил из картона вагон с окнами и на колесах. Старший брат, приехавший на Рождество, сразу заявил, что сделать такой вагон можно в два счета. Он начал с того, что расклеил мой вагон, вооружился линейкой, карандашем и ножницами, долго чертил, а когда по чертежу отрезал, то вагон у него не сошелся.

Отъезжавшие в город родственники и знакомые не раз спрашивали меня: чего тебе привезти из Елизаветграда или Николаева? У меня разгорались глаза. Чего бы попросить? Мне приходили на помощь. Кто предлагал лошадку, кто книжки, кто цветные карандаши, а кто коньки. — Коньки «полугалифакс», говорю я, так как слышал это название от брата. Те, что обещали, забывали о своем обещании, едва переступив порог. А я несколько недель жил надеждой, а потом долго томился разочарованием.

В палисаднике на подсолнух села пчела. Так как пчелы кусаются и нужна осторожность, то я срываю лист лопуха и через этот лист схватываю пчелу двумя пальцами. Меня пронизывает неожиданная и невыносимая боль. С воплем я бегу через двор, в мастерскую, к Ивану Васильевичу. Он вынимает жало и смазывает палец спасительной жидкостью.

У Ивана Васильевича была банка, в которой тарантулы плавали в подсолнечном масле. Считалось, что это самое надежное средство от укусов. Тарантулов я ловил вместе с Витей Гертопановым. Для этой

цели на нитке укреплялся кусочек воску и спускался в норку. Тарантул вцепляется в воск всеми лапами и влипает. Дальше остается только захватить его в пустую спичечную коробку. Впрочем, охота на тарантулов относится должно быть к более позднему времени.

Вспоминаю разговор старших, за долгим зимним вечерним чаем, о том, как и когда купили Яновку, сколько кому из детей было тогда лет, и когда на службу поступил Иван Васильевич. Мать говорит: «А Леву перевезли с хутора уже готовенького», и посматривает лукаво на меня. Я умозаключаю про себя, а затем говорю вслух: «значит, я родился на хуторе?..» «Нет, — говорят мне, — ты родился уже здесь, в Яновке».

«А как же мама говорит, что меня привезли готовеньким?» . . .

«Это мама так себе сказала, пошутила» . . . Я не удовлетворен, и размышляю, что это странная шутка, но умолкаю, потому что на лицах старших вижу ту особую улыбку посвященных, которой очень не люблю. Из этих воспоминаний за зимним чаем, когда никто никуда не спешит, вытекает хронология. Родился я в октябре, 26-го. Стало быть в Яновку родители мои переехали с хутора весною, или летом 1879 г.

Год моего рождения был годом первых динамитных ударов по царизму. Незадолго перед тем возникшая террористическая партия Народной Воли вынесла 26 августа 1879 года — за два месяца до моего появления на свет — смертный приговор Александру II. 19 ноября уже произведено было динамитное покушение на царский поезд. Начиналась грозная борьба, которая привела 1 марта 1881 г. к убийству Александра II, но в то же время и к гибели самой «Народной Воли».

За год перед тем закончилась русско-турецкая война. В августе 1879 г. Бисмарк заложил основания

австро-германского союза. Зола выпустил в этом году роман, где будущий организатор Антанты, тогдашний принц уэльский, выведен в качестве тонкого ценителя опереточных певиц («Нана»). Ветер реакции, усилившийся в европейской политике со времени Франко-прусской войны и разгрома парижской коммуны, еще не ослабевал. В Германии социал-демократия уже подпала под исключительные законы Бисмарка. Виктор Гюго и Луи Блан в 1879 г. внесли во Французскую палату требование амнистии коммунарам.

Но ни парламентские дебаты, ни дипломатические акты, ни даже динамитные взрывы не доносили своих отголосков до деревни Яновки, в которой я увидел свет и провел первые девять лет своей жизни. На необъятных степях Херсонской губернии и всей Новороссии жило особыми законами царство пшеницы и овец. Оно было прочно ограждено от вторжений политики своими пространствами и отсутствием дорог. Многочисленные степные курганы остались здесь, как вехи великого переселения народов.

Отец мой был земледельцем, сперва мелким, затем более крупным. Мальчиком он покинул со своей семьей еврейское местечко в Полтавской губернии, чтоб искать счастья на вольных степях Юга. В Херсонской и Екатеринославской губерниях имелось в те годы около сорока еврейских земледельческих колоний, с населением около 25.000 душ. Евреи-земледельцы были уравнены с крестьянами не только в правах (до 1881 г.), но и в бедности. Неутомимым, жестоким, беспощадным к себе и к другим трудом первоначального накопления отец мой поднимался вверх.

Метрическая книга велась в колонии Громоклей не очень исправно. Многое записывалось задним числом. Когда понадобилось мне поступить в среднее учебное заведение и оказалось, что я не вышел еще годами для первого класса, то в метриках перенесли мое рождение с 1879-го на 1878 год. Поэтому

годам моим велся всегда двойной счет: официальный и семейный.

Первые девять лет своей жизни я почти не высовывал носа из отцовской деревни. Звалась она — Яновкою по имени помещика Яновского, у которого была куплена земля. Старик Яновский вышел в полковники из рядовых, попал к начальству в милость при Александре II, и получил на выбор 500 десятин в еще не заселенных степях Херсонской губернии. Он построил в степи землянку, крытую соломою, и такие же незамысловатые надворные строения. С хозяйством у него, однако, не пошло. После смерти полковника, семья его поселилась в Полтаве. Отец купил у Яновского свыше 100 десятин, да десятин 200 держал в аренде. Полковницу, сухонькую старушку, помню твердо: она приезжала не то раз, не то дважды в год получать арендную плату за землю и поглядеть, все ли на месте. За ней посылали лошадей на вокзал и к подъезду выносили стул, чтобы легче было ей сойти с рессорного фургона. Фаэтон у отца появился лишь позже, когда завелись и выездные жеребцы. Старушке-полковнице варили бульон из курицы и яички в смятку. Гуляя с сестрой моей по саду, полковница отдирала сухонькими ноготками со стволов застывшую древесную смолу и уверяла, что это самое лучшее лакомство.

Посевы расширялись, увеличивалось число лошадей и скота. Пробовали завести мериносовых овец, но дело не наладилось. За то свиней было много. Они свободно ходили по двору, перерыли все окрестности и окончательно погубили сад. Хозяйство велось внимательно, но по старинке. Определить, какая отрасль давала выгоду, какая убыток, можно было лишь на глаз. По той же причине трудно было определить и размеры состояния. Все средства были всегда в земле, в колосе, в зерне, зерно лежало в закромах или передвигалось к портам. Иногда за чаем или за ужином отец вдруг вспоминал: «А ну-ка, запишите, я получил от комиссионера 1300

рублей: полковнице выслал 660, 400 отдал Дембовскому, та запишите еще, что Феодосии Антоновне дал 100 рублей, когда был весной в Елисаветграде».. Так, примерно, велась бухгалтерия. Тем не менее, отец медленно, но упорно поднимался вверх.

Жили мы в том самом земляном домике, который был построен старым полковником. Крыша была соломенной с бесчисленными воробьиными гнездами в застрехе. Стены снаружи давали глубокие трещины, и в этих трещинах заводились ужи. Их иногда принимали за гадюк, лили в щели горячую воду из самовара, но безуспешно. В большие дожди низкие потолки протекали, особенно в сенях: на земляной пол ставили чашки и тазы. Комнаты были маленькие, окна подслеповатые, в двух спальнях и детской полы были глиняные и плодили блох. В столовой настлали дощатый пол и раз в неделю натирали его желтым песком. А в главной комнате, шагов восемь длиною, которая торжественно называлась залом, пол был крашеный. Там помещали полковницу. В палисаднике вокруг дома росли кусты желтой акации, белых и красных роз, летом вились крученые панычи. Двор не был огражден вовсе. Большое глиняное здание под черепицей, которое строил уже отец, заключало в себе: мастерскую, хозяйскую кухню и людскую. Затем шел «малый» деревянный амбар, за ним «большой» деревянный амбар, потом «новый» амбар, все под камышем. Чтоб вода не подтекала и зерно не прело, амбары возвышались на камнях. В жару и холод под ними укрывались собаки, свиньи и домашняя птица. Куры находили там укромные места для носки яиц. Я не раз извлекал оттуда куриные яйца, ползая меж камней на животе: взрослому пролезть было невозможно. На крыше большого амбара каждый год заводятся аисты. Подняв к небу свои красные клювы, они глотают ужей и лягушек, — это страшно! Тело ужа извивается из клюва и кажется, будто змей ест аиста изнутри.

В амбаре, поделенном на закрома, свежая паху-

чая пшеница, шероховато-колючий ячмень, плоское, скользкое почти жидко-текущее льняное семя, черный с синевой бисер рапса, тонкий легкий овес. Когда дети играют в прятки, то разрешается, не всегда, а при почетных гостях, прятаться даже в амбарах. Перебравшись через загородку закрома, я карабкаюсь на пшеничный холм и переваливаюсь на другую его сторону. Руки по локти и ноги по колени уходят в расплывающуюся массу; в башмаки, нередко рваные, и за пазуху набивается зерно. Дверь амбара прикрыта, и на ней для виду кем-нибудь навешивается замок, только не запертый, — этого требовали правила игры. Я лежу в прохладе амбара, погруженный в зерно, вдыхаю растительную пыль и слышу, как Сеня В. или Сеня Ж., или Сеня С., или сестра Лиза, или еще кто, бродят по двору, находят спрятавшихся, но никак не могут открыть меня, утопающего в свежей арнаутке.

Конюшни, коровник, свинной хлев и птичник помещались по другую сторону дома. Все это было кое-как слеплено из глины, лозы и соломы. В сотне шагов от дома торчал высоким журавлем к небу колодец. За ним — пруд, омывавший мужицкие огороды. «Греблю» (плотину) каждую весну сносило полой водой, и ее снова укрепляли: соломой, землей, навозом. На пригорке у пруда стояла мельница. Дощатый барак укрывал десятисильную паровую машину и два постава. Здесь в ранние годы моего детства мать проводила большую часть своего трудового времени. Мельница работала не только для экономии, но и на всю округу. Крестьяне привозили зерно за 10—15 верст и платили за помол десятой мерой. В горячее время, накануне молотьбы, мельница работала 24 часа в сутки, и когда я научился считать и писать, мне приходилось иногда взвешивать крестьянский хлеб и высчитывать, сколько причитается помолу. Когда убирали урожай, мельница закрывалась, паровик уходил на молотьбу. Впрочем, позже установлен был неподвижный двигатель, новое

здание мельницы было построено из камня и черепицы, да и хозяйская землянка была заменена большим кирпичным домом под железом. Но все это произошло, когда мне подходил уже 17-ый год. Во время последних своих каникул я расчислял для будущего дома пробеги между окнами и размеры дверей, но никак не мог свести концы с концами. В следующий свой приезд в деревню я видел каменный фундамент. В самом доме мне жить уже не довелось. Теперь в нем помещается советская школа...

В мельнице мужики дожидались иной раз неделями. Кто жил поближе, тот ставил мешки в очередь, а сам уезжал домой. Дальние жили на возах, а в дождь спали в самой мельнице на мешках.

У одного из помольщиков пропала уздечка. Кто-то видел, как приезжий мальчишка вертелся около чужой лошади. Кинулись обыскивать отцовский воз, и в сене нашли уздечку. Отец мальчика, бородатый, угрюмый мужик крестился на восток и клялся, что это проклятый хлопец, арестантюга, сам надумал, и что он ему за это кишки выпустит. Но отцу не верили. Мужик поймал сына за шиворот, опрокинул на землю и стал стегать краденной уздечкой. Из-за спины взрослых я глядел на эту сцену. Хлопец кричал и божился, что больше не будет. Кругом угрюмо стояли дядьки, равнодушные к воплям подростка, курили цигарки и бормотали в бороды, что порет мужик с фальшью, только для вида, и что надо бы отстегать заодно и отца.

За сараями и хлевами шли клуни, т. е. огромные, на десятки сажен, крыши, одна камышевая, другая соломенная, поставленные прямо на землю, без стен. В клунях ссыпались холмы зерна; в дождливое или ветренное время там работали веялкой или решетом. Дальше за клунями находился ток, где молотили хлеб. Через балку стоял загон для скота, сложенный целиком из сухого навоза.

С полковничьей землянкой и со старым диваном в столовой связана вся моя детская жизнь. На этом

диване, обложенном фанерой под красное дерево, я сидел за чаем, за обедом, за ужином, играл с сестрой в куклы, а позже и читал. В двух местах обшивка прорвана. Дыра поменьше с того конца, где стоит кресло Ивана Васильевича, и дыра побольше там, где сижу я, подле отца. «Пора перетянуть диван новым сукном», — говорит Иван Васильевич. «Давно пора, — отвечает мать. Мы диван не перетягивали с того года, когда царя убили». «Та знаете, — оправдывается отец, — приедешь в этот проклятый город, туда, сюда бегаешь, извозчик кусается, та все думаешь, как поскорее вырваться назад в экономию, вот и забудешь про все покупки».

Через всю столовую проходил под низким потолком «сволок», большое выбеленное бревно, на которое сверху клались и ставились самые различные вещи: тарелки со съестным, чтобы кошка не съела, гвозди, веревочки, книжки, баночка с чернилами, заткнутая бумажкой, ручка со старым ржавым пером. В перьях избытка не было. Бывали недели, когда я строгал себе столовым ножом перо из дерева, чтобы срисовывать лошадок из старых номеров иллюстрированной «Нивы». Вверху под потолком, где был выступ дымохода, жила кошка. Там она выводила котят и оттуда спускала их в зубах, смелым прыжком вниз, когда становилось слишком жарко. О сволок неизменно стукались головою гости высокого роста, вставая из-за стола, и оттого вошло в обычай предупреждать гостей: «осторожно, осторожно», и указывать рукою вверх, под потолок.

Самым замечательным предметом в маленьком зале были клавесины, занимавшие не меньше, чем четверть комнаты. Этот предмет появился уже на моей памяти. Разорившаяся помещица, верст за пятнадцать-двадцать, переезжала в город и распродавала обстановку. У нее купили диван, три венских стула и старые разбитые клавесины, давно стоявшие в амбаре, с оборванными струнами. За клавесины заплатили шестнадцать рублей и привезли в Яновку на

арбе. Когда стали разбирать их в мастерской, из под деки вынули пару дохлых мышей. Несколько зимних недель мастерская была занята клавесинами. Иван Васильевич чистил,подклеивал, полировал, доставал струны, натягивал, настраивал. Все клавиши были восстановлены, и клавесины зазвучали в зале, хоть и дрябленькими, но все же неотразимыми голосами. Иван Васильевич перевел свои чудодейственные пальцы с клапанов гармонии на клавиши клавесины и играл камаринскую, польку и «мейн либер Августин». Стала учиться музыке старшая сестра. Бренчал иногда старший брат, который в Елисаветграде несколько месяцев обучался на скрипке. Наконец, и я стал по скрипичным нотам брата наигрывать на клавесинах одним пальцем. Слуха у меня не было, и любовь моя к музыке осталась слепой и беспомощной навсегда. Вот на этих то клавесинах показывал искусство своей правой руки, пригодной для концертов, сосед наш Моисей Харитонович М—ский. Весною двор превращается в море грязи. Иван Васильевич делает для себя деревянные калоши, вернее, котурны, и я с восторгом наблюдаю из окна, как он воздымается чуть не на поларшина выше обычного роста. Вскоре появляется в экономии дед шорник. Никто, повидимому, не знает его имени. Ему свыше 80 лет. Это николаевский (Николая I) солдат. Он прослужил в армии двадцать лет. Огромный, плечистый, с белой бородой и в белых волосах, еле переставляя тяжелые ноги, он подвигается к амбару, где устроил свою походную мастерскую. «Слабы ноги стали», жалуется дед уже лет десять. Зато руки его, пахнущие кожей, крепче клещей. Ногти, как клавиши из слоновой кости, очень острые на концах.

— Хочешь, покажу тебе Москву, говорит мне дед. Я, конечно, хочу. Дед берет меня большими пальцами под уши и поднимает вверх. Я чувствую прикосновение страшных ногтей, мне больно и обидно. Я болтаю ногами и требую спустить меня вниз.

— Не хочешь, говорит дед, и не надо. — Несмотря на обиду, я не отхожу.

— А ну-ка, говорит дед, поднимись-ка по лестнице на амбар, посмотри, что там на чердаке делается. Я чувствую уловку и колеблюсь. Оказывается, на чердаке младший мельник Константин с кухаркою Катюшей. Оба красивые, веселые, оба работяги. — А когда ты с Катюшей обвенчаешься? спрашивает Константина хозяйка. — Да нам и так хорошо, отвечает Константин. Венчаться — десять рублей клади, уж лучше я Кате сапоги куплю.

После жгучего степного напряженного лета, с его трудовой кульминацией, уборкой урожая, «страдой», которая развертывается далеко от дома, приближается ранняя осень, чтоб подвести итог году каторжного труда. Молотьба в полном разгаре. Центр жизни переносится на ток, за клунями, это с четверть версты за домом. Над током туча соломенной пыли. Барабан молотилки воет. Мельник Филипп в очках на молотилке у барабана. Черная борода его покрыта серой пылью. С воза подают ему снопы, он берет их не глядя, развязывает перевясло, раздвигает сноп и пускает в барабан. Рванув охапку, барабан рычит, как собака, схватившая кость. Соломотрясы выбрасывают солому, играя ею на ходу. С боку, из рукава, бежит полова (мякина). Ее отвозят к стогу волоком, и я стою на досчатом его хвосте, держась за веревочные вожжи. — Гляди, не упади! — кричит отец. Но я падаю уже в десятый раз то в солому, то в мякину. Серая туча пыли сгущается над током, барабан ревет, полова забивается за рубаху и в нос, приходится чихать. — Эй, Филипп, легче! — предостерегает снизу отец, когда барабан вдруг загрохочет слишком злобно. Я поднимаю волок, он вырывается всем весом, ударяет по пальцу руки. Боль такая, что все сразу исчезает из глаз. Крадучись, я отползаю в сторону, чтобы не видели, что я плачу, потом бегу домой. Мать льет на руку холодную воду и перевя-

зывает палец. Но боль не унимается. Палец нарывает в течение нескольких мучительных дней.

Мешки с пшеницей заполняют амбары, клуни и складываются ярусами под брезентом, во дворе. Хозяин сам становится нередко у решета, меж шестов, и учит, как поворачивать обод, чтобы отвеять мякину, и как потом одним коротким толчком выкинуть без остатка очищенное зерно в кучу. В клунях и под амбаром, где есть защита от ветра, вертятся веялки и кукольные отборники. Очищается зерно, готовится к рынку.

Появляются скупщики с медными сосудами и весами в аккуратных лакированных ящиках. Они делают пробу зерну, предлагают цену и суют задаток. Их принимают вежливо, угощают чаем и сдобными сухарями, но зерна им не продают. Они мелко плавают. Хозяин уже перерос эти пути торговли. У него свой комиссионер, в Николаеве. «Хай ще полежит, — отвечал отец, — зерно есть не просит». Через неделю получалось письмо из Николаева, а иногда и телеграмма: цена повысилась на пять копеек с пуда. «Вот и нашли тысячу карбованцев», говорил хозяин, «они не валяются». Но бывало и наоборот: цены падали. Таинственные силы мирового рынка находили себе пути и в Яновку. Возвращаясь из Николаева, отец сумрачно говорил: «кажуть, что . . . как ее звать . . . Аргентина много хлеба выкинула на сей год».

Зимою в деревне тихо. Работает по настоящему только мельница да мастерская. Топят соломою, которую прислуги приносят огромными охапками, рассыпая ее по пути и подметая каждый раз за собою. Весело запихивать солому в печь и глядеть, как она вспыхивает. Однажды дядя Григорий застал меня и младшую сестру Олю одних в столовой, синей от угара. Я вертелся среди комнаты, неузнавая предметов, и на оклик дяди упал в глубокий обморок. В зимние дни мы часто оставались одни в доме, особенно во время отъездов отца, когда все хозяйство

ложилось на мать. Иногда в сумерках мы с сестренкой сидели, прижавшись друг к другу на диване, с широко открытыми глазами и боялись шевелиться. Иногда в темную столовую входил с морозу гигант, скрипя огромными валенками, в огромной шубе, с огромным откидным воротником, с шапкой, с рукавицами на руках, с ледяшками на усах и бороде, и огромным голосом говорил в темноту: «зравствуйте». Застыв рядом в углу дивана, мы боялись ответить на приветствие. Тогда великан зажигал спичку и открывал нас в углу. Это оказывался сосед. Иногда одиночество в столовой становилось совершенно невыносимым, тогда я, несмотря на мороз, выбегал во внешние сени, открывал двери, выскакивал на камень — большой плоский камень перед порогом, — и оттуда кричал в темноту: — Машка, Машка, иди в столовую, иди в столовую, — много, много раз, потому что у Машки были в это время свои дела: на кухне, в людской или в другом месте. Наконец из мельницы приходила мать, зажигалась лампа, и появлялся самовар.

Вечером мы оставались обычно в столовой, доколе не засыпали. В столовую входили и уходили, брали и приносили ключи, из-за стола отдавались распоряжения, шла подготовка к завтрашнему дню. Я, младшая сестра Оля, старшая Лиза и отчасти и горничная жили в эти часы своей жизнью, зависимой от жизни взрослых и ими приглушаемой. Иногда сказанное кем-либо из старших слово будит какое-либо наше, особенное воспоминание. Я подмигиваю сестренке, она заглушенно хихикает, кто-нибудь из старших рассеянно взглядывает на нее. Я подмигиваю снова, она старается спрятать смех под клеенку и ударяется лбом о стол. Это заражает меня, иной раз и старшую сестру, которая с сохранением тринадцатилетнего достоинства лавирует между младшими и старшими. Если смех прорывался слишком бурно, я вынужден был спускаться под стол, красться промеж ног старших, и отдавив хвост кошке, проры-

ваться в соседнюю каморку, именуемую детской. Через несколько минут все начиналось сначала. От смеху слабели пальцы, так что нельзя было удержать стакан. Голова, губы, руки, ноги, все растворялось и текло в смехе. «Что с вами такое?» спрашивала усталая мать. Два круга жизни, верхний и нижний, на мгновение сливались. Старшие глядели на детей с вопросом, иногда благожелательно, чаще с раздражением. Тогда смех, застигнутый врасплох, бурно прорывался наружу. Оля снова уходила с головой под стол, я падал на диван, Лиза кусала нижнюю губу, горничная скрывалась за дверью.

— Ступайте-ка спать! говорили старшие.

Но мы не уходили, прятались по углам, боясь глядеть друг на друга. Сестренку уносили, а я чаще всего засыпал на диване. Кто-нибудь брал меня на руки. Спросонок я поднимал иногда громкий крик. Мне казалось, что меня обступили собаки или снизу шипят змеи, или разбойники уносят меня в лес. Детский кошмар врывался в жизнь взрослых. Меня по пути успокаивали, гладили и целовали. Так из смеха в сон, из сна в кошмар, из кошмара в пробуждение, я снова переходил в сон уже в перинах натопленной спальни.

Зима была все же наиболее семейным временем года. Выпадали целые дни, когда отец и мать почти не выходили из комнаты. Старший брат и сестра прибывали на Рождество из своих школ. В воскресенье Иван Васильевич, чисто вымытый и постриженный, вооруженный ножницами и гребешком, начинает стричь сперва отца, затем реалиста Сашу, затем меня. Саша спрашивает:

— А вы умеете, Иван Васильевич, стричь а ля капуль? Все поднимают голову на Сашу, а он рассказывает, как его в Елисаветграде цирульник замечательно постриг а ля капуль, а на другой день ему был за это от инспектора строгий выговор.

После стрижки садятся обедать. Отец и Иван Васильевич с двух концов стола в креслах, дети на

диване, мать напротив. Иван Васильевич столовался вместе с хозяевами, пока не женился. Зимою обедали медленнее, после обеда разговаривали, Иван Васильевич курил и пускал замысловатые кольца. Иногда сажали Сашу или Лизу читать вслух. Отец дремал, сидя на лежанке, и его на этом ловили. Вечером изредка садились играть в подкидного дурака, и тут бывало много возни и смеху, а иногда и маленьких ссор. Особенно считалось привлекательным сплутовать против отца, который играл невнимательно, смеялся, когда проигрывал, в отличие от матери, которая играла лучше, волновалась и зорко следила за тем, чтобы старший брат не плутовал против нее.

От Яновки до ближайшего почтового отделения 23 километра, до железной дороги — свыше 35 километров. Отсюда далеко до начальства, до магазинов, до городских центров и еще дальше до больших событий истории. Жизнь здесь регулировалась исключительно ритмом земледельческого труда. Все остальное казалось безразличным. Все остальное, кроме цен на мировой бирже зерна. Газет и журналов в деревне в те годы не получали: это явилось позже, когда я стал уже реалистом. Письма получались редко, с оказией. Иной раз сосед, захвативший из Бобринца письмо, носил его неделю и две в кармане. Получение письма было событием, получение телеграммы катастрофой.

Мне объясняли, что телеграмма идет по проволоке, а между тем я видел собственными глазами, что телеграмму привозил из Бобринца верховой, которому полагалось платить за это два рубля 50 коп. Телеграмма — это бумажка, как письмо, и на ней карандашом написаны слова. Как же она может итти по проволоке, разве ветром? Мне отвечали, что электричеством. Это было еще хуже. Дядя Абрам однажды внушительно объяснял мне: «по проволоке идет ток и делает знаки на ленте. Повтори». Я повторял: ток по проволоке и знаки на ленте. «Понял?» Понял. «А как же потом получается письмо?»

спросил я, имея ввиду телеграфный бланк, приходящий из Бобринца. «Письмо идет отдельно», отвечал дядя. Я недоумевал, зачем нужен ток, если «письмо» едет на лошади. Но дядя рассердился: «оставь в покое письмо», прикрикнул он, «я тебе объясняю о телеграмме, а ты мне все о письме». Так вопрос и остался невыясненным.

У нас гостила Полина Петровна, барынька из Бобринца с большими серьгами и с чубиком, напущенным на лоб. Ее потом мама отвозила в Бобринец, и я ехал с ними. Когда проехали курган, что на одиннадцатой версте, показались телеграфные столбы, и загудела проволока. «А как идет телеграмма?» обратился я к матери. «А вот ты попроси Полину Петровну — ответила растерянно мать, — она тебе объяснит». — Полина Петровна объяснила: «знаки на ленточке означают буквы, их переписывает на бумажке телеграфист, и бумажку отвозит верховой». Это было понятно. «А как же ток идет, ничего не видать?» — спросил я, глядя на проволоку. «А ток идет внутри», ответила Полина Петровна: «все эти проволоки сделаны, как трубочки, и внутри их течет ток». Это тоже было понятно, я надолго успокоился. Электро-магнитные жидкости, о которых я услышал года через четыре от учителя физики, показались мне гораздо менее вразумительными.

Отец и мать прошли через свою трудовую жизнь не без трений, но в общем очень дружно, хотя были они разные люди. Мать вышла из городской мещанской семьи, которая сверху вниз смотрела на хлебороба с потрескавшимися руками. Но отец был в молодости красив, строен, с мужественным и энергичным лицом. Он успел собрать кое-какие средства, которые в ближайшие годы дали ему возможность купить Яновку. Переброшенная из губернского города в степную деревню молодая женщина не сразу вошла в суровые условия сельского хозяйства, но зато вошла полностью и с той поры не выходила из трудовой упряжки в течение почти 45-ти лет. Из

8-ми рожденных от этого брака детей, выжило четверо. Я был пятым в порядке рождения. Четверо умерло в малых летах, от дифтерита, от скарлатины, умерло почти незаметно, как и выжившие жили незаметно. Земля, скот, птица, мельница требовали всего внимания без остатка. Времена года сменяли друг друга, и волны земледельческого труда перекатывались через семейные привязанности. В семье не было нежности, особенно в более отдаленные годы. Но была глубокая трудовая связь между матерью и отцом. — Подай матери стул, говорил отец, как только мать приближалась к порогу, покрытая белой пылью мельницы. — Ставь, Машка, скорей самовар, кричала хозяйка, еще не дойдя до дому, скоро хозяин будет с поля. Оба они хорошо знали, что такое предельная усталость тела.

Отец был несомненно выше матери и по уму, и по характеру. Он был глубже, сдержаннее, тактичнее. У него был на редкость хороший глаз — не только на вещи, но и на людей. Родители покупали вообще мало, особенно в старые годы, — и отец, и мать умели беречь копейку, — но отец безошибочно понимал, что покупал. Сукно, шляпа, ботинки, лошадь или машина, — у него во всем было чутье качества. — «Я грошей не люблю», говорил он мне позже, как бы оправдывая свою прижимистость, «но я не люблю, когда их нема. Беда, когда грошей треба, а их нема». Он говорил неправильно, на смеси русского и украинского языков, с преобладанием украинского. Людей он оценивал по манерам, по лицу, по всей повадке, и оценивал метко.

После многих родов и трудов мать стала одно время хворать и ездила в Харьков к профессору. Такие поездки были большими событиями, к ним долго готовились. Мать запасалась деньгами, банками с маслом, мешком со сдобными сухарями, жареными курицами и проч. Впереди предстояли большие расходы. Профессору надо было платить по три рубля за визит. Об этом говорили друг другу и

гостям, с поднятым вверх пальцем и с особенно значительным выражением лица; тут было и уважение к науке, и жалоба на то, что она так дорого обходится, и гордость тем, что есть возможность платить такие неслыханные деньги. Возвращения матери ждали с волнением. Мать приезжала в новом платье, которое казалось в яновской столовой неслыханно нарядным.

Когда дети были еще малы, отец в обращении с ними был мягче и ровнее. Мать часто раздражалась, иногда без основания, просто срывая на детях усталость или хозяйственную неудачу. В те годы считалось более выгодным просить о чем-либо отца. Но с годами отец становился жесточе. Причиной были трудности жизни, хлопоты, которые росли вместе с ростом дела, особенно в условиях аграрного кризиса 80-ых годов, и разочарования, принесенные детьми.

Долгими зимами, когда степным снегом заносило Яновку со всех сторон, наваливая сугробы выше окон, мать любила читать. Она садилась на небольшой треугольной лежанке в столовой, ставя ноги на стул или, когда надвигались ранние зимние сумерки, пересаживалась в отцовское кресло к маленькому обмерзшему окну и громким шопотом читала заношенный роман из Бобринецкой библиотеки, водя натруженным пальцем по строкам. Она нередко сбивалась в словах, и запиналась на сложно построенной фразе. Иногда подсказка кого-либо из детей совсем по иному освещала в ее глазах прочитанное. Но она читала настойчиво, неутомимо и в свободные часы зимних тихих дней можно было уже в сенях слышать ее размеренный шопот.

Отец научился разбирать по складам уже стариком, чтобы иметь возможность читать хотя бы заглавия моих книг. Я с волнением следил за ним в 1910 году в Берлине, когда он настойчиво стремился понять мою книжку о немецкой социалдемократии.

Октябрьская революция застигла отца очень зажиточным человеком. Мать умерла еще в 1910 г., но отец дожил до власти советов. В разгар гражданской войны, которая особенно долго свирепствовала на юге, сопровождаясь постоянной сменой властей, семидесятипятилетнему старику пришлось сотни километров пройти пешком, чтоб найти временный приют в Одессе. Красные были ему опасны, как крупному собственнику. Белые преследовали его, как моего отца. После очищения юга советскими войсками, он получил возможность прибыть в Москву. Октябрьская революция отняла у него, разумеется, все, что он нажил. Свыше года он управлял небольшой государственной мельницей под Москвой. С ним любил беседовать по хозяйственным вопросам тогдашний народный комиссар продовольствия Цюрупа. Отец умер весной 1922 года от тифа в тот час, когда я выступал с докладом на IV конгрессе Коминтерна.

Очень важным местом, главным местом в Яновке, была мастерская, в которой работал Иван Васильевич Гребень. Он поступил на службу, когда ему было 20 лет, в год моего рождения. Всем детям, в том числе и старшим, он говорил ты, а мы обращались к нему на вы и величали Иваном Васильевичем. Когда ему пришлось призываться, отец мой ездил с ним вместе, кое-кого они подкупали, и Гребень остался в Яновке. Это был человек большой одаренности и красивого типа, с темноруссыми усами и французской бородкой. Техника его была универсальна: он ремонтировал паровики, выполнял котельную работу, точил металлические и деревянные шары, отливал медные подшипники, делал пружинные дрожки, починял часы, настраивал рояль, обивал мебель, построил целиком двухколесный велосипед, только без шин. Между приготовительным классом и первым, я на этом сооружении научился велосипедной езде. В мастерскую немцы-колонисты привозили для ремонта сеялки и сноповязалки и приглашали Ивана Васильевича с собою на покупку молотилки или паровика. С отцом

советовались по вопросам хозяйства, с Иваном Васильевичем — по вопросам техники. В мастерской были помощники и ученики. Я во многих делах был учеником этих учеников.

Не раз я нарезал в мастерской гайки и винты. Эта работа давала удовлетворение, ибо явственный результат ее обнаруживался тут же под руками. Иногда брался растирать краски на гладко-отшлифованном каменном кругу. Но скоро приходило утомление, я все чаще спрашивал, не готово ли? Потерев кончиком пальца жирную смесь, Иван Васильевич качал отрицательно головою. Я уступал камень кому-нибудь из учеников.

Иногда Иван Васильевич садился на сундучек с инструментом, в углу, за верстаком, курил и глядел в пространство, не то обдумывая, не то припоминая, не то просто отдыхая без мысли. В таком случае я подбирался к нему со стороны и начинал ласково крутить один из его пышных темнорусых усов, или внимательно рассматривать его руки, — эти замечательные, совсем особенные кисти мастера. Вся кожа рук усеяна черными точками: это мельчайшие осколки, навсегда въевшиеся в тело, при насечке мельничного жернова. Пальцы вязкие, как корневища, но совсем не жесткие, расширяются к концам, крайне подвижные, а большой глубоко отгибается назад, образуя дугу. Каждый палец сознателен, живет и действует по своему, а вместе они составляют необыкновенную рабочую артель. Как ни мало мне лет, но я вижу, я чувствую, что эта рука не так, как все другие руки, держит молоток или клещи. На левой руке большой палец обведен наискосок ободком рубца. В самый день моего рождения Иван Васильевич хватил себя по руке топором, палец висел почти на одной коже. Отец случайно увидел, как молодой машинист, положив руку на доску, готовится отрубить палец начисто. «Постойте, закричал он, палец еще приростет». — Приростет, думаете? — спросил машинист и отложил топор. Палец действительно прирос, работает исправ-

но, только отгибается назад не так глубоко, как на правой руке.

Старую берданку Иван Васильевич переделал на дробовник и теперь испытывал правильность боя: все по очереди пробовали на расстоянии нескольких шагов ударом по пистону потушить свечу. Не у всех выходило. Случайно вошел мой отец. Когда он брал ружье на прицел — у него дрожали руки, да и ружье он держал как-то неуверенно. Тем не менее свечу потушил сразу. У него был меткий глаз во всяком деле, и это понимал Иван Васильевич. У них никогда не выходило перекоров, хотя с другими отец говорил по хозяйски, часто выговаривал и поправлял.

В мастерской я никогда не был без дела. Я раскачивал рукоятку поддувала, устроенного Иваном Васильевичем по собственной системе: вентилятор был невидим, так как находился на чердаке, и это вызывало изумление всех посетителей. Я вертел до изнеможения колесо токарного станка, особенно когда на нем точились крокетные шары из слоистой акации. В мастерской шли тем временем разговоры один другого интереснее. Благопристойность тут соблюдалась не всегда. Вернее бы сказат, что она не соблюдалась вовсе. Зато кругозор мой расширялся не по дням, а по часам. Фома рассказывал про именья, в которых работал, про разные приключения помещиков и помещиц. Нужно сказать, что он не обнаруживал к ним большой симпатии. Мельник Филипп подгонял к теме воспоминания из своей военной жизни. Иван Васильевич ставил вопросы, сдерживал, дополнял.

Кочегар Яшка, он же иногда молотобоец, угрюмый рыжий человек лет тридцати, не держался на месте долго. Что-то подхватывало его; то осенью, то весной он скрывался, спустя полгода появлялся снова. Он пил редко, но тяжелым запоем. Имел страсть к охоте, но пропил ружье. Фома рассказывал, как Яшка в Бобринце пришел в лавку босой, ноги у него облипли черноземной грязью со всех сторон, потребовал пистончик для своей шомпольной одностволки,

рассыпал нарочно коробку, стал собирать, наступил на пистончик грузной ногой и унес.

— Врет Фома? спросил Иван Васильевич.

— Зачем врать, — ответил Яшка, — у меня-ж ни копейки не было. — Этот способ добывания нужных предметов казался мне замечательным и достойным подражания.

— Наш Игнат приехал, — сообщала горничная Маша, — а Дуньки нету, до своих на праздник пошла. Кочегар Игнат назывался нашим в отличие от горбатого Игната, который до Тараса был старостой. «Наш» Игнат уезжал призываться. Сам Иван Васильевич мерял ему грудь и говорил: «ни за что не возьмут». Приемная комиссия поместила Игната на месяц в больницу, на испытание. Там он познакомился с городскими рабочими и решил попытать счастья на заводе. На Игнате были городские сапоги, и полушубок с цветной мережкой. Целый день Игнат провел в мастерской, рассказывал про город, про работу, про порядки, про станки, про плату.

«Известно, завод» . . . говорил задумчиво Фома.

«Завод это тебе не мастерская» — прибавлял Филипп.

И все глядели задумчиво поверх мастерской.

— Много станков? — жадно переспросил Виктор.

— Как лес.

Я слушал не мигая и воображал себе завод, как раньше воображал лес: ни вверх, ни направо, ни налево, ни назад, ни вперед, ничего не видать, одни машины и среди этих машин — Игнат, туго подпоясанный ременным поясом. А у Игната оказались еще и часы. Они переходили из рук в руки. Вечером хозяин ходил по двору с Игнатом, за ними приказчик. Я тут же, то со стороны отца, то со стороны Игната. — «Ну, а харчиться? Хлеба купуешь? Молоко купуешь? За квартиру платишь? — «Это небеспременно, за все, как есть за все плати, — соглашался Игнат . . . Только заработок не тот».

— Знаю, что не тот, только весь твой заработок и уйдет на харчи.

— А все же таки, — оспаривал с твердостью Игнат, — я за полгода и оделся трошки и часы себе купил. Вот машинка в кармане. — И он снова показал часы. Этот довод был неотразим. Хозяин умолкал, потом спрашивал: «А не пьешь, Игнат? Там кругом таки учителя, что живо научат».

— «Да я даже и надобности в ней не имею, что за водка такая».

— «Ну, а как же Игнат, Дуньку возьмешь с собою? спрашивала хозяйка.

Игнат улыбался в сторону, чуть виновато, но не отвечал.

— «Эге, да я уже бачу, бачу, — говорила хозяйка, — уже завел видно городскую шлюху, признавайся шарлатан».

Так и уехал Игнат из Яновки.

В людскую детям возбранялось ходить. Но кто за этим мог уследить? В людской было всегда много нового. Долгое время кухаркой была скуластая женщина, с провалившимся носом. Муж ее старик, с парализованным наполовину лицом, был скотьим пастухом. Их называли кацапами, потому что они были из внутренней губернии. У этой четы была девочка лет восьми, очень миловидная, голубоглазая и беловолосая. Она привыкла к тому, что тятька с мамкой всегда бранятся.

В воскресные дни девушки искали в головах у парней или друг у друга. На охапке соломы лежат в людской рядом две Татьяны, Татьяна высокая и Татьяна маленькая. Конюх Афанасий, сын приказчика Пуда и брат кухарьки Параски, уселся поперек между ними, перебросил ноги через маленькую Татьяну, а сам облокотился на высокую.

— «Ишь, какой Магомет», с завистью говорит приказчик. — «А не пора ли тебе коней поить?».

Этот рыжеватый Афанасий да еще черный Мутузок были моими преследователями. Когда я попа-

дал к моменту раздачи кандера или каши, непременно раздается насмешливый голос: «а ты бы, Лева, пообедал с нами», или «а ты бы, Лева, у мамаши для нас курочек попросил». Я конфузился и уходил молчком. К Пасхе для рабочих выпекали куличи и красили яйца. Тетя Раиса была мастерица красить. Она привезла из колонии несколько узорных яиц и два подарила мне. За погребом, на скате катали яйца, цокали друг о друга: у кого крепче. Я подошел уже к самому концу, когда оставался один Афанасий. — Красивенькие? — спросил я, показывая ему писанки. — «Та ничего, — ответил Афанасий с видом безразличия. Хочешь, цокнем, у кого крепче?» Я не посмел отклонить вызов. Афанасий цокнул, и моя писанка треснула на макушке. «Значит мое, — сказал Афанасий. — А ну-ка давай другое». Я подставил покорно вторую писанку. Афанасий опять цокнул. «И это мое». Он деловито забрал обе писанки и пошел, не оглядываясь. Я смотрел с удивлением, и крепко хотел плакать, но дело было непоправимо.

Постоянных рабочих, не покидавших экономии круглый год, было немного. Главную массу, исчислявшуюся сотнями в годы больших посевов, составляли сроковые рабочие, киевцы, черниговцы, полтавцы, которых нанимали до Покрова, то-есть до первого октября. В урожайные годы Херсонская губерния поглощала 200-300 тысяч таких рабочих. За четыре летних месяца косари получали 40—50 рублей на хозяйских харчах, женщины 20—30 рублей. Жильем служило чистое поле, в дождливую погоду — стога. На обед — постный борщ и каша, на ужин — пшенная похлебка. Мяса не давали вовсе, жиры отпускались почти только растительные и в скудном количестве. На этой почве начиналось иногда брожение. Рабочие покидали жнивье, собирались во дворе, ложились в тень амбаров животами вниз, загибали вверх босые, потрескавшие, исколотые соломой ноги и ждали. Им давали кислого молока или арбузов, или полмешка тарани (сушеной воблы), и они снова уходили

на работу, нередко с песней. Так происходило во всех экономиях. Были косари, пожилые, жилистые, загорелые, которые приходили в Яновку лет десять под ряд, зная, что им работа всегда обеспечена. Они получали несколько добавочных рублей, и время от времени рюмку водки, так как они определяли темп работы. Иные являлись во главе целого семейного выводка. Шли из своих губерний пешком, целый месяц, питаясь краюхами хлеба, ночуя на базарах. В одно лето пришлые рабочие повально заболевали куриной слепотой. В сумерки они медленно передвигались, вытянув вперед руки. Гостивший в деревне племянник матери написал об этом корреспонденцию, которую заметили в земстве и прислали инспектора. На «корреспондента», которого очень любили, отец и мать были в обиде. Да он и сам был не рад. Никаких неприятных последствий, однако, не было: инспекция установила, что болезнь происходит от недостатка жиров, что распространена она почти во всей губернии, так как везде кормят одинаково, а кое-где и хуже.

В мастерской, в людской кухне, на задворках, жизнь раскрывалась передо мною шире, и по иному, чем в семье. Жизненная фильма не имеет конца, а я был только у самого начала. Присутствия моего никто не стеснялся, когда я был поменьше. Языки развязывались свободно, особенно в отсутствие Ивана Васильевича или прикащика, которые все же наполовину принадлежали к правящим. При свете кузнечного горна или кухонного очага, родители, родственники, соседи представали передо мною нередко совсем в новом освещении. Многое из тех бесед вошло в сознание навсегда. Многое может быть легло в основу моего отношения к современному обществу.

ГЛАВА II

Соседи. — Первая школа

В версте от Яновки, и того меньше, помещалась экономия Дембовских. Отец арендовал у них землю

и связан был с ними многолетними деловыми связями. Собственницей имения была Феодосья Антоновна, старая полька-помещица, из бывших гувернанток. После смерти первого богатого мужа, она женила на себе своего управляющего, Казимира Антоновича, моложе ее лет на 20. Федосья Антоновна давно уже не жила со своим вторым мужем, который по прежнему управлял имением. Казимир Антонович был высокий, усатый, веселый и крикливый поляк. Он не редко пил у нас чай за большим овальным столом и с шумом рассказывал пустяковые истории по два и три раза, повторяя отдельные словечки и пощелкивая пальцами.

У Казимира Антоновича была изрядная пасека, подальше от конюшень и хлевов, так как пчелы не выносят лошадиного запаха. Пчелы собирали мед с фруктовых деревьев, с белых акаций, с рапса, гречихи, словом, было им где разгуляться. Время от времени, Казимир Антонович сам приносил к нам в салфетке две перекрытые тарелки, меж которыми лежал кусок сотов в прозрачном золоте меда.

Иван Васильевич отправился, однажды, со мною к Казимиру Антоновичу, чтоб достать голубей на развод. В одной из угловых комнат большого пустого дома, Казимир Антонович угощал нас чаем. В больших, пахнущих сыростью тарелках стояли масло, творог и мед. Я пил чай с блюдечка и слушал медлительный разговор. «А не опоздаем?», спрашивал я потихоньку Ивана Васильевича. «Нет, погоди», отвечал Казимир Антонович, «надо им дать угомониться под крышей. Там их видимо невидимо». Я томился. Наконец, с фонарем в руках, полезли на чердак над амбаром. «Ну, теперь берегись», говорили мне Казимир Антонович. Чердак был длинный, темный, перегороженный в разных направлениях балками. Пахло мышами, пылью, паутиной и птичьим пометом. Фонарь потушили. «Тут они, хватайте», сказал потихоньку Казимир Антонович. И после этих слов началось неописуемое. В глубочайшей тем-

ноте открылась адская возня: чердак ожил и закружился вихрем. Один момент мне казалось, что рушится мир, что все погибло. Только постепенно пришел я в себя, слыша напряженные голоса: «есть еще, сюда, сюда . . . суйте в мешок . . . так его». Иван Васильевич нес мешок и в течение всего обратного пути, на спине у него шло как бы продолжение того, что было на чердаке. Голубятню устроили под крышей над мастерской. Я лазил по лестнице по десять раз на день, носил голубям воду, просо, пшеницу, крошки. Через неделю в одном из гнезд появилось два яичка. Но не успели еще все прочувствовать, как следует, удовлетворение от этого факта, как голуби стали пара за парой возвращаться на старые места. Осталось всего три пары с подрезанными крыльями, но и они через недельку, когда перья отросли, покинули прекрасно построенную голубятно с коридорной системой. На этом закончился опыт разведения голубей.

Под Елизаветградом отец снимал землю у барыни Т—цкой. Это вдова, лет под сорок, с характером. При ней состоит батюшка, тоже вдовый, любитель музыки, карт и многого другого. Барыня Т—цкая со вдовым батюшкой приезжает в Яновку, пересматривать условия аренды. Им отводят зал и соседнюю комнату. К столу подают курицу в масле, вишневую наливку и вареники с вишнями. После обеда я остаюсь в зале и вижу, как батюшка подсаживается к барыне Т—цкой и что то очень смешное говорит ей на ухо. Отвернув полу рясы и вытащив из кармана полосатых брюк серебряный портсигар с монограммой, батюшка закуривал папиросу и, ловко пуская кольца дыму, рассказывает в отсутствии барыни, как она в романах читает одни только разговоры. Все улыбаются из вежливести, но воздерживаются от суждений, так как знают, что батюшка все передаст барыне, да еще и присочинит.

У Т—цкой отец стал снимать землю вместе с Казимиром Антоновичем. К этому времени он уже овдовел и сразу переменился: в бороде исчезла про-

седь, появился крахмальный воротничек, галстук, булавка и карточка дамы в кармане. Казимир Антонович, хоть и посмеивался, как все, над дядей Григорием, но именно ему исповедывался во всех сердечных делах и показывал фотографическую карточку, вынимая ее из конверта. «Поглядите, — говорил он млевшему от восторга дяде Григорию: я этой особе говорю: сударыня, ваши губы созданы для поцелуев». На этой особе Казимир Антонович женился, но через год — полтора после женитьбы погиб неожиданной смертью: во дворе именья Т—цкой поднял его на рога бык и забодал на смерть...

Верстах в восьми находилось имение братьев Ф—зер. Земля исчислялась тысячами десятин. Дом был похож на дворец, богато обставлен, с многочисленными помещениями для гостей, с бильярдной и всем прочим. Братья Ф—зер, Лев и Иван, получили все это в наследство от отца Тимофея и постепенно наследство проживали. Имение было на руках у управляющего и, несмотря на двойную бухгалтерию, давало убыток. «Вы не смотрите, что Давид Леонтьевич живет в землянке, он богаче меня», говорил иногда старший Ф—зер про моего отца, и когда ему передавали об этом, он бывал явно доволен. Младший из братьев, Иван, проезжал, однажды, через Яновку с двумя охотниками верхом, с ружьями за спиною, со стаей белых борзых. Этого Яновка никогда не видела. — «Скоро-скоро они наследство прохотят», — сказал неодобрительно вслед отец.

Печать обреченности лежала на этих помещичьих семьях Херсонской губернии. Они проделывали крайне быструю эволюцию и все больше в одну сторону — к упадку, несмотря на то, что по составу своему были очень различны: и потомственные дворяне, и чиновники, одаренные за работу, и поляки, и немцы, и евреи, успевшие купить землю до 1881 г. Основоположники многих из этих степных династий были люди в своем роде выдающиеся, удачливые, по натуре хищники. Я, впрочем, не знал лично никого

из них, они все к началу восьмидесятых годов успели вымереть. Многие из них начинали с ломанного гроша, но смелой ухваткой, нередко с уголовщиной, прибирали к рукам гигантские куски. Второе поколение выростало уже в условиях скороспелого барства, с французским языком, с бильярдом и со всяким беспутством. Аграрный кризис 80-х годов, вызванный заокеанской конкуренцией, ударил по ним беспощадно. Они валились, как сухие листья с дерева. Третье поколение выделяло очень много полуразвалившихся прощалыг, никчемных людей, неуравновешенных и преждевременных инвалидов.

Наиболее чистой культурой дворянского разоренья была семья Гертопановых. По их имени Гертопановской называлось большое село и вся волость — Гертопановской. Когда-то вся округа принадлежала этой семье. Теперь у старика остались 400 десятин, но они заложены и перезаложены. Мой отец снимает эту землю, и арендные деньги идут в банк. Тимофей Исаевич жил тем, что писал крестьянам прошения, жалобы и письма. Приезжая к нам в гости, он прятал в рукав табак и сахар. Также поступала и жена его. Брызгаясь слюною, она рассказывала о своей юности, о рабынях, роялях, шелках и духах. Два сына их выросли почти неграмотными. Младший, Виктор, был учеником у нас в мастерской.

В 5—6 верстах от Яновки жили помещики — евреи М—ские. Это была причудливая и сумасбродная семья. Старик Моисей Харитонович, лет 60, отличался воспитанием дворянского типа: говорил бегло по-французски, играл на рояли, знал кое-что из литературы. Левая рука у него была слабая, а правая годилась, по его словам, для концертов. Он ударял по клавишам старых клавесин запущенными ногтями, точно кастаньетами. Начав с полонеза Огинского, переходил незаметно на рапсодию Листа, и сразу сползал на Молитву девы. Такие же скачки бывали у него и в разговоре. Неожиданно оборвав игру, старик подходил к зеркалу и, если никого по близости не было,

подпаливал папироской с разных сторон свою бороду, приводя ее, таким образом, в порядок. Курил он непрерывно, задыхаясь и как бы с отвращением. С женой своей, тяжелой старухой, не разговаривал уже лет 15. Сын его Давид, лет 35, с неизменной белой повязкой на лице и с красным подрагивающим глазом над повязкой, был неудачным самоубийцей. На военной службе нагрубил в строю офицеру. Тот ударил его. Давид дал офицеру пощечину, убежал в казарму и пытался застрелиться из винтовки. Пуля вышла через щеку, и оттого на ней неизменная белая повязка. Солдату грозила суровая расправа. Но в то время жив еще был родоначальник этой династии, старик Харитон, богатый, властный, малограмотный деспот. Он поднял на ноги всю губернию и добился для своего внука признания невменяемости. Может быть, впрочем, это было не так уж далеко от истины. Давид жил с тех пор с простреленной щекой и с паспортом сумасшедшего.

М—ские продолжали падать на моей памяти. В первые ранние мои годы Моисей Харитонович еще приезжал в фаэтоне на хороших выездных лошадях. Совсем маленьким, мне должно быть было 4-5 лет, я был у М—ских со старшим братом. Сад был большой, хорошо поддерживался, в нем были даже павлины. Это диковинное существо, с коронкой на капризной головке, с прекрасными зеркальцами на сказочном хвосте и со шпорами на ногах я видел впервые. Потом павлины исчезли и с ними многое другое. Забор вокруг сада завалился. Скот выбил плодовые деревья и цветы. Моисей Харитонович приезжал в Яновку в фургоне на лошадях крестьянского типа. Сыновья сделали попытку возродить имение, не по пански, а по мужицки. «Купим кляч, будем по утрам сами выезжать, как Бронштейн». «Ничего у них не выйдет», говорил мой отец. За покупкой «кляч» отправлен был в Елисаветград на ярмарку Давид. Он ходил по ярмарке, присматривался к лошадям глазом кавалериста и отобрал тройку. В деревню он вер-

нулся поздним вечером. Дом был полон гостей, в легких летних нарядах. Абрам с лампой в руках вышел на крыльцо разглядывать лошадей. С ним вышли дамы, студенты, подростки. Давид сразу почувствовал себя в своей сфере и разъяснял преимущество каждой лошади и особенно той, которая, по его словам, походила на барышню. Абрам чесал снизу бороду и повторял: «лошади то хорошие . . .» Кончилось пикником. Давид снял с миловидной гостьи туфлю, налил в нее пива и поднес к губам.

— Неужели вы будете пить? — спрашивала та, вспыхнув, не то от испуга, не то от восхищенья.

— Если я в себя стрелять не побоялся . . . — ответил герой, и опрокинул туфлю в рот.

— Ты бы уж лучше не хвалился своими подвигами, — неожиданно откликнулась всегда молчавшая мать, большая рыхлая женщина, на которой лежало хозяйство.

— Это у вас озимая пшеница? спрашивает Абрам М—ский моего отца, чтоб показать свою деловитость.

— Та вже-ж не яровая.

— Никополька?

— Та у меня-ж озимая.

— Я знаю, что озимая, только какой породы: никополька или гирка?

— Та я щось не чув, чтоб была озимая никополька. Може у кого е, а у меня нема. У меня сандомирка.

Так из этого усилия ничего и не вышло. Через год земля снова сдана была в аренду моему отцу.

Особую группу составляли немцы колонисты. Среди них были прямо богачи. Семейный уклад у них жестче, сыновья редко посылались в город, девушки обычно работали в поле. В то же время дома у них были из кирпича под зеленой и красной железной крышей, лошади породистые, сбруя исправная, рессорные повозки так и назывались немецкими фур-

гонами. Ближайшим к нам был Иван Иванович Дорн, подвижной толстяк, в полуботинках на босую ногу, с дубленными щеками в щетине, с проседью, всегда на прекрасном фургоне, расписанном яркими цветами и запряженном воронными жеребцами, которые били копытами землю. Таких Дорнов было не мало. Над ними высилась фигура Фальцфейна, овечьего короля, степного Канитферштана.

Тянутся бесчисленные стада. — Чьи овцы? — Фальцфейна. Едут чумаки везут сено, солому, полову. — Кому? — Фальцфейну. Мчится на тройке в расписных санях меховая пирамида. Это управляющий Фальцфейна. А то вдруг, пугая своим видом и ревом, пройдет караван верблюдов. Только у Фальцфейна они и водились. У Фальц-Фейна были жеребцы из Америки, быки из Швейцарии.

Родоначальник этой семьи, еще только Фальц, а не Фейн, служил шафмейстером у герцога Ольденбургского, которому отпущен был казною куш на разведение мериносовых овец. Герцог наделал около миллиона рублей долгу, а дела не сделал. Фальц скупил хозяйство, и пустил его не по герцогски, а по шафмейстерски. Его овечьи гурты росли, как его пастбища и экономии. Дочь его вышла замуж за овцевода Фейна. Так и объединились эти две овечьи династии. Имя Фальц-Фейна звучало, как топот десятков тысяч овечьих копыт, как блеяние бесчисленных овечьих голосов, как крик и свист степных чабанов с длинными гирлыгами за спиной, как лай бесчисленных овчарок. Сама степь выдыхала это имя в зной и в лютые морозы.

Я оставил позади первое пятилетие. Опыт мой расширяется. Жизнь страшно богата на выдумки и также прилежно занимается своими комбинациями в маленьком захолустье, как и на мировой арене. События наваливаются на меня, одно за другим.

С поля привезли работницу, которую укусила на жнивье гадюка. Девушка жалобно плакала. Рас-

пухшую ногу ее туго перевязали повыше колена и опустили в боченок с кислым молоком. Девушку отвезли в Бобринец, в больницу, откуда она снова вернулась на работу. Она носила на укушенной ноге чулок, грязный и порванный, и рабочие называли ее не иначе, как барышней.

Боров разгрыз лоб, плечи и руку парню, который кормил его. Это был новый огромный боров, который призван был обновить все свинное стадо. Парень был перепуган на смерть и всхлипывал, как мальчик. Его тоже отвезли в больницу.

Двое молодых рабочих, стоя на возах со снопами, перебрасывались железными вилами. Я пожирал это зрелище. Одному из них вилы вонзились в бок, и он свалился с воплем.

Все это произошло в течение одного лета. А между тем ни одно лето не обходилось без событий.

Осенней ночью снесло в пруд всю деревянную постройку мельницы. Сваи давно подгнили, и под ураганом досчатые стены двинулись, как паруса. Локомобиль, поставы, купорушка, кукольный отборник обнаженно глядели из развалин. Из-под досок выскакивали ежеминутно огромные мельничные крысы.

Полутайком я уходил вслед за водовозом в поле, на охоту за сусликами. Надо было аккуратно, не слишком быстро, но и не медленно, лить воду в нору и с палкой в руке дожидаться, пока над отверстием покажется крысинная мордочка с плотно прилегающей мокрой шерстью. Старый суслик сопротивляется долго, затыкая задом нору, но на втором ведре сдается и выскакивает навстречу смерти. У убитого надо отрезать лапы и нанизать на нитку: земство выдает за каждого суслика копейку. Раньше требовали предъявлять хвостик, но ловкачи из шкурки вырезывали десяток хвостиков, и земство перешло на лапки. Я возвращаюсь весь в земле и в воде. В семье не поощряли таких похождений, более любили, когда я сидел на диване в столовой и срисовывал слепого Эдипа с Антигоной.

Однажды, мы возвращались с матерью в санях из Бобринца, ближайшего к нам города. Ослепленный снегом, убаюканный ездою, я дремал. На повороте сани опрокидываются, и я падаю ничком. Сверху меня накрывает ковром и сеном. Я слышу тревожные оклики матери, но мне нет возможности отвечать. Кучер — это новый: молодой, рослый, рыжий — поднимает ковер и открывает мое местонахождение. Снова усаживаемся и едем. Но тут я начинаю жаловаться, что у меня по спине мурашки бегают от холода. — Мурашки? оборачивается молодой рыжебородый кучер, показывая крепкие, белые зубы. Я смотрю ему в рот и говорю: «да, знаете, как будто мурашки». Кучер смеется. — Ничего, говорит он, скоро доедем! — и подгоняет буланого. Следующей ночью этот самый кучер исчез вместе с буланым. В экономии тревога. Собирается в догонку конная экспедиция, со старшим братом во главе. Он седлает для себя Муца и обещает свирепо разделаться с похитителем. «Ты раньше догони его», говорит ему угрюмо отец. Двое суток проходит, прежде чем возвращается погоня. Брат жалуется на туман, который не дал настигнуть конокрада. Значит, красивый, веселый парень — это и есть конокрад? С такими белыми зубами?

Меня томил жар и я метался. Мешали руки, ноги и голова, они разбухали упирались в стену и потолок, и от всех помех некуда было уйти, потому что помехи шли изнутри. У меня болит в горле, и весь я горю. Мать глядит в горло, затем отец, они переглядываются с тревогой и решают смазать мне горло синим камнем. «Я боюсь, говорит мать, что у Левы дифтерит». «Если-б это был дифтерит, отвечает Иван Васильевич, он бы уже давно лежал на лавке». Я смутно догадываюсь, что лежать на лавке значит быть мертвым, как умерла младшая сестра Розочка. Но я не верю, что это может относится ко мне и слушаю разговор спокойно. В конце концов решают отвести меня в Бобринец. Мать не очень благочестива,

но в субботу не решается ехать в город. Со мной отправляется Иван Васильевич. Останавливаемся у маленькой Татьяны, бывшей нашей прислуги, которая замужем в Бобринце. Детей у нее нет, и поэтому нет опасности заразы. Доктор Шатуновский смотрит мне в горло, меряет температуру и, как всегда, утверждает, что ничего еще нельзя знать. Хозяйка Таня дает мне пивную бутылку, внутри которой из палочек и дощечек построена целая церковь. Ноги и руки перестают надоедать мне. Я выздоравливаю. Когда это произошло? Незадолго до открытия эры.

Дело было так. Дядя Абрам, старый эгоист, который проходил мимо детей неделями, вдруг в хорошую минуту призвал меня и спросил: «а скажи, прямо того, какой теперь год? не знаешь? 1885! повтори, запомни, я позже спрошу». Что это значит, я постигнуть не мог. — Да, теперь 1885 г. — сказала двоюродная сестра, тихая Ольга, а потом будет 1886. Этому я не поверил. Если уж допустить, что время имеет свое название, то 1885 год будет существовать вечно, т. е. очень, очень долго, как большой камень, заменяющий у входа порог, как мельница, наконец, как я сам. Бетя, младшая сестра Ольги, не знала, кому верить. Все трое чувствовали беспокойство от того, что вступили в новую область, точно распахнули с разбега дверь в наполненную сумраком комнату, где нет мебели, и гулко отдаются голоса. В конце концов мне пришлось сдаться. Все становились на сторону Ольги. Так первым нумерованным годом, который вошел в мое сознание, был 1885-ый. Он положил конец безформенному времени, до-исторической эпохе моего существования, хаосу: с этого узла началось летоисчисление. Мне тогда было шесть лет. Для России это был год неурожая, кризиса и первых больших рабочих волнений. Но меня он поразил лишь своим непостижимым наименованием. С тревогой пытался я раскрыть таинственную связь между временем и цифрами. Потом началось чередование годов, сперва медленно, а затем все быстрее. Но 85

долго выделялся среди них, как старший, как родоначальник. Он стал моей эрой.

Было однажды такое событие. Я сел в фургон перед крыльцом, и в ожидании отца, прибрал к рукам вожжи. Молодые лошади понесли с места мимо дома, мимо амбара, мимо сада, без дороги, полем, по направлению к усадьбе Дембовских. За спиною слышались крики. Впереди был ров. Лошади мчались в самозабвеньи. Только перед самым рвом, рванувшись в сторону и едва не опрокинув фургон, они остановились как вкопанные. Сзади бежали кучер, за ним двое-трое рабочих, дальше бежал отец, еще дальше кричала мать, старшая сестра ломала руки. Мать продолжала кричать, и тогда, когда я бросился к ней навстречу. Нельзя умолчать, что я получил два шлепка от отца, бледного, как смерть. Я даже не обиделся, так все было необыкновенно.

В этом же году, должно быть, я совершил с отцом поездку в Елизаветград. Выехали на рассвете, ехали не спеша, в Бобринце кормили лошадей, к вечеру доехали до Вшивой, которую из вежливости называли Швивой, пережидали там до рассвета, потому что под городом шалили грабители. Ни одна из столиц мира — ни Париж, ни Нью-Иорк — не произвела на меня впоследствии такого впечатления, как Елизаветград, с его тротуарами, зелеными крышами, балконами, магазинами, городовыми и красными шарами на ниточках. В течение нескольких часов я широко раскрытыми глазами глядел в лицо цивилизации.

Через год после открытия эры я стал учиться. Однажды утром, выспавшись и наскоро умывшись (умывались в Яновке всегда наскоро), предвкушая новый день, и прежде всего чай с молоком и сдобный хлеб с маслом, я вошел в столовую. Там сидела мать с неизвестным человеком, худощавым, бледно улыбающимся и как бы заискивающим. И мать и незнакомец посмотрели на меня так, что стало ясно: разговор имел какое-то отношение ко мне.

— Поздоровайся, Лева, — сказала мать, — это твой будущий учитель. Я поглядел на учителя с некоторой опаской, но не без интереса. Учитель поздоровался с той мягкостью, с какой каждый учитель здоровается со своим будущим учеником при родителях. Мать закончила при мне деловой разговор: за столько-то рублей и столько-то пудов муки учитель обязывался в своей школе, в колонии, учить меня русскому языку, арифметике и библии на древнееврейском языке. Объем науки определялся, впрочем, смутно, так как в этой области мать не была сильна. В чае с молоком я чувствовал уже привкус будущей перемены моей судьбы.

В ближайшее воскресенье отец отвез меня в колонию и поместил у тетки Рахили. В том же фургоне мы отвезли тетке пшеничной и ячменной муки, гречихи, пшена и прочих продуктов.

До Громоклея от Яновки было четыре версты. Колония располагалась вдоль балки: по одну сторону — еврейская, по другую — немецкая. Они резко отличны. В немецкой части дома аккуратные, частью под черепицей, частью под камышем, крупные лошади, гладкие коровы. В еврейской части разоренные избушки, ободранные крыши, жалкий скот.

Странно на первый взгляд, что первая школа оставила совсем мало по себе воспоминаний. Грифельная доска, на которой я списывал впервые буквы русской азбуки, выгнутый на ручке худой указательный палец учителя, чтение библии хором, наказание какого-то мальчика за воровство — смутные обрывки, туманные пятна, ни одного яркого образа. Изъятие составляла, пожалуй, жена учителя, высокая, полная женщина, которая время от времени принимала в нашей школьной жизни участие, каждый раз неожиданное. Однажды, во время занятий она пожаловалась мужу, что от новой муки чем то пахнет, и когда учитель протянул к ее руке с мукою свой острый нос, она вытряхнула всю муку ему в лицо. Это была ее шутка. Мальчики и девочки смеялись. Один учитель

был не весел. Мне было жаль его, когда он стоял среди класа с напудренным лицом.

Жил я у доброй тети Рахили, не замечая ее. Тут же во дворе, в главном доме владычествовал дядя Абрам. К племянникам и племянницам своим он относился с полным безучастием. Меня иногда выделял, зазывал к себе и угощал костью с мозгами, приговаривая: «За эту кость я бы, прямо того, и десять рублей не взял».

Дядин дом почти у самого въезда в колонию. В противоположном конце живет высокий черный, худой еврей, слывущий конокрадом и вообще мастером темных дел. У него дочь. О ней тоже говорят не хорошо. Недалеко от конокрада строчит на машинке картузник, молодой еврей, с огненнорыжей бородкой. Жена картузника приходила к правительственному инспектору колоний, который останавливался у дяди Абрама, жаловаться на дочь конокрада, отбивающую у нее мужа. Инспектор, видно, не помог. Возвращаясь однажды из школы, я видел, как толпа, с криками, воплями, плевками, волокла молодую женщину, дочь конокрада, по улице. Эта библейская сцена запомнилась на всегда. Несколько лет спустя на этой самой женщине женился дядя Абрам. Отец ее к этому времени был, по постановлению колонистов, выслан в Сибирь, как вредный член общества.

Бывшая моя няня Маша служила прислугой у дяди Абрама. Я часто бегал к ней на кухню: она олицетворяла связь с Яновкой. К Маше заходили гости, иногда очень нетерпеливые, и тогда меня легонько выпроваживали за плечи. В одно прекрасное утро, вместе со всем детским населением дома, я узнал, что Маша родила ребенка. Мы шептались по углам в радостной тревоге. Через несколько дней из Яновки приехала моя мать и ходила на кухню глядеть на Машу и ее ребенка. Я проник за матерью. Маша стояла в платочке, надвинутом на глаза, а на широкой скамье лежало бочком маленькое существо. Мать глядела на Машу, потом на ребенка и укоризненно

качала головой, ничего не говоря. Маша молча уставилась вниз, потом взглянула на ребенка и сказала: «Ишь, как ручку подложил под щеку, как большой». «А тебе жалко его?», спросила мать. «Нет», — ответила Маша притворно, — «бай дуже». — «Брешешь, жалко . . .» возразила мать примирительно. Ребеночек через неделю умер так же таинственно, как и появился на свет.

Я часто уезжал из школы в деревню и оставался там почти каждый раз неделю и дольше. Среди школьников я ни с кем не успел сблизиться, так как не говорил на жаргоне. Ученье длилось лишь несколько месяцев. Всем этим, надо думать, и объясняется скудость моих школьных воспоминаний. Но все же Шуфер — так звали громоклеевского педагога — научил меня читать и писать, и оба эти искусства пригодились мне в моей дальнейшей жизни. Я сохраняю поэтому о моем первом учителе благодарное воспоминание.

Я начинал продираться через печатные строки. Я списывал стихи. Я сам писал стихи. Позже я приступил со своим двоюродным братом Сеней Ж—ским к изданию журнала. Однако, на новом пути были свои тернии. Едва я постиг искусство письма, как оно уже повернулось ко мне соблазном. Оставшись, однажды, в столовой один, я начал печатными буквами записывать те особенные слова, которые слышал в мастерской и на кухне, и которых в семье не говорили. Я сознавал, что делаю не то, что надо, но слова были заманчивы именно своей запретностью. Роковую записочку я решил положить в коробочку из-под спичек, а коробочку глубоко закопать в землю за амбаром. Я далеко не довел своего документа до конца, как им заинтересовалась вошедшая в столовую старшая сестра. Я схватил бумажку со стола. За сестрой вошла мать. От меня требовали, чтобы я показал. Сгорая от стыда, я бросил бумажку за спинку дивана. Сестра хотела достать, но я истерически закричал: «Сам, сам достану». Я полез под диван и

стал там рвать свою бумажку. Отчаянию моему не было пределов, как и моим слезам.

На Рождество, должно быть, 1886 года, потому что я уже умел писать, ввалилась в столовую вечером, за чаем, группа ряженных. Это было так неожиданно, что я с испугу упал на диван, на котором сидел. Меня успокоили и я с жадностью слушал царя Максимилиана. Передо мною впервые открылся мир фантастики, претворенной в театральную действительность. Я был поражен, когда узнал, что главную роль выполнял рабочий Прохор, из солдат. На другой день я с карандашем и бумагой, пробрался в людскую, когда только что отобедали, и стал просить царя Максимилиана продиктовать мне свои монологи, Прохор отнекивался. Но я вцепился в него, просил, требовал, умолял, не давал отступить. В конце концов, мы поместились у окна, я стал записывать на корявом подоконнике рифмованную речь царя Максимилиана. Не прошло и пяти минут, как в дверь заглянул отец, увидал сцену у окна и строго сказал: «Лева, ступай в комнату». Я безутешно плакал на диване до вечера.

Я писал стихи, беспомощные строчки, которые изобличали может быть раннюю любовь к слову, но наверняка не предвещали поэтического развития в будущем. О моих стихах знала старшая сестра, через сестру — мать, а через посредство матери — отец. От меня требовали, чтоб я читал свои стихи при гостях. Это было мучительно стыдно. Я отказывался. Меня уговаривали, сперва ласково, потом с раздражением, наконец, с угрозами. Я нередко убегал. Но старшие умели настоять на своем. С бьющимся сердцем, со слезами на глазах, я читал свои стихи, стыдясь заимствованных строк или плохих рифм.

Но так или иначе, я уже вкусил от дерева познанья. Жизнь расширялась не по дням, а по часам. От дырявого дивана в столовой протягивались нити к мирам иным. Чтение открывало в моей жизни новую эпоху.

ГЛАВА III

Семья и школа

В 1888 году в моей жизни начались большие события. Меня отправили в Одессу учиться. Это произошло так. Летом жил в деревне племянник матери, 28 летний Моисей Филипович Шпенцер, умный и хороший человек, в свое время слегка «пострадавший», как говорили тогда, и потому не попавший из гимназии в университет. Он занимался немного журналистикой, немного статистикой. В деревню он приехал бороться с угрозой туберкулеза. У матери своей и нескольких сестер Моня, как его называли, был предметом гордости — и по способностям, и по характеру. Уважение к нему перешло и в нашу семью. Все заранее радовались его приезду. Вместо с другими радовался потихоньку и я. Когда Моня вошел в столовую, я стоял за порогом так называемой «детской», маленькой угловой комнаты, и не решался продвинуться вперед, потому что оба мои ботинка открывали два зияющих рта. Это было не от бедности — в то время семья была уже очень зажиточна, — а от деревенского безразличия, от перебремененности работой, от невысокого уровня семейных потребностей. «Здравствуй, мальчик», сказал Моисей Филиппович, «иди-ка сюда» . . . «Здравствуйте», ответил мальчик, но с места не двигался. Гостю с виноватым смехом объяснили, в чем дело, и он весело вывел меня из трудного положения, перенеся через порог и крепко обняв.

За обедом Моня был центром внимания: мать подкладывала ему лучшие куски, спрашивала, вкусно-ли, и добивалась, чего он любит. Вечером, когда стадо загнали в загон, Моня сказал мне: «Айда пить парное молоко, бери стаканы . . . Да ты их бери, голубчик пальцами снаружи, а не снутри». От Мони я узнавал многое, чего не знал ранее: как держать стаканы, и как умываться, и как правильно произ-

носить разные слова, и почему полезно для груди молоко прямо из под коровы. Шпенцер гулял, писал, играл в кегли и занимался со мною арифметикой и русским языком, готовя меня в первый класс. Я относился к нему восторженно, но и с тревогой: в нем чувствовалось начало какой-то более требовательной дисциплины. Это было начало городской культуры.

Моня был приветлив со своими деревенскими родственниками, много шутил и напевал мягким тенором. Но моментами его настроение чем-то омрачалось, он сидел за обедом молчаливым и замкнутым. На него глядели с тревогой, спрашивали, что с ним, не болен ли. Он отвечал кратко и уклончиво. Только смутно и то лишь к концу пребывания гостя в деревне, я стал догадываться о причинах таких приступов замкнутости: Моню поражала какая-нибудь деревенская грубость или несправедливость. Не то, чтобы дядя или тетка его были особенно суровыми хозяевами, нет, этого сказать ни в каком случае нельзя. Характер отношений к рабочим и крестьянам был никак не хуже, чем в других экономиях. Но и немногим лучше. А это значит, что он был тяжким. Когда приказчик отхлестал однажды длинным кнутом пастуха, который продержал до вечера лошадей у воды, Моня побледнел и сказал сквозь зубы: «какая гадость!». И я чувствовал, что это гадость. Не знаю, почувствовал ли бы я это без него. Думаю, что да. Но во всяком случае он помог мне в этом, и уже это одно привязало меня к нему на всю жизнь чувством благодарности.

Шпенцер собирался жениться на начальнице одесского казенного училища для еврейских девочек. В Яновке ее никто не знал, но все заранее считали, что она должна быть выдающимся человеком: и как начальница училища, и как будущая жена Мони. Было решено: следующей весною меня отвезут в Одессу, я буду жить в семье Шпенцера, и поступлю в гимназию. Портной из колонии кое-как обрядил меня, в большой ящик были уложены горшки с мас-

лом, банки с вареньем и другие гостинцы для городской родни. Прощались долго, плакал я крепко, плакала мать, плакали сестры, и тут я впервые почувствовал, как дорога мне Яновка со всеми, кто в ней. Ехали на станцию на лошадях, степью, и я плакал до самого поворота на большую дорогу. Из Нового Буга отправились поездом до Николаева, там пересаживались на пароход. Гудок парохода отдался мурашками в спине и прозвучал, как возвещение новой жизни. Но это только еще река Буг, море впереди. Многое, многое еще впереди. Вот пристань, извощик, Покровский переулок и старый большой дом, где помещается училище для девочек и его начальница. Меня рассматривают со всех сторон и целуют в лоб и щеки, сперва молодая женщина, потом старая, это ее мать. Моисей Филиппович шутит, как всегда, расспрашивает про Яновку, про всех обитателей и даже про знакомых коров. Но мне коровы кажутся теперь такими малозначительными существами, что я стесняюсь даже говорить о них в таком избранном обществе. Квартира невелика. В столовой мне отведен угол за занавесью. Здесь я и провел первые четыре года своей школьной жизни.

Я оказался сразу и целиком во власти той привлекательной, но и требовательной дисциплины, которой еще в деревне повеяло на меня от Моисея Филипповича. Режим в семье был не то, что строгий, но правильный: именно этим он в первое время ощущался, как строгий. В 9 часов мне полагалось ложиться спать. Лишь по мере моего передвижения в старшие классы час сна отодвигался. Мне шаг за шагом объясняли, что нужно здороваться по утрам, содержать опрятно руки и ногти, не есть с ножа, никогда не опаздывать, благодарить прислугу, когда она подает, и не отзываться о людях дурно за их спиною. Я узнавал, что десятки слов, которые в деревне казались непререкаемыми, суть не русские слова, а испорченные украинские. Каждый день предо мною открывалась частица более культурной среды, чем

та, в которой я провел первые девять лет своей жизни. Даже мастерская начинала блекнуть и утрачивать свои чары перед обаянием классической литературы и колдовством театра. Я становился маленьким горожанином. Но иногда деревня ярко вспыхивала в сознании и тянула к себе, как потерянный рай. Тогда я тосковал, слонялся, писал пальцем на стекле приветы матери или плакал в подушку.

Жизнь в семье Моисея Филипповича была скромной, средств хватало в обрез. У главы семьи не было определенной работы. Он делал переводы греческих трагедий с примечаниями, писал рассказы для детей, штудировал Шлоссера и других историков, намереваясь составить наглядные хронологические таблицы, и помогал своей жене по управлению училищем. Лишь позже он создал маленькое издательство, которое туго развивалось в первые годы, чтобы затем быстро подняться. Лет десять-двенадцать спустя он стал виднейшим издателем на юге России, владельцем большой типографии и собственного дома. Я прожил в этой семье шесть лет, которые совпали с первым периодом издательства. Я близко познакомился с набором, правкой, версткой, печатанием, фальцовкой и брошюровкой. Правка корректуры стала любимым моим развлечением. Любовь моя к свежеотпечатанной бумаге ведет свое происхождение от тех далеких школьных лет.

Как всегда в буржуазных, особенно в мелкобуржуазных семьях, прислуга играла хоть и малозаметную, но не малую роль в моей жизни. Первая прислуга Даша повела со мной особую дружбу, секретную, поверяя мне разные свои тайны. После обеда, когда все отдыхали, я шел украдкой на кухню. Там Даша урывками рассказывала мне про свою жизнь и про первую свою любовь. После Даши была житомирская еврейка, разошедшаяся с мужем: «такой злой, такой поганный», жаловалась она мне. Я стал учить ее грамоте. Каждый день она проводила не меньше получаса за моим столом, вникая в тайну

букв и их связи в словах. В это время в семье уже был младенец и понадобилась кормилица. Я писал кормилице письма. Она жаловалась своему мужу, уехавшему в Америку, на свои страдания. Я накладывал, по ее просьбе, самые мрачные краски, затем присовокуплял, что «только один наш младенец является яркой звездой на мрачном небосклоне моей жизни». Кормилица была в восторге. Я сам перечитывал письмо вслух с удовольствием, хотя заключительная часть, где говорилось насчет присылки долларов, смущала меня. Затем она просила:

— «А теперь еще одно письмо». — «Кому?» спрашивал я, готовясь к творчеству.

— «Двоюродному брату», отвечала кормилица, но как то неуверенно. Письмо тоже говорило о мрачной жизни, ничего не говорило о звезде, и заканчивалось согласием приехать к нему, если он того пожелает. Не успевала кормилица уйти с письмами, как ко мне входила прислуга, моя ученица, подслушивавшая, очевидно, у дверей. «И совсем он ей не двоюродный брат», шептала она мне с возмущением. — А кто же? спрашивал я. «Просто так себе»... отвечала она. И я имел повод поразмыслить над сложностью человеческих отношений.

За обедом Фанни Соломоновна сказала мне с особой улыбкой: «Что же ты, сочинитель, не хочешь еще супу?» «А что?» спросил я с тревогой. «Да ничего. Ведь это ты сочинял письма кормилице, значит, ты и есть сочинитель... Как это у тебя там сказано: «звезда на мрачном небосклоне», — право, сочинитель». И не выдержав тона, она расхохоталась.

— Написано хорошо, сказал, успокаивая меня Моисей Филиппович, — только, знаешь, больше уж не пиши ты ей писем, пусть лучше Фанни сама ей пишет.

Путанная изнанка жизни, не признанная ни семьей, ни школой, не переставала от этого существовать и оказывалась достаточно могущественной и вездесущей, чтоб добиться внимания к себе со сто-

роны десятилетнего мальчика. Ее не пускали ни через школьную комнату, ни через парадную дверь квартиры. Она нашла себе путь через кухню.

Десятипроцентная норма для евреев в казенных учебных заведениях введена была в 1887 году. Попасть в гимназию было совсем почти безнадежно: требовались протекция или подкуп. Реальное училище отличалось от гимназии отсутствием классических языков и более широким курсом по математике, естествознанию и новым языкам. «Норма» распространялась и на реальные училища. Но наплыв сюда был меньше и потому шансов больше. В журналах и газетах долго шла полемика по поводу классического и реального образования. Консерваторы считали, что классицизм прививает дисциплину, вернее сказать, надеялись, что гражданин, вынесший в детстве греческую зубрежку, вынесет в течение остальной жизни царский режим. Либералы же, не отказываясь от классицизма, который-де является молочным братом либерализма, ибо оба они происходят от Ренессанса, покровительствовали в то же время и реальному образованию. К тому времени, когда я определялся в учебное заведение, споры эти примолкли, вследствие особого циркуляра, запретившего обсуждение вопроса о предпочтительности разных родов образования.

Осенью я экзаменовался в первый класс реального училища св. Павла. Вступительный экзамен я выдержал посредственно: тройка — по русскому, четверка — по арифметике. Этого было недостаточно, так как «норма» вела к строжайшему отбору, осложнявшемуся, разумеется, взяточничеством. Решено было поместить меня в приготовительный класс, который состоял при казенном училище, в качестве частной школы, и откуда евреев переводили в первый класс хоть и по «норме», но с преимуществом над экстернами.

Реальное училище св. Павла, по происхождению своему, было немецким учебным заведением. Оно

возникло при лютеранской церковной общине и обслуживало многочисленных немцев Одессы и южного района вообще. Хотя училище св. Павла наделено было государственными правами, но так как в нем имелось только шесть классов, то для поступления в высшее учебное заведение, нужно было пройти через седьмой класс при другом реальном училище: предполагалось, очевидно, что в последнем классе будет выколочен излишек немецкого духа. Впрочем, и в самом училище св. Павла дух этот из года в год шел на убыль. Школьники-немцы составляли меньше половины, из школьной администрации немцы настойчиво вытеснялись.

Первые дни занятий в училище были сперва днями скорби, затем днями радости. Я шел в школу в новом с иголочки форменном костюме, в новой фуражке с желтым кантом и с замечательным металлическим гербом, который между двух трилистников заключал сложные инициалы училища. За спиною у меня был новенький ранец, а в нем новенькие учебники в блестящих переплетах и красивый пенал со свеже отточенным карандашом, новенькой ручкой и резинкой. Я восторженно нес весь этот груз великолепия по длинной Успенской улице, радуясь, что путь до школы не близок. Мне казалось, что все прохожие глядят с изумлением, а некоторые может быть и с завистью на мое замечательное снаряжение. Доверчиво и с интересом я оглядывал все встречные лица. Но совершенно неожиданно, высокий худой мальчик лет тринадцати, видимо из мастерской, так как он нес что-то жестяное в руках, остановился перед пышным реалистиком в двух шагах, откинул назад голову, шумно отхаркнулся, обильно плюнул мне на плечо новенькой блузы, посмотрел на меня с презрением и, не сказав ни слова, прошел мимо. Что толкнуло его на такой поступок? Теперь мне это ясно. Обездоленный мальчишка в изорванной рубашке и в опорках на босую ногу, который должен выполнять грязные поручения хозяев, в то время как сынки

их щеголяют в гимназических нарядах, выместил на мне свое чувство социального протеста. Но тогда мне было не до обобщений. Я долго вытирал плечо листьями каштана, кипел от бессильной обиды и последнюю часть пути совершил в омраченном настроении.

Второй удар ждал меня во дворе школы. — «Петр Павлович, вот еще один, кричали школьники, — тоже в форме, приготовишка несчастный». Что такое? Оказалось, вот что: так как приготовительный класс считался частной школой, то приготовишкам строжайше возбранялось носить форму. Петр Павлович, надзиратель с черной бородой, объяснил мне, что нужно снять герб, устранить канты, снять бляху, и заменить пуговицы с орлами простыми костяными пуговицами. Так обрушилось на меня второе несчастье.

В этот день занятий в школе не было. Школьники-немцы, а с ними и многие другие собрались в лютеранской церкви, имя которой носила школа. Я сразу попал под опеку коренастого мальчика, который оставался в приготовительном классе на второй год, знал все порядки и усадил меня рядом с собою на скамье кирхи. Я впервые слышал орган, и звуки его наполняли душу трепетом. Потом вышел высокий бритый человек с белыми отворотами, и голос его раскатывался по церкви так, что одна волна нагоняла другую. Непонятность языка удесятеряла величие проповеди. — Кто это говорит? спрашивал я с волнением. — Это сам пастор Биннеман, — объяснял мне Карльсон, — он ужасно умный человек, самый умный человек в Одессе. — А что он говорил? — Ну, знаешь, все, что полагается, — с гораздо меньшим уже энтузиазмом объяснял Карльсон: что надо быть хорошим учеником, прилежно учиться и дружно жить с товарищами... Этот скуластый почитатель Биннемана оказался упорным лентяем и страшным драчуном, который во время перемен насаживал синяки направо и налево.

Второй день принес утешение. Я сразу выделился по арифметике и хорошо списал с доски прописи. Учитель Руденко похвалил меня перед всем классом и поставил мне две пятерки. Это примирило меня с костяными пуговицами на куртке. Немецкий язык в младших классах преподавал сам директор, Христиан Христианович Шваннебах. Это был прилизанный чиновник, попавший на столь высокий пост только потому, что был он зятем самого Биннемана. Христиан Христианович начал с того, что осмотрел всем школьникам руки и нашел, что у меня руки чистые. Затем, когда я аккуратно скопировал с доски, директор одобрил меня и поставил мне пять. Так после первого же дня занятий я возвращался из школы, оттягощенный тремя пятерками. Я нес их в ранце, как драгоценный клад, не шел, а бежал на Покровский переулок, гонимый жаждой семейной славы.

Так я стал школьником. Я рано вставал, торопливо пил свой утренний чай, запихивал в карман пальто завернутый в бумажку завтрак и бежал в школу, чтоб поспеть к утренней молитве. Я не опаздывал. Я спокойно сидел за партой. Я внимательно слушал и тщательно списывал с доски. Я прилежно готовил дома свои уроки. Я ложился спать в положенный час, чтоб на другое утро торопливо пить свой чай и снова бежать в школу под страхом опоздать к утренней молитве. Я аккуратно переходил из класса в класс. Встречая кого-либо из учителей на улице, я кланялся со всей возможной почтительностью.

Процент чудаков среди людей очень значителен, но особенно велик он среди учителей. В реальном училище св. Павла уровень учителей был, пожалуй, выше среднего. Училище считалось хорошим и не без основания: режим был строгий, требовательный, возжи из года в год натягивались туже, особенно после того, как директорская власть из рук Шваннебаха перешла в руки Николая Антоновича Камин-

ского. Это был физик по специальности, человеконенавистник по темпераменту. Он никогда не глядел на того, с кем говорил, двигался по корридорам и по классу не слышно, на резиновых подбивках, голосом ему служил небольшой сиплый фальцет, который, не повышаясь, умел наводить ужас. С внешней стороны Каминский казался ровным, но внутренно никогда не выходил из состояния отстоявшегося раздражения. Его отношение даже к лучшим ученикам было отношением вооруженного нейтралитета. Таким, в частности, было его отношение ко мне.

В качестве физика, Каминский изобрел собственный прибор для доказательства закона Бойль-Мариота относительно упругости газов. После демонстрирования прибора всегда находилось два-три ученика, которые хорошо рассчитанным шепотом говорили друг другу: «Вот так здорово!» Кто-нибудь приподнимаясь, как бы неуверенно, спрашивал: «А кто изобретатель этого прибора?» Каминский отвечал небрежно своим простуженным фальцетом: «Я строил». Все переглядывались, а двоечники испускали возможно громкий вздох восхищения.

Когда Шваннебаха, в интересах руссификации, заменили Каминским, в инспектора вышел Антон Васильевич Крыжановский, учитель словесности. Это был рыжебородый хитрец, из семинаристов, большой любитель подарков, с чуть-чуть либеральным налетом, очень умело прикрывавший задние мысли наигранным добродушием. Получив назначение инспектора, он сразу стал строже и консервативнее. Крыжановский преподавал русский язык с первого класса. Меня он выделил за грамотность и любовь к языку. Мои письменные работы он, по твердо установившемуся правилу, прочитывал в классе вслух и ставил мне пять с плюсом.

Математик Юрченко был коренастый флегматик, себе на уме, по прозванию биндюжник, что на одесском наречии означает извозчик-тяжеловоз. Юрченко всем говорил ты с первого класса до последнего и

не стеснялся в выражениях. Своей уравновешенной грубоватостью он внушал к себе известного рода уважение, которое с течением времени, однако, рассеялось, когда мальчишки твердо узнали, что Юрченко берет взятки. В разной форме взятки брались, впрочем, и другими учителями. Неуспевавший школьник, если это был иногородний, помещался на квартиру к тому учителю, в котором был наиболее заинтересован. Если же ученик был местный, то брал у наиболее угрожающего ему педагога частные уроки по высокой цене.

Второй математик, Злотчанский, был противоположностью Юрченке: худой, с колючими усами на зеленовато-желтом лице, со всегда мутными белками глаз и усталыми движениями, точно с просонья, он то и дело шумно отхаркивался и отплевывался в классе. Про него известно было, что у него несчастный роман, и что он кутит и пьет. Неплохой математик, Злотчанский, однако, глядел куда то поверх учеников, поверх занятий и даже поверх самой математики. Несколько лет спустя он перерезал себе горло бритвой.

С обоими математиками у меня отношения были ровные и благоприятные, так как в математике я был силен. В последних классах реального училища я собирался даже пойти по чистой математике.

Историю преподавал Любимов, крупный и осанистый человек, с золотыми очками на небольшом носу и с мужественной молодой бородкой вокруг полного лица. Только когда он улыбался, открывалось внезапно и с полной очевидностью даже для нас, мальчиков, что осанистость этого человека мнимая, что он слабоволен, робок, чем то раздирается изнутри и боится, что об нем что-то знают или могут узнать.

В историю я втягивался с возраставшим, хотя и очень расплывчатым интересом. Я постепенно расширял круг своих занятий, отходя от жалких официальных учебников к университетским курсам или

к тяжелым томам Шлоссера. В моем увлечении историей был несомненно элемент спорта: я заучивал множество ненужных имен и подробностей, обременительных для памяти, чтобы поставить иногда в затруднительное положение преподавателя. Руководить занятиями Любимов не был в состоянии. Во время уроков он иногда неожиданно вспыхивал огнем и злобно оглядывался вокруг, ловя шепот, будто бы произносивший оскорбительные для него слова. Класс удивленно настораживался. Любимов преподавал в одной из женских гимназий, и там тоже стали замечать за ним странности. Кончилось тем, что в припадке помешательства Любимов повесился на переплете окна.

Географа Жуковского боялись, как огня. Он резал школьников, как автоматическая мясорубка. Во время уроков Жуковский требовал какой-то совершенно несбыточной тишины. Нередко, оборвав рассказ ученика, он настораживался с видом хищника, который прислушивается к звуку отдаленной опасности. Все знали, что это значит: нужно не шевелиться и по возможности не дышать. Один только раз на моей памяти Жуковский чуть-чуть поотпустил возжи, кажется, это было в день его рождения. Кто-то из учеников сказал ему что-то полуприватное, т. е. не непосредственно относящееся к уроку. Жуковский стерпел. Это само по себе было событием. Немедленно же приподнялся Ваккер, подлипала, и осклабясь сказал: «У нас все говорят, что Любимов Жуковскому в подметки не годится». Жуковский сразу весь напрягся. «Что такое? Садитесь!» Воцарилась немедленно та особая тишина, которая бывала только на уроках географии. Ваккер присел, как под ударом. Со всех сторон к нему оборачивались укоризненные или брезгливые лица. «Ей богу, правда», шепотом отвечал Ваккер, надеясь этим все-таки тронуть сердце географа, у которого он был на плохом счету.

Основным учителем немецкого языка был Струве.

огромный немец с большой головой и бородой, доходившей до пояса. На маленьких, почти детских ножках этот человек переваливал свое тяжелое тело, которое казалось сосудом добродушия. Струве был честнейшим человеком, страдал неуспехами своих учеников, волновался, уговаривал, горестно переживал каждую поставленную им двойку: до единицы он не спускался никогда, — старался никого не оставлять на второй год и устроил в училище племянника своей кухарки, только что упомянутого Ваккера, который, впрочем, оказался малоспособным и еще менее привлекательным мальчиком. Струве был немножко смешной, но в общем симпатичной фигурой.

Французский язык преподавал Густав Самойлович Бюрнанд, — швейцарец, тощий человек, с плоским, точно из-под тисков вышедшим профилем, с небольшой лысиной, с тонкими синими и недобрыми губами, острым носом и с таинственным большим шрамом, в виде буквы икс, на лбу. Бюрнанда все единодушно терпеть не могли, и было за что. Страдая несварением желудка, он глотал в течение урока какие то конфетки и в каждом ученике видел личного врага. Шрам на его лбу служил постоянным источником догадок и гипотез. Утверждали, что в молодости Густав дрался на дуэли, и противник успел рапирой начертать у него косой крест на лбу. Через несколько месяцев появились опровержения. Дуэли не было, а была хирургическая операция, при которой часть лба понадобилась для починки носа. Школьники тщательно вглядывались в нос француза и наиболее отважные утверждали, что ясно видят линию шва. Были спокойные умы, искавшие объяснения шраму в приключении раннего детства: упал с лестницы и расшибся. Но это объяснение отвергалось, как слишком прозаическое. К тому же совершенно невозможно было представить себе Бюрнанда ребенком.

Старшим швейцаром, игравшим немалую роль в нашей жизни, был невозмутимый немец Антон, с

очень внушительными седеющими бакенбардами. По части опозданий, оставления без обеда, заключения в карцер, Антон имел как-будто лишь техническую, но на деле большую власть, и с ним надлежало сохранять дружественные отношения. Я, впрочем, относился к нему довольно безразлично, как и он ко мне, так как я не принадлежал к числу его клиентов: в школу я являлся аккуратно, ранец мой был в порядке, и ученический билет уверено покоился в левом кармане куртки. Но десятки учеников каждый день попадали в зависимость от Антона и разными путями покупали его благорасположение. Во всяком случае он для всех нас являлся одним из устоев реального училища св. Павла. Каково же было наше удивление, когда вернувшись с каникул, мы узнали, что старик Антон стрелял в восемнадцатилетнюю дочь другого швейцара, на почве страсти и ревности, и сейчас сидит в тюрьме.

Так в размеренную жизнь школы и во всю тогдашнюю, загнанную внутрь общественную жизнь врывались отдельные личные катастрофы и порождали каждый раз чрезмерное впечатление, как вопль под пустыми сводами.

При церкви св. Павла существовал сиротский дом. Для него был выделен угол нашего училищного двора. В синей застиранной парусине, мальчики из приюта появлялись на дворе с нерадостными лицами, уныло бродили в своем углу и понуро поднимались по лестнице к себе. Несмотря на то, что двор был общий, и сиротский угол ничем не был отгорожен, реалисты и «воспитанники», как они назывались, представляли два совершенно замкнутых мира. Я пробовал раза два заговаривать с мальчиками в синей парусине, но они отвечали угрюмо, нехотя и торопились вернуться к себе: у них был строгий наказ не вмешиваться в дела реалистов. Так в течение семи лет я гулял на этом дворе и не знал имени ни одного из сирот. Пастор Биннеман, надо полагать, благославлял их в начале года по сокращенному требнику.

В той части двора, которая примыкала к сиротскому дому, высились сложные гимнастические приспособления: кольца, шесты, лестницы, вертикальные и наклонные, трапеции, параллельные брусья и прочее. Вскоре после поступления в училище я хотел повторить прием, проделанный на моих глазах одним из мальчиков сиротского дома. Поднявшись по вертикальной лестнице и зацепившись носками за верхнюю перекладину, я повис вниз головой, и захватив руками перекладину лестницы как можно ниже, оттолкнулся носками, чтобы, описав в воздухе дугу в 180 градусов, стать на землю упругим прыжком. Но я не выпустил во время из рук перекладины и описавши дугу, всем телом ударился о лестницу. Грудь сдавило клещами, сперло дыхание, я извивался на земле, как червь, хватал за ноги стоящих вокруг мальчиков и потерял сознание. После этого я стал осторожнее с гимнастикой.

Я совсем мало жил жизнью улицы, площади, спорта и развлечений на открытом воздухе. Это я наверстывал на каникулах в деревне. Город представлялся мне созданным для занятий и чтенья. Драки мальчиков на улице казались мне позором. Между тем недостатка в поводах не было никогда.

Гимназисты, за их серебристые пуговицы и гербы, назывались селедками, а медно-желтые реалисты именовались копченками. По Ямской, когда я возвращался домой, меня настойчиво преследовал долговязый гимназист, допрашивая: «Почем у вас копченки?» — и не получая ответа на свой деловой вопрос, подталкивал меня плечом. «Чего вы ко мне пристаете?» — спросил я его тоном задыхающейся вежливости. Гимназист опешил, с минуту подумал, а потом спросил:

— А у вас рогатка есть?

— Рогатка, — переспросил я, — а что это такое?

Долговязый гимназист молча вынул из кармана небольшой прибор: резину на деревянной развилке и кусок олова. «Я из окошка на крыше голубей бью,

а потом жарю». Я глядел на своего нового знакомого с удивлением. Такое занятие казалось мне небезинтересным, но все же неуместным и как бы неприличным в городской обстановке.

Многие из мальчиков катались на море в лодке, ловили с волнореза рыбу на уду. Я этих удовольствий совершенно не знал. Странным образо море в тот период вообще не занимало в моей жизни никакого места, хотя на берегу его я прожил семь лет. За все это время я ни разу не катался в лодке, не ловил рыбы и вообще встречался с морем только во время переездов в деревню и обратно. Когда Карльсон приходил в понедельник с загоревшим носом, на котором лупилась кожа, и хвалился, как он вчера ловил бычков с лодки, мне эти радости казались далекими и ко мне не относящимися. Во мне тогда еще не просыпался страстный охотник и рыболов.

В приготовительном классе я близко сошелся с Костей Р., сыном врача. Костя был на год моложе меня, меньше ростом, с виду тихоня, но шалун и плут, с острыми глазенками. Он знал хорошо город и имел в этой области большой перевес надо мной. Прилежанием он не отличался, а я как начал с первого дня, так и шел на пятерках. Дома Костя только и разговаривал, что о своем новом приятеле. Кончилось тем, что Костина мама, сухонькая, маленькая женщина, пришла к Фанни Соломоновне с просьбой: «Нельзя ли мальчикам заниматься вместе?» После совещания, к которому был привлечен и я, решили согласиться. В течение двух или трех лет мы сидели на одной парте, пока Костя не остался в классе на второй год и не оторвался этим от меня. Впрочем, связи сохранились и дальше.

У Кости была гимназистка сестра, года на два старше его. У сестры были подруги. У подруг братья. Сестры обучались музыке. Братья увивались вокруг подруг своих сестер. В дни рожденья родители приглашали гостей. Создавался маленький мирок симпатий, соревнований, вальса, фантов, за-

висти и вражды. Центром этого мирка была семья богатого купца А., жившая в том же доме, что и семья Кости и в том же этаже, так, что корридоры квартир выходили во дворе на одну и ту же висячую галлерею, на которой и происходили случайные и неслучайные встречи. В семье А. царила совсем другая атмосфера, чем та, к которой я привык в семье Шпенцера. Там всегда вращалось много гиназистов и гиманзисток, которые упражнялись в ухаживании под снисходительную улыбку матери. В разговорах нередко упоминалось, кто к кому неравнодушен. Я всегда обнаруживал к этому вопросу величайшее свое презрение, довольно, впрочем, лицемерное. «Когда вы в кого-нибудь влюбитесь, — говорила мне наставительно четырнадцатилетняя гимназистка, старшая из сестер А. — то вы мне обязаны это сказать». «Так как я ничем не рискую, то могу обещать», ответил я со слегка высокомерным достоинством человека, который знает себе цену: я был уже во втором классе. Недели через две девочки ставили живые картины. Младшая из сестер на фоне большого черного платка, усеянного звездами из серебрянной бумаги, изображала с приподнятой вверх рукой ночь. «Смотрите, какая она хорошенькая», — говорила старшая, слегка меня подталкивая. Я смотрел, внутренно соглашался, и тут же внезапно решил про себя: пришел час выполнить обещание. Вскоре старшая подвергла меня допросу: «вам нечего мне сказать?» Увы, потупя глаза, я ответил: «Есть».

— Кто же она ?...

Но у меня не поворачивался язык. Она предложила мне назвать первую букву. Это было легче. Старшую звали Анной. Младшую сестру Бертой. Я назвал вторую букву алфавита, а не первую.

— Бе? повторила она с разочарованием, и на этом разговор прекратился.

На второй день я шел заниматься к Косте длинным корридором третьего этажа, как всегда, со двора. Еще с лестницы я заметил, что обе сестры с матерью

сидят у своей двери на галлерее. Когда мне оставалось несколько шагов до женской группы, я почувствовал, что на мне скрещиваются иглы иронических взглядов, которые пронизывают меня насквозь. Младшая не улыбалась, наоборот, отвела глаза куда то в сторону с выражением ужасающего безразличия. Это сразу убедило меня в том, что я предан. Мать и старшая подали мне руки с выражением, ясно говорившим: «хорош гусь, теперь мы знаем, что скрывается под твоей серьезностью», а младшая протянула руку, как дощечку, не глядя на меня и не отвечая на пожатие. Мне предстояло после этого пройти кусок галлереи, повернуть и продвигаться на виду у мучительниц вдоль всей поперечной стороны. Все время я чувствовал те же убийственные иглы за спиною. После такого неслыханного предательства, я решил совершенно порвать с этими коварным племенем, не ходить к ним, забыть их, вырвать их навсегда из своего сердца. Мне помогли скоро наступившие каникулы.

Неожиданно для меня обнаружилось, что я близорук. Меня свели к глазному врачу, и тот прописал мне очки. Нельзя сказать, чтобы это огорчило меня: как-никак очки придавали мне значительность. Я не без удовольствия предвкушал свое появление в очках в Яновке. Но для отца очки оказались невыносимым ударом. Он считал, что все это притворство и важничанье и категорически потребовал, чтобы я снял очки. Напрасно я убеждал его, что не вижу в классе букв на доске, и не разбираю на улице вывесок. Очки мне приходилось в Яновке носить только тайком.

Все же в деревне я был гораздо смелее, размашистее и предприимчивее. Я как бы отряхал дисциплину города с своих плеч. Я ездил один верхом в Бобринец и возвращался в тот же день к вечеру домой. Это составляло пятьдесят километров. В Бобринце я показывал на улицах свои очки и не сомневался во впечатлении. В Бобринце было только мужское городское училище. Ближайшая гимназия

была в Елизаветграде, в 50 километрах. В то же время в Бобринце была женская прогимназия. Партнерами гимназисток были ученики городского училища. Но летом дело менялось. Из Елизаветграда возвращались гимназисты и реалисты и оттесняли великолепием формы и изысканностью обращения учеников городского училища. Антагонизм был жестокий. Обиженные бобринецкие школьники группировались в небольшие ударные шайки и пускали при случае в дело не только палки и камни, но и ножи. Я безмятежно сидел на ветке шелковицы в саду у знакомой семьи и лакомился ягодами, как кто-то изрядным камнем из-за забора хватил меня по голове. Это был маленький эпизод долгой и не безкровной борьбы, которая прерывалась только с отъездом привиллегированного сословия из Бобринца на занятия. В Елизаветграде дело обстояло иначе. Там гимназисты и реалисты господствовали на улицах и в сердцах в течение учебного года. Но на лето из Харькова, Одессы и более отдаленных университетских городов возвращались студенты и сразу отодвигали гимназистов на задворки. Антагонизм и здесь был жестокий. Вероломство гимназисток было неописуемо. Но по общему правилу борьба велась преимущественно духовным мечом.

В деревне я играл в крокет и кегли, руководил фантами и говорил дерзости девицам. В деревне же я научился ездить на двухколесном велосипеде, целиком сделанном Иваном Васильевичем. Только благодаря этому я отважился позже упражняться на одесском трэке. Мало того, в деревне я самостоятельно управлял кровным жеребцом, запряженным в бегунки. К этому времни в Яновке имелись уже хорошие выездные лошади. Я предлагаю прокатить дядю Бродского — пивовара. «А ты меня не опрокинешь?» спрашивает дядя, который по всему своему характеру не склонен к отважным предприятиям. «Что вы, дядя», говорю я таким возмущенным тоном, что дядя со вздохом, но безропотно садится за моей

спиною. Я выезжаю через балку, мимо мельницы, по дороге, только что примятой летним дождем. Гнедому жеребцу хочется размаха, его раздражает, что ехать приходится в гору, и он сразу берет рывком. Я натягиваю возжи, упираясь ногами в передок, и приподнимаюсь ровно на столько, чтобы не заметил дядя, что я вишу на вожах. Но у жеребца есть своя амбиция. Он в три с лишним раза моложе меня, ему четыре года. Гнедой подхватывает в гору легкие бегунки с раздражением, как кошка, которая стремится удрать от привязанной к хвосту жестянки. Я чувствую, как дядя за моей спиной прекратил курение, чаще дышет и собирается поставить ультиматум. Я сажусь плотнее, отпускаю гнедому возжи и для придания себе полной уверенности прищелкиваю языком в такт селезенке, которая играет у гнедого на славу. «Не шали, мальчик», покровительственно говорю я жеребцу, когда тот пробует перейти на галоп, и раздвигаю локти пошире. Я чувствую, что дядя успокоился и снова задышал папироской. Игра выиграна, хотя сердце мое екает, как селезенка гнедого.

Вернувшись в город, снова протягиваю шею в ярмо дисциплины. Я делаю это без большого усилия. Игры и спорт уступают место книгам и отчасти театру. Я подчиняюсь городу, почти не соприкасаясь с ним. Жизнь города проходит почти полностью мимо меня. Впрочем, не только мимо меня одного. И взрослые обыватели старались не слишком высовывать голову из окна. Одесса была, пожалуй, самым полицейским городом в полицейской России. Главным лицом в городе был градоначальник, бывший контр-адмирал Зеленой Второй. Неограниченная власть сочеталась в нем с необузданным темпераментом. О нем ходили неисчислимые анекдоты, которые одесситы передавали друг другу шепотом. За границей, в вольной типографии, вышел в те годы целый сборник рассказов о подвигах контр-адмирала Зеленого Второго. Я видел его только один раз, и то лишь со спины. Но этого было для меня вполне до-

статочно. Градоначальник стоял во весь рост в своем экипаже, хриплым голосом испускал на всю улицу ругательства и потрясал вперед кулаком. Перед ним тянулись полицейские с руками у козырьков и дворники с шапками в руках, а из-за занавесок глядели перепуганные лица. Я подтянул ремни ранца и ускоренным шагом направился домой.

Когда я хочу восстановить в памяти образ официальной России в годы моей ранней юности, я вижу спину градоначальника, его протянутый в пространство кулак и слышу хриплые ругательства, которые не принято печатать в словарях.

ГЛАВА IV

Книги и первые конфликты

Природа и люди не только в школьные, но и в дальнейшие годы юности занимали в моем духовном обиходе меньшее место, чем книги и мысли. Несмотря на свое деревенское происхождение, я не был чуток к природе. Внимание к ней и понимание ее я развил в себе позже, когда не только детство, но и первая юность остались позади. Люди долго скользили по моему сознанию, как случайные тени. Я смотрел в себя и в книги, в которых искал опять-таки себя или своего будущего.

Чтение мое началось с 1887 года, со времени приезда в Яновку Моисея Филипповича, который привез в деревню пачку книг, среди которых были народные произведения Толстого. Вчитываться в книги на первых порах было не столько сладостным, сколько тяжким делом. Каждая новая книжка представляла новые препятствия: неизвестные слова, непонятные жизненные отношения, зыбкость, отделяющая реальное от фантастического. Спросить по большей части не у кого было. Я терялся, начинал, бросал и начинал снова, сочетая неуверенную радость по-

знанья с испугом перед неизвестным. Может быть ближе всего можно сравнить мое тогдашнее чтение с ездою ночью по степным дорогам: слышен скрип колес, пересекающиеся голоса, костры у дороги выступают из тьмы: все как будто знакомо, и в то же время непонятно, что происходит, кто и с чем едет, и даже неясно, куда сам едешь, вперед или назад. И нет никого, кто, подобно дяде Григорию, объяснил бы тебе: это наши чумаки пшеницу везут.

В Одессе выбор книг был несравненно более широкий, и было руководство, внимательное и доброжелательное. Я стал читать запоем. На прогулку меня приходилось отрывать. На ходу я переживал прочитанное и спешил к продолжению. По вечерам упрашивал дать мне еще четверть часа, ну хотя бы пять минут, чтобы докончить главу. Каждый вечер происходили на этой почве небольшие препирательства.

Пробуждающаяся жажда видеть, знать, овладеть находила себе выход в этом неутомимом поглощении печатных строк, в этих всегда протянутых детских руках и губах к сосуду словесного вымысла. Все, что в дальнейшем жизнь давала интересного, захватывающего, радостного или скорбного, было уже заключено в переживаниях чтения, как намек, как обещание, как осторожный и легкий набросок карандашем или акварелью.

Чтение вслух по вечерам в первые годы моей жизни в Одессе составляло лучшие часы или, вернее, получасы, между концом домашних занятий и сном. Читал Моисей Филиппович, обыкновенно Пушкина или Некрасова, чаще последнего. Но в положенный час Фанни Соломоновна говорила: «пора тебе, Левушка, спать». Я глядел на нее с мольбою. «Надо, мальчик, спать», говорил Моисей Филиппович. «Еще пять минут», умолял я, и мне давали еще пять минут. После этого я целовался и уходил с таким чувством, что мог бы еще слушать чтение целую ночь, но засыпал, едва донесши голову до подушки.

Гимнизистка восьмого класса, Софья, дальняя родственница, попала в семью Шпенцера на несколько недель, чтоб переждать скарлатину в своей собственной семье. Это была очень способная и начитанная девица, правда, лишенная оригинальности и характера и скоро увядшая. Я восторгался ею, открывая у нее каждый день все новые и новые знания и качества, и непрерывно чувствуя свое полное ничтожество. Я переписывал для нее программу к экзаменам и вообще оказывал ей целый ряд мелких услуг. Зато в послеобеденные часы, когда старшие отдыхали, восьмиклассница читала со мной вслух, а затем мы стали вместе сочинять сатирическую поэму в стихах: «Путешествие на луну». В работе этой я все время терял темп. Стоило мне внести какое-нибудь скромное предложение, как старшая сотрудница подхватывала мысль, быстро развивала ее, вносила варианты, легко подбирала рифмы, таща меня за собой на буксире. Когда прошли положенные шесть недель, и Софья возвратилась к себе, я чувствовал себя подросшим.

Среди наиболее выдающихся знакомых семьи находился Сергей Иванович Сычевский, старый журналист, романтик и известный на юге знаток и истолкователь Шекспира. Это был даровитый, но спившийся человек. Оттого, что он сильно пил, его отношение к людям, даже к детям, было отношением виноватости. Он знал Фанни Соломоновку с юных лет и называл ее Фанюшкой. Сергей Иванович взлюбил меня крепко с первого разу. Расспросивши, что у нас проходят в школе, старик задал мне тему: сравнить «Поэт и книгопродавец» Пушкина и «Поэт и гражданин» Некрасова. Я обомлел. Второго произведения я даже не читал, а главное я робел перед Сыческим, как перед писателем. Самое слово это звучало для меня с недосягаемой высоты. «Мы сейчас это все прочтем», сказал Сергей Иванович и тут же стал читать, а читал он прекрасно. «Понял? Ну вот и напиши». Меня усадили в кабинете, дали мне Пушкина

и Некрасова, бумаги и чернил. — «Да я не могу, — клялся я трагическим шепотом Фанни Соломоновые, — что я тут напишу?» «А ты не волнуйся», отвечала она, и гладила меня по голове. — «Ты напиши, как понял, так просто и напиши». У нее была нежная рука и нежный голос. Я немного успокоился, то есть кое-как совладал с напуганным своим самолюбием, и стал писать. Через час, примерно, меня потребовали к ответу. Я принес большую исписанную страницу и с таким трепетом, которого никогда не знал в училище, вручил ее писателю. Сергей Иванович пробежал несколько строк про себя, потом брызнул из глаз светлыми искрами на меня и воскликнул: «Но вы послушайте только, что он написал, вот молодчина-то какой», и стал читать вслух: «Поэт жил с любимой им природой, каждый звук которой, и радостный и грустный, отражался у него в сердце». Сергей Иванович поднял палец вверх. «Ведь как сказал прекрасно: каждый звук которой, — слышите, — и радостный и грустный, отражался у поэта в сердце». И так эти слова врезались тогда в мое собственное сердце, что я запомнил их на всю жизнь.

За обедом Сергей Иванович много шутил, вспоминал, рассказывал, вдохновляясь рюмочкой: водка для него была наготове. Время от времени он взглядывал на меня через стол и восклицал: «Да как же это ты так хорошо все изложил, дай же я тебя поцелую», и он начинал старательно вытирать салфеткой усы и губы, приподнимался со стула и неверными шагами пускался в обход стола. Я сидел, как под ударом катастрофы, радостной, но катастрофы. «Встань, Левочка, пойди к нему на встречу», шепотом учил меня Моисей Филиппович. После обеда Сергей Иванович читал на память сатирический «Сон Попова». Я с напряжением глядел под седые усы, из-под которых выходили такие забавные слова. Полупьяное состояние писателя нисколько не умаляло в моих глазах его авторитет. Дети обладают большой силой отвлечения.

Иногда перед сумерками я гулял с Моисеем Филипповичем, и, когда он бывал хорошо настроен, мы разговаривали о самых различных вещах. Однажды он излагал мне содержание оперы Фауст, которую очень любил. Я ловил с жадностью рассказ, мечтая послушать когда-нибудь оперу на сцене. По тону рассказчика я почувствовал, что дело подходит к какому-то щекотливому пункту. Я волновался за рассказчика, и боялся, что не узнаю продолжения. Но Моисей Филиппович совладал с собою и продолжал так: «тут у Гретхен родился ребеночек до брака»... Когда перевалили через рубеж, обоим нам стало легче, и повесть была благополучно доведена до конца.

Я лежал с перевязанным горлом и мне дали в утешение Диккенса «Оливер Твист». Первая же фраза доктора в родильном доме насчет того, что у женщины нет на руке кольца, поставила меня в тупик. «Что это значит?» — спрашивал я Моисея Филипповича, — «причем тут кольцо?» — «А это, — ответил он мне замявшись, — когда не венчанные, тогда нет кольца». Я вспомнил Гретхен. И судьба Оливера Твиста развертывалась в моем воображении из кольца, из того кольца, которого не было. Запретный мир человеческих отношений толчками врывался в мое сознание через книги, и многое, уже слышанное в случайной, чаще всего грубой и непристойной форме, теперь через литературу обобщалось и облагораживалось, поднимаясь в какую то более высокую область.

В это время волновала умы недавно появившаяся «Власть тьмы» Толстого. Об ней говорили многозначительно, теряясь в суждениях. Победоносцев добился от Александра III недопущения пьесы в театры. Я знал, что Моисей Филиппович и Фанни Соломоновна, после того, как я уходил спать, читали в соседней комнате драму: мне чуть слышен был гул голосов. «А мне можно прочитать?» спрашивал я. «Нет, голубчик, тебе еще рановато», ответили мне с такой

категоричностью, что я больше не настаивал. Но я заметил, что новенькая тоненькая книжка появилась на знакомой мне полке. Пользуясь часами отсутствия старших, я в несколько приемов прочитал толстовскую драму. Она подействовала на меня далеко не так глубоко, как опасались, очевидно, мои воспитатели. Наиболее, трагические места, как удушение ребенка и разговор о хрусте костей, воспринимались не как страшная реальность, а как книжное измышление, как выдумка для сцены, то-есть по существу дела не воспринимались вовсе.

Во время каникул я натолкнулся на деревенском шкафу, под самым потолком, среди старых бумаг, на привезенную из Елизаветграда старшим братом маленькую книжечку и, развернув ее, почуял в ней что-то необычное и тайное. Это был судебный отчет по делу об убийстве девочки на почве полового преступления. Я читал книжку, пересыпанную медицинскими и юридическими подробностями, в состоянии тревоги, точно ночью попал в лес, где наталкиваюсь на полуосвещенные луною призрачные деревья и не нахожу выхода. Но уже очень скоро это впечатление рассеялось. В человеческой психологии, особенно же в детской, есть свои буфера, тормоза, предохранительные клапаны и амортизаторы — большая и хорошо разработанная система, предохраняющая от слишком резких или несвоевременных сотрясений.

В театр я первый раз попал, будучи в приготовительном классе. Это было необыкновенно и этого изобразить невозможно. Меня отправили на украинский спектакль в сопровождении училищного сторожа Григория Холода. Я сидел бледный, как полотно, — это Григорий потом докладывал Фанни Соломоновне — и мучился радостью, которой не мог вместить. Во время антрактов я не вставал с места, чтобы чего-нибудь, упаси боже, не упустить. В завершение ставился водевиль «Жилец с тромбоном». Напряжение драмы разрешилось здесь бурным смехом. Я качался на своем месте, запрокидывая голову, и снова

впивался в сцену. Дома я излагал жильца с тромбоном, прибавляя все новые и новые подробности, чтобы вызвать тот самый смех, который я только что пережил. Но я с горечью убеждался, что не достигаю цели.

— Да тебе, видно, «Назар Стодоля» вовсе не понравился? — спросил Моисей Филиппович. Я почувствовал эти слова, как внутренний упрек; я вспомнил страдания Назара и сказал: — «Нет, это было совсем замечательно».

Перед третьим классом я жил недолго под Одесской на даче у дяди-инженера и попал на любительский спектакль, где слугу играл ученик нашего училища Кругляков. Это был слабогрудый, веснущатый мальчик, с умными глазами, но совсем больной. Я привязался к нему всей душой и умолял его вместе со мной поставить какой-нибудь спектакль. Остановились на «Скупом Рыцаре» Пушкина. Мне выпала роль сына, а Круглякову отца. Я целиком подчинился его руководству, и целыми днями заучивал пушкинские строфы. Какое это было сладостное волнение! Но скоро все рушилось: родители запретили Круглякову ставить спектакль из-за его здоровья. Когда занятия начались, он лишь в течение нескольких первых недель являлся в училище. Я каждый раз подстерегал его у выхода, чтобы иметь возможность на обратном пути вести с ним литературные беседы. Но вскоре Кругляков совсем исчез. Я узнал, что он болеет, а несколько месяцев спустя пришла весть, что он умер от чахотки.

Колдовство театра владело мною несколько лет. Позже я пристрастился к итальянской опере, которою очень гордилась Одесса. В шестом классе я стал даже давать платный урок только для того, чтобы иметь деньги на театр. В течение нескольких месяцев я был безмолвно влюблен в колоратурное сопрано, которое носило таинственное имя Джузеппины Угет и казалось мне временно сошедшим с небес на подмостки одесского театра.

Газет мне не полагалось читать, но на этот счет не было очень твердого режима, и постепенно, с несколькими отступлениями, я завоевал себе право чтения газет, главным образом, фельетона. В центре интересов одесской прессы стоял театр, главным образом, опера, и важнейшие группировки общественного мнения шли, пожалуй, по линии театральных пристрастий. Только в этой области газетам дозволялось проявлять подобие темперамента.

В те дни высоко поднялась звезда фельетониста Дорошевича. Он стал в короткое время властителем дум, хотя писал о мелочах и нередко о пустяках. Но он был несомненный талант и дерзкой формой безобидных по существу фельетонов как бы приоткрывал отдушину из придавленной Зеленым Вторым Одессы. Я нетерпеливо набрасывался на утреннюю газету, ища подписи Дорошевича. В увлечении его статьями сходились тогда и умеренные либеральные отцы и еще не успевшие стать неумеренными дети.

Любовь к слову сопровождала меня с ранних лет, то ослабевая, то наростая, а вообще несомненно укрепляясь. Писатели, журналисты, артисты, оставались для меня самым привлекательным миром, в который доступ открыт только самым избранным.

Во втором классе мы затеяли журнал. Я об этом много советывался с Моисеем Филипповичем, который придумал даже и заглявие: «Капля». Мысль была такова: второй классе реального училища святого Павла вносит свою каплю в океан литературы. Я написал на эту тему стихотворение, исполнявшее обязанности программной статьи. Были стихи и рассказы, по большей части мои же. Один из рисовальщиков украсил обложку сложными орнаментом. Кто-то предложил показать «Каплю» Крыжановскому. Эту миссию взял на себя Ю., живший у Крыжановского на квартире. Он выполнил задачу с блеском: встал со своего места, подошел к кафедре, твердо положил на нее «Каплю», вежливо поклонился и твердыми шагами вернулся обратно. Все замерли. Кры-

жановский посмотрел на обложку, погримасничал усами, бровями и бородой, и молча стал читать про себя. В классе стояла полная тишина, только чуть шуршали страницы «Капли». Потом Крыжановский встал с кафедры и очень проникновенно прочитал мою «Капельку чистую». «Хорошо?» спросил он. — Хорошо, ответил довольно дружный хор. «Хорошо-то хорошо, сказал Крыжановский, только автор стихосложения не знает. Ну-ка, знаешь ты, что такое дактиль?» обратился он ко мне, разгадав автора за прозрачным псевдонимом. «Нет, не знаю», признался я. «Ну, так я расскажу». И забросив на несколько уроков грамматику и синтаксис, Крыжановский разъяснял второклассникам тайны метрического стихосложения. «А насчет журнала», сказал он под конец, — «лучше пусть это будет не журнал, и океана словесности не надо, а пусть это будет просто тетрадка ваших упражнений». Дело в том, что школьные журналы были запрещены. Но вопрос разрешился с другого конца. Мирное течение моих занятий неожиданно прервалось: я оказался исключен из реального училища св. Павла.

* * *

У меня было с детских лет немало конфликтов в жизни, выроставших, как сказал бы юрист, на почве борьбы за попранное право. Этим же мотивом определялись нередко схождения и разрывы с товарищами. Перечислять отдельные эпизоды было бы долго. Но были в школе две истории более крупного порядка.

Самый большой конфликт разыгрался у меня во втором классе с Бюрнандом, которого называли французом, хотя он был швейцарцем. Немецкий язык в школе до некоторой степени соперничал с русским. Наоборот, с французским языком дело шло туго. Большинство учеников знакомилось с французским языком впервые в школе, а немцам-колонистам он

давался особенно туго. Бюрнанд вел против немцев жестокую войну. Излюбленной его жертвой был Ваккер. Учился последний, действительно, слабо. Но на этот раз у многих, если не у всех, было такое впечатление, что Бюрнанд зря поставил Ваккеру единицу. Бюрнанд вообще в этот день свирепствовал, поглощая двойное количество пищеварительных конфект.

«Устроим ему концерт», зашептались школьники, перемигиваясь и подталкивая друг друга локтями. Я был в их числе не на последнем месте, может быть даже на первом. Такие концерты устраивались иногда и раньше, особенно в честь учителя рисования, которого не любили за злую глупость. Устроить концерт значило проводить учителя, когда он направляется к выходу, дружным подвыванием, не разжимая губ, чтобы по виду нельзя было определить, кто участвует в хоре. Раз два провожали так и Бюрнанда, но слегка, под сурдинку, так как его боялись. На этот раз набрались, однако, решимости. Едва француз захватил под мышку журнал, как с крайнего фланга начался вой, докатившийся дружной волной до парты у двери. Я, с своей стороны, делал, что мог. Бюрнанд, уже занесший ногу за дверь, быстро повернулся и, вбежав на середину класса, зеленобледный, стоял лицом к лицу с врагами, меча искры, но не произнося ни слова. Мальчишки за партами приняли как можно более невинный вид, особенно передние; задние копошились в ранцах, точно ничего не произошло. Постояв с полминуты, Бюрнанд с таким неистовством повернулся к выходу, что фалды его фрака развевались, как паруса. Француза провожал на этот раз единодушный вдохновенный вой, догонявший его далеко в корридоре.

В начале следующего часа в класс прибыли Бюрнанд, Шваннебах и классный надзиратель Майер, которого в просторечии называли бараном, за выпученные глаза, крепкий лоб и тупость. Шваннебах произнес некоторое подобие вступительной речи, тща-

тельно обходя подводные рифы русских залогов и падежей. Бюрнанд дышал жаждой мести. Майер перебирал выпученными глаза лица школьников, выкликая наиболее шаловливых и приговаривая: «Ты уж, наверное, был при этом». Одни отнекивались, другие молчали. Таким путем оставили в классе «без обеда», кого на час, а кого на два, мальчиков десять-пятнадцать. Остальных отпустили, и в их числе меня, хотя Бюрнанд, как мне показалось, и метнул в меня, при перекличке, испытующий взгляд. Я не сделал ничего, чтоб добиться освобождения. Но и не донес на себя. Уходил я из класса скорее с сожалением, так как остаться со всеми казалось веселее.

На другое утро, когда я шел в школу, наполовину позабыв о вчерашней истории, у ворот меня встретил одноклассник из группы пострадавших. — Слушай, сказал он мне, тебе будет беда, вчера Данилов на тебя донес Майеру, Майер вызвал Бюрнанда, потом пришел директор, допытывались, ты ли был зачинщиком.

У меня упало сердце. А тут как раз надзиратель Петр Павлович: — Ступайте к директору. То, что надзиратель поджидал меня у порога, и тон, каким он обратился ко мне, не предвещали ничего хорошего. Расспрашивая путь у швейцаров, я прошел в тот неведомый для меня коридор, где помещалась директорская, и остановился у двери. Проходя мимо, директор поглядел на меня значительно, и покачал головой. Я стоял ни жив, ни мертв. Директор снова появился из кабинета и бросил только: «Хорошо, хорошо». Я понимал, что на самом деле это нехорошо. Через несколько минут учителя стали расходиться из соседней учительской, большинство проходило в свой класс спеша и не замечая меня. Крыжановский в ответ на мой поклон сделал хитрую гримасу, которая должна была означать: «попался ты в историю, и жаль тебя, да ничего не поделаешь». Бюрнанд же, после моего вежливого поклона, свер-

нул ко мне вплотную, нагнув надо мною злую бороденку, и, разбрасывая руки, сказал: «Первый ученик второго класса — нравственный урод». Потом постоял, обдавая несвежим дыханьем, и повторив: «нравственный урод», повернулся и ушел. Через некоторое время подошел и Баран: «Так вот ты какой гусь», сказал он с видимым удовольствием, «мы тебе покажем». И тут началась для меня долгая пытка. В моем классе, куда меня не допускали, занятий не было: там шли допросы. Бюрнанд, директор, Майер, инспектор Каминский создали верховную следственную комиссию по делу о нравственном уроде.

Началось, как оказывается, с того, что один из школьников во время отсидки сказал Майеру: «Несправедливо нас оставили, — кто кричал, того отпустили. Б. других подбивал и сам кричал, а его отпустили домой, вот и Карльсон знает». «Не может быть», отвечал Майер, «Б. — исправный мальчик». Но Карльсон, тот самый, что рекомендовал мне Бинемана, как самого умного человека в Одессе, подтвердил, за ним еще некоторые. Тогда Майер вызвал Бюрнанда. Поощряемые и подталкиваемые сверху, заражая друг друга своим примером, выделились в классе доносчики, человек десять-двенадцать.

Начали припоминать все: — В прошлом году Б. сказал то-то на прогулке про директора. — Б. такому-то подсказывал. — Б. участвовал в концерте Змигродскому. — Ваккер, из-за которого разыгралось все дело, умильно рассказывал: «Я, как известно, плакал, что Густав Самойлович поставил мне единицу, а Б. подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал: не плачь, Ваккер, мы напишем попечителю такое письмо, что он прогонит Бюрнанда». — Кому письмо? — Попечителю! — Не может быть! А ты что сказал? — Я, конечно, ничего не сказал. Данилов подхватывал: «да, да, Б. предлагал написать письмо попечителю учебного округа, но не подписываться фамилиями, чтобы не исключили, а чтоб каждый написал в письме по букве». «Ах, вот как»,

захлебывался Бюрнанд, «каждый по букве?» Допрашивали всех без исключения. Часть мальчиков отрицала наотрез и то, чего не было, и то, что было. Среди них Костя Р., который горько плакал, видя, как топят его лучшего друга, первого ученика. Этих упорных отрицателей доносители компрометировали, как моих друзей. В классе царила паника. Большинство замкнулось и молчало. Данилов играл в классе первую скрипку, чего с ним никогда не бывало, ни раньше, ни позже. Я стоял в корридоре возле директорской, у желтого полированного шкафа, как тяжкий государственный преступник. Туда вызывали по очереди главных свидетелей на очную ставку с обвиняемым. Кончилось тем, что меня отправили домой.

— Ступайте и скажите вашим родителям, чтобы они явились в училище.

— Мои родители далеко, в деревне.

— Тогда вашим воспитателям.

Еще вчера я был бесспорным первым учеником, на большом расстоянии от второго. Даже подозрение Майера не коснулось меня. А сегодня я низвержен, и Данилов, известный своею ленностью и испорченностью, попирает меня перед лицом класса и школьных властей. Что случилось? То, что я слишком энергично вступился за обиженного, который не был мне близок и сам по себе не внушал мне симпатии? То, что я слишком понадеялся на солидарность класса? Мне было, впрочем, не до обобщений, когда я возвращался в Покровский переулок. С перекошенным лицом, с замирающим сердцем, захлебываясь в словах и слезах, рассказывал я, как все было. Мои воспитатели утешали меня, как могли, хотя сами были очень напуганы. Фанни Соломоновна ходила к директору, к инспектору Крыжановскому, к Юрченко, объяснялась, убеждала, ссылаясь на собственный педагогический опыт. Все это делалось без моего ведома. Я сидел у себя в углу, застегнутый ранец лежал на столе, я тосковал. Так проходили дни.

Чем это кончится? Директор сказал: будет созван педагогический совет для рассмотрения вопроса в полном объеме. Это звучало грозно. Заседание состоялось. За решением ходил Моисей Филиппович. Я ждал его возвращения с гораздо большим волнением, чем впоследствии приговора царского суда. Стукнула знакомым стуком входная дверь внизу, знакомые шаги поднялись по чугунным ступенькам, открылась дверь в столовую, и одновременно из следующей комнаты появилась навстречу Фанни Соломоновна. Я чуть приподнял свою занавеску. «Исключили», сказал Моисей Филиппович тоном большой усталости. «Исключили?» переспросила Фанни Соломоновна, задыхаясь. «Исключили», еще ниже подтвердил Моисей Филиппович. Я ничего не сказал. Я повел глазами на Моисея Филипповича и Фанни Соломоновну и вернулся за свою занавеску. Летом, на каникулах, гостившая в Яновке Фанни Соломоновна рассказывала про меня: «Когда прозвучало это слово, он весь позеленел, так, что я испугалась за него». Я не плакал, я томился.

На педагогическом совете была борьба из-за трех видов исключения: без права поступления в какое бы то ни было учебное заведение, без права поступления в реальное училище св. Павла, и наконец, с правом возвращения в него. Остановились на последней, наиболее мягкой форме. Я с содроганием думал о том, как примут всю эту историю отец с матерью. Мои воспитатели сделали все, что можно было, чтобы подготовить и смягчить удар. Фанни Соломоновна написала старшей сестре обширное письмо с инструкцией на счет осведомления родителей. До конца учебного года я оставался в Одессе и приехал на каникулы, как всегда. Длинными вечерами, когда отец с матерью уже спали, я рассказывал сестре и старшему брату, как все было, изображая в лицах учителей и учеников. В брате и сестре еще слишком свежи были воспоминания о собственной учебе. В то же время они глядели на меня, как стар-

шие. То покачивали головами, то хохотали над моим рассказом. От смеху сестра перешла к слезам и долго плакала, уткнувшись головою в стол. Решено было, что я уеду куда-нибудь на неделю—на две в гости, а в мое отсутствие сестра расскажет все отцу. Она сама пугалась этой миссии. После неудачи с учением старшего брата, честолюбие отца сосредоточилось на мне. Первые годы обещали полный успех, и вдруг все пошло под откос...

Вернувшись через неделю из гостей со своим приятелем Гришей, внуком Моисея Харитоновича, у которого правая рука для концертов, я сразу понял, что все уже известно. Мать приветливо встретила Гришу, но сделала вид, что не замечает меня совсем. Отец, наоборот, держал себя так, как будто ничего не произошло. Только несколько дней спустя, вернувшись в жаркий день с поля и отдыхая в прохладных сенях, отец вдруг спросил меня при матери: «Ты мне скажи, как ты свистал своему директору? Вот так: два пальца в рот?» — показал он сам и вдруг рассмеялся. Мать с удивлением глядела то на отца, то на меня. На лице ее улыбка боролась с возмущением: можно ли так легко говорить о столь страшных вещах? Но отец продолжал допрашивать: «покажи, как ты свистал?» И все веселее смеялся. Как он ни был огорчен, ему, очевидно, все-таки нравилась мысль, что его отпрыск, несмотря на звание первого ученика, дерзнул свистать высоким начальникам. Напрасно я заверял его, что свисту не было, а был только мирный, совершенно безобидный вой. Отец настаивал на свисте. Кончилось тем, что мать заплакала.

К экзаменам я летом почти не готовился. То, что произошло, отшибло у меня временно вкус к учению. Я провел беспокойное лето, с постоянными вспышками ссор, и вернулся в Одессу недели за две до экзаменов, но и здесь занимался вяло. Старательнее всего я готовился, пожалуй, по французскому языку. Но на экзамене Бюрнанд ограничился не-

сколькими беглыми вопросами. Другие спрашивали и того меньше. Меня приняли в третий класс. Я встретил там большинство тех самых учеников, которые выдавали меня, или защищали, или держались в стороне. Это определило личные отношения надолго. Со многими я не разговаривал и не здоровался, зато с теми, которые поддерживали меня в трудные минуты, сблизился теснее.

Таково было первое, в своем роде политическое испытание. Группировки, которые сложились вокруг этого эпизода: ябедники и завистники на одном полюсе; открытые, отважные мальчики на другом, и нейтральная, зыбкая, неустойчивая масса по-средине — эти три группировки далеко не полностью рассосались и в течение последующих лет. В дальнейшей своей жизни я встречал их не раз в самых различных условиях.

* * *

Еще не весь снег убрали с улиц, — но было уже тепло. Крыши, деревья и воробьи дышали уже весною. Ученик четвертого класса возвращался из училища, держа, против всех правил, один ремешок ранца в руках, потому что оторвался крючок. Длинное пальто ощущалось лишним, ненужным, тяжелым, от него по всему телу шла испарина. Вместе с испариной шло томление. Мальчик по новому видел все вокруг и прежде всего себя. Весеннее солнце внушало, что есть что-то неизмеримо более могущественное, чем школа, инспектор и неправильно сидящий на спине ранец, чем учение, шахматы, обеды, даже чтение и театр, чем вся вообще повседневная жизнь. И тоска по этому неизведанному, повелительному, возвышающемуся над отдельным человеком охватила существо мальчика до самой сердцевины костей и вызвала сладкую боль изнеможения.

Домой он пришел с гудящей головой, с болезненной музыкой в висках, сбросил ранец на стол, лег

на кровать и незаметно для себя стал плакать в подушку. Чтоб дать оправдание слезам, он стал вспоминать жалостные сцены из книг и из собственной жизни, как бы подбрасывая свежего топлива в топку и плакал и плакал слезами весенней тоски. Шел ему тогда 14-й год.

С детских лет мальчик болел болезнью, которую врачи в официальных свидетельствах называли хроническим катаром желудочно-кишечного тракта, и которая тесно переплеталась со всей его жизнью. Ему часто приходилось глотать лекарства и соблюдать диету. Нервные толчки почти всегда сказывались на кишечнике. В четвертом классе болезнь так обострилась, что парализовала занятия. После длительного, но безуспешного лечения врачи присудили: отправить больного в деревню.

Приговор врачей я принял в тот момент скорее с удовольствием, чем с огорчением. Но нужно еще было завоевать согласие родителей. Нужно было добыть в деревню репетитора, чтобы не потерять учебного года. Это означало лишние расходы, а лишних расходов в Яновке не любили. Но при помощи Моисея Филипповича дело было в конце концов улажено. Репетитора нашли в лице бывшего студента Г., маленького человека, с пышной шевелюрой, изрядно поседевшей на висках. Это был чуть-чуть тщеславный, чуть-чуть фантастический, разговорчивый и бесхарактерный человечек, из категории неудачников с полуунивepситетским образованием. Он писал стихи и даже напечатал два из них в одесской газете. Оба номера были всегда при нем, и он их охотно показывал. Со мной отношения у него были порывистые, с постоянной тенденцией к ухудшению. Сперва Г. входил со мною во все более фамильярные отношения, настаивая по каждому поводу, что хочет быть моим другом. С этой целью он показывал мне карточку некоей Клавдии и говорил о своих с ней сложных отношениях. Потом он внезапно отступал и требовал с моей стороны почтительности ученика к учи-

телю. Кончился этот сумбур плохо: бурной ссорой и полным разрывом. Но и эпизод с репетитором не прошел бесследно. Как-ни-как, человек с седеющими висками поверял меня в тайны своих отношений к женщине, которая на карточке выглядела очень внушительно. Я почувствовал себя более взрослым.

В старших классах преподавание литературы перешло из рук Крыжановского в руки Гамова. Это был молодой еще, пухлый, очень близорукий и болезненный блондин без всякого огонька и без любви к предмету. Мы уныло ковыляли за ним от главы до главы. В довершение Гамов был еще и неаккуратен и затягивал до крайности просмотр наших письменных работ. В пятом классе полагалось в год четыре домашних «сочинения». К ним я чувствовал возрастающее пристрастие. Я прочитывал не только те пособия, которые указывал преподаватель, но и ряд других книг, выписывал факты и цитаты, переделывал и присваивал понравившиеся мне фразы, вообще работал с увлечением, не всегда останавливавшимся на границе невинного плагиата. Было еще несколько учеников, которые относились к сочинениям не как к неприятной обузе. Волнуясь, — одни с тревогой, другие с надеждой — ждал пятый класс оценки своей работы. Но оценка не приходила. Тоже повторилось и во второй четверти года. В третьей четверти я подал сочинение в виде целой тетради. Прошла неделя, другая, третья — о нашей работе по прежнему ни слуху, ни духу. Гамову осторожно напомнили. Он ответил уклончивой фразой. На следующем уроке Яблоновский, тоже один из ревностных сочинителей, спросил Гамова в упор: чем объясняется, что нам не удается узнать судьбу наших письменных работ и что с ними собственно происходит? Гамов его резко оборвал. Яблоновский не сдался. Сдвинув свои и без того сросшиеся брови, он стал нервно дергать верхнюю доску парты и, повысив голос, повторял, что так работать нельзя. «Я предлагаю вам замолчать и сесть», ответил Гамов.

Но Яблоновский не садился и не умолкал. «Потрудитесь выйти из класса», кричал на него Гамов. Отношения с Яблоновским у меня были давно испорчены. История с Бюрнандом во втором классе сделала меня осторожнее. Но тут я почувствовал, что молчать нельзя. «Антон Михайлович, — заявил я, — Яблоновский прав, мы все его поддерживаем»... «Правильно», послышались голоса. Гамов сперва растерялся, а потом рассвирепел. «Что это такое?» — кричал он не своим голосом, «я сам знаю, когда и что нужно делать... Вы мне не указ. Вы нарушаете порядок»... Мы попали в его больное место.

— Мы хотим видеть свои сочинения, и только, — поднялся третий.

Гамов был вне себя. «Яблоновский, ступайте вон из класса». Яблоновский не двигался с места. — Да иди, иди, чего тебе, — подсказывали ему шепотом с разных концов. Передергивая плечами, вращая белками на смуглом лице и стуча башмаками, Яблоновский вышел из класса, изо всей силы хлопнув дверью. Вначале следующего часа в класс неслышно въехал на своих резиновых подошвах Каминский. Это не предвещало ничего хорошего. Воцарилась тишина. Сипловатым фальцетом, точно с перепою, директор сделал краткое, но строжайшее внушение, с угрозой исключения из школы, и объявил кару: Яблоновского в карцер на двадцать четыре часа часа с тройкой по поведению, меня на двадцать четыре часа, и третьего из протестантов — на двенадцать часов. Таков был второй ухаб на моем учебном пути. Более значительных последствий дело на этот раз не имело. Гамов наших сочинений так и не вернул нам. Мы махнули на них рукой.

В этом самом году умер царь. Событие казалось громадным, даже невероятным, но далеким, вроде землетрясения в чужой стране. Сожаления к больному царю, симпатий к нему и горя по поводу его смерти не было ни у меня, ни вокруг меня. Когда на другой день я пришел в училище, там царило не-

что вроде большой беспричинной паники. — Царь умер, — говорили школьники друг другу и не знали, что прибавить, не находили, как выразить свое чувство, ибо не знали, в чем оно собственно состоит. Зато знали, что занятий не будет, и тихонько про себя радовались, особенно те, которые не приготовили уроков или боялись вызова к доске. Всех приходивших швейцар направлял в большой зал, где подготовлялись к панихиде. Поп в золотых очках сказал несколько приличествующих слов: дети скорбят, когда умирает отец; насколько же больше скорбь, когда умирает отец всего народа. Но скорби не было. Панихида длилась долго. Это было томительно и скучно. Всем приказали нашить себе траур на левом рукаве и покрыть крепом герб на фуражке. В остальном все пошло по старому.

В пятом классе школьники уже начинали обмениваться мыслями о высшем учебном заведении, о выборе дальнейшего пути. Много было разговоров о конкурсных экзаменах, о том, как режут петербургские профессора, какие задают забористые задачи, и какие есть петербургские специалисты по натаскиванию экзаменующихся. Были среди старших такие, которые ездили в Петербург из года в год, проваливались, снова готовились и снова проделывали тот же путь. При мысли об этих будущих испытаниях у многих сердце застывало за два года вперед.

Шестой класс прошел без приключений. Всем хотелось поскорее дотянуть лямку школы. Выпускные экзамены имели торжественный характер: в актовом зале и с участием университетских профессоров, командированных учебным округом. Директор каждый раз торжественно вскрывал пришедший от попечителя пакет, в котором заключалась тема письменной работы. После ее оглашения раздавался общий вздох испуга, точно всех сразу погружали в холодную воду. От нервного напряжения казалось, что задача совершенно не по силам. Но дальше обнаруживалось, что дело не так страшно. К концу по-

ложенных двух часов учителя помогали нам обманывать бдительность округа. Закончив свою работу, я не сдавал ее, а оставался, по молчаливому соглашению с инспектором Крыжановским, в зале, и вступал в оживленную переписку с теми, у кого дело обстояло неблагополучно.

Седьмой класс считался дополнительным. При училище св. Павла седьмого класса не было, — надо было переводиться в другое училище. В промежутке мы оказывались вольными гражданами. Каждый готовил себе на этот случай штатское платье. В день получения свидетельств мы вечером заседали уже большой группой в летнем саду, где пели на эстраде певички и куда вход ученикам был строго запрещен. У всех были галстухи, на столе две бутылки пива, во рту папироски. Мы сами в душе пугались собственной смелости. Не успели мы раскупорить первую из бутылок, как у нашего стола появился классный надзиратель Вильгельм, который за блеющий голос назывался козой. Мы сделали инстинктивное движение встать, и у всех слегка екнули сердца. Но дело обошлось благополучно. «Вы уже тут?» — сказал Вильгельм с оттенком прискорбия, и милостиво пожал нам руки. Старший из нас, К., с перстнем на мизинце, развязно предложил надзирателю выпить с нами пива. Это было уже слишком. Вильгельм с достоинством отказался и, поспешно простившись, удалился на розыски школьников, переступивших запретный порог сада. С удвоенным самосознанием мы приступили к пиву.

Семь лет, проведенных мною в реальном училище, начиная с приготовительного класса, не лишены были и радостей. Но видно их было меньше, чем горестей. В общем, память об училище осталась окрашенной если не в черный, то в серый цвет. Над всеми школьными эпизодами, и горестными, и радостными, возвышался режим бездушия и чиновничьего формализма. Трудно назвать хоть одного преподавателя, о котором я мог бы по настоящему

вспомнить с любовью. А между тем наше училище было не худшим. Кое-чему оно меня все же научило: оно дало элементарныя знания, привычку к систематическому труду и внешнюю дисциплину. Все это понадобилось в дальнейшем. Оно же, наперекор своему прямому назначению, посеяло во мне семена вражды к тому, что существует. Эти семена попали, во всяком случае, не на каменистую почву.

ГЛАВА V

Деревня и город

В деревне я провел безвыездно первые девять лет своей жизни. В течение следующих семи лет я ежегодно приезжал сюда на лето, иногда на рождество и на пасху. Почти до 18-ти лет я был тесно связан с Яновкой и с тем, что ее окружало. В первые годы детства влияние деревни было всесильно. В следующий период оно боролось с влиянием города и по всей линии отступало перед ним.

Деревня дала знакомство с сельским хозяйством, с мельницей, с американской сноповязалкой. Деревня сблизила с мужиками, и местными, и приезжавшими на мельницу, и дальними, из украинских губерний, приходившими с косой и с торбой за плечами на заработки. Многое из деревенского потом как бы забылось, затерлось в памяти, но при каждом повороте жизни всплывало то одно, то другое и кое в чем помогало.

Деревня показала в натуре типы дворянского оскудения и капиталистической наживы. Она раскрыла многие стороны человеческих отношений в их естественной грубости и тем дала ярче почувствовать другой тип культуры, городской, более высокой, но и более противоречивой.

Уже первые каникулы как бы свели в моем сознании город и деревню на очную ставку. Я ехал домой с величайшим нетерпением. Сердце прыгало

от радости. Я стремился всех снова увидеть и всем показать себя. В Новом Буге меня встретил отец. Я предъявил ему свои пятерки и объяснил, что теперь я в первом классе, и что мне необходим парадный мундир. Ехали ночью в фургоне, за кучера сидел молодой приказчик. В степи, особенно в балках, тянуло сырым холодком, и меня завернули в большую бурку. Опьяненный переменой обстановки, ездою, воспоминаниями, впечатлениями, я неутомимо рассказывал: про школу, про баню, про своего приятеля Костю Р., про театр. Не умолкая ни на минуту, я изложил сперва «Назара Стодолю», затем «Жильца с тромбоном». Отец слушал, моментами дремал, встряхивался и довольно смеялся. Молодой приказчик время от времени крутил головою и оглядывался на хозяина: вот это так рассказ. Под утро я уснул и проснулся в Яновке. Дом мне показался ужасно маленьким, деревенский пшеничный хлеб серым и весь деревенский обиход — и своим и чужим. Я рассказывал матери и сестрам про театр, но уже не с таким рвением, как ночью отцу. В мастерской я нашел Витю и Давида почти неузнаваемыми, они очень выросли и окрепли. Но и я показался им другим. Они стали сразу мне говорить вы. Я запротестовал.

—Ну, а как же? — отвечал смуглый, худой и тихий Давид. — Теперь вы ученый.

Иван Васильевич тем временем женился. Людскую кухню переделали в квартиру для него, рядом с мастерской, а кухню перевели в новую землянку, позади мастерской.

Но дело было не в этом. Между мною и тем, с чем было связано мое детство, встало стеной нечто новое. Все было и то и не то. Вещи и люди казались подмененными. Конечно, за год кое-что изменилось на деле. Но гораздо больше изменился мой глаз. С этого первого приезда стало обнаруживаться нечто вроде отчуждения между мной и семьей, сперва в мелочах, а с годами — серьезнее и глубже.

Двойственность влияний, исходивших от города и деревни, окрашивала весь период моего ученья. В городе я чувствовал себя несравненно ровнее в отношениях с людьми, и за вычетом отдельных, но зато уже бурных конфликтов, как со школьным французом или со словесником, довольно ровно шел на возжах семейной и школьной дисциплины. Причиной тому был не только уклад в семье Шпенцера, где царили разумная требовательность и сравнительно высокие критерии личных отношений, но и весь уклад городской жизни вообще. Правда, противоречия ее были никак не меньше деревенских, наоборот, больше, но в городе они были более прикрыты, упорядочены и регламентированы. Люди разных классов соприкасались только в деловой сфере, а дальше исчезали друг для друга. В деревне же все были друг у друга на виду. Рабская зависимость одного человека от другого торчала здесь наружу, как пружина из старого дивана. В деревне я отличался гораздо большей неровностью и сварливостью. Даже с Фанни Соломоновной, когда она гостила в деревне и осторожно выступала на стороне матери или сестры, я нередко ссорился и временами дерзил ей, хотя в городе сохранял по отношению к ней не только хорошие, но и нежные отношения. Конфликты возникали иногда по пустякам. Но часто в основе их было нечто более значительное.

Я в свеже вымытой парусине, в кожанном поясе с медной бляхой, на белом картузе желтый герб, сверкающий на солнце — одно великолепие. Это надо показать всем. Я выезжаю с отцом в поле, в самый разгар уборки озимой пшеницы. Старший косарь, Архип, угрюмый и в то же время мягкий, идет первый по бугру, за ним 11 косарей и 12 вязальниц. 12 кос режут озимую и накалённый воздух. Архип в портах на одной роговой пуговице. Вязальницы в рванных юбках, или в однех суровых рубахах. Издали звук кос кажется звоном жары.

«А ну дай-ка», говорит отец, — попробую я,

яка озима солома»... Он берет у Архипа косу и заступает его место. Я гляжу с волнением. Отец делает движения простые, домашние, как будто не работает, а только готовится к работе, и шаги делает легкие, пробные, будто — только выискивая на каком бы месте размахнуться. Коса у него ходит просто, совсем не молодцевато, будто даже и не очень уверенно, однако же режет низко-низко, ровно-ровно, — бреет и наотмашь кладет срезанное, аккуратной лентой, по левую руку. Архип поглядывает одним глазом и видно без слов, что одобряет. Остальные глядят по разному. Одни как будто сочувственно: хозяин то видать не промах. А другие холодно: хорошо ему косить свое, да и то только для показу. Я может быть и не перевожу все это на точные слова, но остро чувствую сложную механику отношений. После ухода отца на другой участок, я пытаюсь сам орудовать косой.

— «А вы на пятку, на пятку солому забирайте, носку давайте волю, не нажимайте».

Но от волнения я даже не соображаю, где она, эта самая пятка, и носок на третьем взмахе уходит в землю.

«Эге, так и косе скоро погибель» — говорит Архип, — «вы у отца поучитесь».

Я чувствую на себе насмешливые глаза смуглой и пыльной вязальницы и тороплюсь выбраться из рядов со своим гербом на картузе, из под которого струится пот.

«Иди лучше к мамаше пряники есть», — слышу я за спиной издевательский голос Мутузка. Я знаю этого черного, как сапог, косаря: он работает в Яновке третий год, посельник, ловкач, на язык дерзок, про хозяев порою говорил в прошлом году, нарочито при мне, нехорошие, но меткие слова. Мутузок нравится мне ловкостью и смелостью и в то же время вызывает бессильную ненависть своей разухабистой издевкой. Мне хочется сказать что то такое, чтоб покорить Мутузка на свою сторону, или

наоборот повелительно оборвать его, но я не знаю такого слова.

Приехав с поля, вижу у порога нашего дома босую женщину. Она сидит возле камня, опершись о стену, не решается сесть на камень, — это мать полуумного подпаска Игнатки. Она пришла за семь верст за рублем, но дома нет никого и некому дать рубль. Она будет ждать до вечера. Что то щемит у меня сердце при взгляде на эту фигуру, которая воплощает нищету и безропотность.

Через год дело не стало лучше, наоборот. Возвращаясь с крокета, я встретил во дворе отца, который только что прибыл с поля, усталый и раздраженный, весь в пыли, а за ним переставлял босые ноги с черными пятками пегий мужичек. «Отпустите, ради бога, корову», — просил он, и клялся, что не пустит ее больше в хлеба. Отец отвечал: «корова твоя съест на гривенник, а убытку сделает на десять рублей». Мужичек повторял свое, и в мольбе его звучала ненависть. Сцена эта потрясла меня всего, насквозь, до последних фибр в теле. Крокетное настроение, вынесенное с площадки меж грушевыми деревьями, где я победоносно разгромил сестер, сменилось сразу острым отчаянием. Я прошмыгнул мимо отца, пробрался в спальню, упал ничком на кровать и самозабвенно плакал, несмотря на билет ученика второго класса. Отец прошел через сени в столовую, за ним прошлепал до порога мужичек. Слышались голоса. Потом мужичек ушел. Пришла с мельницы мать, я различал ее голос, слышал, как стали готовить тарелки к обеду, как мать окликала меня... Я не отзывался и плакал. Слезы приобрели в конце концов вкус блаженства. Открылась дверь, и надо мною наклонилась мать:

— Чего ты, Левочка? — Я не отвечал. Мать о чем то пошепталась с отцом.

— Ты из-за этого мужика? Так ему корову вернули и штрафа с него не взяли.

— Я совсем не из-за этого, — ответил я из-под подушки, мучительно стыдясь причины своих слез.

— И штрафа с него не взяли, продолжала настаивать мать.

Это отец догадался о причине моего горя и сказал матери. Отец мимоходом, одним быстрым взглядом, умел подмечать многое.

Приехал однажды в отсутствие хозяина урядник, грубый, жадный, наглый, и потребовал паспорта рабочих. Он нашел два просроченных. Владельцев их он немедленно вызвал с поля и объявил арестованными для отправки на родину по этапу. Один был старик с глубокими складками коричневой шеи, другой молодой, племянник старика. Они упали в сенях сухими коленями на земляной пол, сперва старик, за ним молодой, гнули к земле головы и повторяли: «Сделайте такую божескую милость, не губите нас». Плотный и потный урядник, играя шашкой и отпивая принесенного ему из погреба холодного молока, отвечал: «у меня милость только по праздникам, а сегодня будни». Я сидел, как на жаровне, и что-то протестующе сказал срывающимся голосом. «Это, молодой человек, вас не касается», отчеканил строго урядник, а старшая сестра подала мне тревожный сигнал пальцем. Рабочих урядник увез.

Во время каникул я бывал за счетовода, т. е. в перемежку со старшим братом и старшей сестрой записывал в книгу нанятых рабочих, условия найма и отдельные выдачи, продуктами и деньгами. При расчетах с рабочими я нередко помогал отцу, и тут у нас вспыхивали короткие, приглушенные присутствием рабочих столкновения. Обманов при рассчете никогда не было, но условия договора истолковывались всегда жестко. Рабочие, особенно постарше, замечали, что мальчик тянет их руку, и это раздражало отца.

После резких столкновений я уходил из дому с книгой, не возвращался иногда и к обеду. Однажды во время такой ссоры застигла меня в поле гроза: гром грохотал без перерывов, степной дождь захлебывался

от обилия воды, молнии, казалось, искали меня то с одной, то с другой сторона. Я прогуливался взад и вперед, весь мокрый, в чавкающих башмаках и в картузе, похожем на водосточный раструб. Когда я пришел домой, все молча и искоса глядели на меня. Сестра дала мне переодеться и поесть.

После каникул я возвращался обычно с отцом. При пересадках носильщика не брали, вещи несли сами. Отец брал что потяжелее, и я видел по его спине и по вытянутым руками, что ему тяжело. Мне было жалко отца, и я старался нести, что мог. Когда же случался большой ящик с деревенскими гостинцами для одеской родни, то брали носильщика. Платил отец скупо, носильщик бывал недоволен, сердито крутил головой. Я всегда переживал это болезненно. Когда ездил один и приходилось прибегать к носильщикам, то я быстро расточал свои карманные деньги, всегда опасаясь недодать и беспокойно заглядывая носильщику в глаза. Это была реакция на прижимистость в родительском доме, и она осталась на всю жизнь.

И в деревне и в городе я жил в мелкобуржуазной среде, где главные усилия направлены были на приобретение. По этой линии я оттолкнулся и от деревни моего раннего детства, и от города моих школьных годов. Инстинкты приобретательства, мелкобуржуазный жизненный уклад и кругозор — от них я отчалил резким толчком и отчалил на всю жизнь.

В религиозной и национальной области город и деревня не противоречили друг другу, наоборот с разных сторон дополняли друг друга. Религиозности в родительской семье не было. Сперва видимость ее еще держалось по инерции: в большие праздники родители ездили в колонию в синагогу, по субботам мать не шила, по крайней мере открыто. Но и эта обрядовая религиозность ослабевала с годами, по мере того, как росли дети и рядом с ними благосостояние семьи. Отец не верил в бога с молодых лет и в более поздние годы говорил об этом открыто при матери и

детях. Мать предпочитала обходить этот вопрос, а в подходящих случаях поднимала глаза к небесам.

Когда мне было лет семь-восемь, вера в бога считалась еще, однако, как бы официально общепризнанной. Как-то приезжий гость, перед которым родители по обыкновению хвалились сыном, заставляя меня показывать рисунки и читать стихи, спросил меня:

— А что такое бог? — «Бог, — ответил я без колебания, — это такой человек». — Но гость покачал головою: нет, бог не человек.

— А что же такое бог? — спросил я в свою очередь, ибо кроме человека, я знал только животных и растения. Гость, отец и мать переглянулись с улыбкой смущения, как всегда бывает со взрослыми, когда дети начинают колебать самые незыблемые общие места.

— Бог — это дух, — сказал гость. Теперь я смотрел с растерянной улыбкой на взрослых, чтобы прочитать на их лицах, не шутят ли они со мною. Но нет, шутки не было. Приходилось подчиниться. Я скоро привык к тому, что бог это дух. Как и полагается маленькому дикарю, я связывал бога со своим собственным «духом», называя его душой, и уже знал, что дух, т. е. дыхание, прекращается со смертью. Но я еще не знал тогда, что это учение называется анимизмом.

Во время первых каникул, ложась спать на кушетке в столовой, я ввязался в беседу о боге со студентом З., который гостил в Яновке и спал на диване. В существование бога я в это время не то верил, не то не верил, особенно этим не занимался, но не прочь был найти твердое решение.

— А куда девается душа после смерти? — спросил я склоняясь к подушке. — А куда он девается, когда человек спит? — последовал ответ. — Ну, тогда все-таки... возражал я, борясь со сном. — А куда девается душа лошади, когда она околеет? — наступал

на меня З. Этот ответ удовлетворил меня полностью, и я безмятежно заснул.

В семье Шпенцера религиозности совершенно не было, если не считать старухи тетки, которая, однако, в счет не шла. Отец хотел, однако, чтоб я знал Библию в подлиннике, это был один из пунктов его родительского честолюбия, и я брал в Одессе частные уроки по Библии у очень ученого старика. Занятия наши длились всего несколько месяцев и нимало не укрепили меня в вере отцов. Уловив в словах учителя какой-то двусмысленный оттенок по отношению к тексту, который мы изучали, я осторожно и дипломатически спросил: «если считать, как думают некоторые, что нет бога, то как-же произошел мир?»

— Гм, — ответил мой учитель, — но ведь вы можете этот вопрос обратить на него самого. Именно так замысловато выразился старик. Я понял, что наставник в законе божием не верит в бога и успокоился окончательно.

Состав учеников в реальном училище был разноплеменный и разноисповедный. Препододование «закона божьего» производилось по принадлежности: православным священником, протестанским пастором, католическим патером, и еврейским законоучителем. Поп, племянник архиерея, и, как говорили, любимец дам, был молодой блондин писанной красоты под Христа, только вполне салонного, в золотых очках при пышных золотистых волосах, вообще невыносимого благолепия. Перед уроком религии ученики разделялись, иноверцам приходилось выходить из класса, иногда под носом у священника. Он всегда делал особое лицо, глядя на выходящих, с выражением презрения, чуть смягченного истинно христианской снисходительностью. «Вы куда?» — спрашивал он когонибудь из выходящих. «Мы — католики» — отвечал тот. «А, католики, — повторял он, покачивая головой, — так, так, так . . . А вы?» — «Мы евреи» . . . «Еврейчики, еврейчики, так, так, так» . . . К католикам приходил черной тенью ксендз, всегда у самой

стенки появляясь и исчезая незаметно, так что за все годы я так и не уловил его бритого лица. Добродушный человек, по фамилии Цигельман, преподавал евреям-ученикам на русском языке Библию и историю еврейского народа. Этих занятий никто не брал в серьез.

Национальный момент в психологии моей не занимал самостоятельного места, так как мало ощущался в повседневной жизни. После ограничительных законов 1881 г. отец, правда, не мог больше покупать землю, к чему так стремился, и мог лишь под прикрытием арендовать ее. Но меня все это мало задевало. Сын зажиточного землевладельца, я принадлежал скорее к привиллегированным, чем к угнетенным. Язык семьи и двора был русско-украинский. При поступлении в училище была, правда, для евреев, процентная норма, из-за которой я потерял год. Но дальше я шел все время первым, и нормы непосредственно не ощущал. Прямой национальной травли в училище не было. Этому препятствовала до известной степени уже национальная пестрота не только ученического, но и учительского сотава. Подспудный шовинизм, однако, чувствовался и время от времени прорывался наружу. Историк Любимов допрашивал с особым пристрастием ученика-поляка о преследовании православных поляками в Белоруссии и Литве. Мицкевич, смуглый и худощавый мальчик, стоял с прозеленью на щеках, стиснув зубы и не говоря ни слова. «Ну, что же вы?» — поощрял его Любимов с оттенком явного сладострастия. «Что же вы молчите?» Один из учеников не вытерпел: «Мицкевич сам поляк и католик». «А . . . а . . . — протянул Любимов с явно фальшивым удивлением, — здесь различий мы не делаем» . . .

Я одинаково остро ощущал и замаскированные гнусности историка по отношению к полякам, и злобную придирчивость француза Бюрнанда к немцам, и покачивание попика головой по поводу «еврейчиков». Национальное неравноправие послужило, вероятно,

одним из подспудных толчков к недовольству существующим строем, но этот мотив совершенно растворялся в других явлениях общественной несправедливости и не играл не только основной, но и вообще самостоятельной роли.

Чувство превосходства общего над частным, закона над фактом, теории над личным опытом, возникло у меня рано и укреплялось с годами. В оформлении этого чувства, которое позже легло в основу миросозерцания, город сыграл решающую роль. Когда мальчики, которые изучали физику и естествознание, делали суеверные замечания насчет «тяжелого» понедельника, или попа, который перешел дорогу, меня охватывало острое возмущение, чувство оскорбленной мысли. Я готов был лезть на стену, чтоб отвратить их от постыдных суеверий.

Когда в Яновке долго бились над измерением площади поля, имевшего форму трапеции, я поступил по Эвклиду, потратив на это две минуты. Но мой результат не сходился с тем, какой получался «по практике», и мне не верили. Я приносил курс геометрии, клялся наукой, волновался, говорил дерзости, но видел, что люди не убеждались, и приходил в отчаянье.

Я неистово спорил с нашим деревенским машинистом, Иваном Васильевичем, который не хотел отказаться от надежды построить машину вечного движения. Закон сохранения энергии казался ему мало относящейся к делу выдумкой. «То книга, а то практика»... говорил он. Мне казалось непонятным и невыносимым, что люди отталкиваются от незыблемых истин во имя привычных заблуждений или нелепых фантазий.

Позже чувство превосходства общего над частным вошло неотъемлемой частью в мою литературную работу и политику. Тупой эмпиризм, голое пресмыкательство перед фактом, иногда только воображаемым, часто ложно понятым, были мне ненавистны. Я искал над фактами законов. Это вело, разумеется,

не раз к слишком поспешным и ошибочным обобщениям, особенно в молодые годы, когда для обобщений не хватало ни книжного знания, ни жизненного опыта. Но во всех без исключения областях я чувствовал себя способным двигаться и действовать только в том случае, если держал в руках нить общего. Социально-революционный радикализм, ставший моим духовным стержнем на всю жизнь, вырос именно из этой интеллектуальной вражды к крохоборчеству, эмпиризму, ко всему вообще идейно неоформленному, теоретически необобщенному.

Пытаюсь оглянуться на себя назад. Мальчик был, несомненно, самолюбив, вспыльчив, пожалуй, неуживчив. Вряд ли у него при поступлении в училище было чувство превосходства над сверстниками. Правда, в деревне его выставляли перед гостями, но там не с кем было и сравнивать себя, а городские мальчики, бывавшие в Яновке, всегда имели недосягаемое превосходство гимназистов, связанное с превосходством возраста, так что глядеть на них нельзя было иначе, как снизу вверх. Но школа есть арена жестокого соревнования. С того момента, как он оказался первым учеником, на большом расстоянии от второго, маленький выходец из Яновки почувствовал, что может более других. Мальчики, которые сближались с ним, признавали его верховенство. Это не могло не сказаться на характере. Учителя тоже одобряли его, а некоторые, как Крыжановский, даже и очень выдвигали. В общем же учителя относились к нему хоть и хорошо, но скорее суховато. Ученики делились: были горячие друзья, но были и противники.

Мальчик не был лишен самокритики. Он был даже скорее придирчив к себе. Собственные знания и черты собственного характера не удовлетворяли его, и чем дальше, тем острее. Он свирепо ловил себя на том, что сказал неправду, и укорял себя на каждом шагу в том, что не читал книг, о которых уверенно упоминали другие. Это, конечно, было тесно связано

с самолюбием. Мысль о том, что нужно стать лучше, выше, начитаннее, все чаще щемила у него в груди. Он думал о назначении человека вообще и о своем в особенности.

Как-то вечером Моисей Филиппович, проходя мимо, спросил меня торжественно: «Что, брат, думаешь ли ты о жизни?» Мой воспитатель часто прибегал к такой шутливой риторике, к иронически-театральному тону. Но меня всего как обожгло. Да, я именно думал о жизни, только не умел назвать этим именем свою мальчишескую тревогу перед будущим. Мне казалось, что мой воспитатель подслушал меня. «Видно, я в точку попал», сказал он совсем другим тоном, мягко похлопал меня по спине и прошел к себе.

Были ли в семье Шпенцера какие-либо политические взгляды? Умеренно-либеральные, на гуманитарной подкладке, у Моисея Филипповича — туманно-социалистические симпатии, народнически и толстовски окрашенные. На политические темы почти никогда не говорили, особенно при мне: возможно, что тут были прямые опасения, как бы я не сказал чего лишнего товарищам, и как бы не накликать беды. Когда же в речах старших попадались случайные ссылки на события революционного движения, например: «это было в год убийства Александра II», — то это звучало таким прошлым, как если бы сказать: это было в год открытия Америки Колумбом. Среда, окружавшая меня, была аполитичной. Ни политических взглядов, ни даже потребности иметь их у меня в школьные годы не было. Но безотчетные стремления мои были оппозиционными. Была глубокая неприязнь к существующему строю, к несправедливости, к произволу. Откуда? Из условий эпохи Александра III, из полицейского самоуправства, помещичьей эксплоатации, чиновничьего взяточничества, национальных ограничений, из несправедливостей в училище и на улице, из близких связей с крестьянскими мальчиками, прислугой, рабочими, из разговоров в мастерской, из гуманного духа в семье Шпенцера, из

чтения стихов Некрасова и всяких других книг, изо всей вообще общественной атмосферы. Эти оппозиционные настроения я сам для себя резко обнаружил в соприкосновении с двумя товарищами по классу: Родзевичем и Кологривовым.

Владимир Родзевич был сын полковника и одно время шел вторым учеником. Он настоял у родителей, чтобы ему разрешили пригласить меня на воскресенье. Меня приняли суховато, но хорошо. Полковник и полковница говорили со мной мало и как бы испытующе. За те три-четыре часа, что я провел в семье Родзевича, я раза два натолкнулся на что-то чуждое и беспокоющее, даже враждебное: это, когда вскользь касались религии или власти. Был в семье тон консервативного благочестия, который я почувствовал, как толчок в грудь. Владимира ко мне родители не пустили, и связь наша оборвалась. После первой революции в Одессе достигло большой популярности имя черносотенца Родзевича, вероятно, одного из членов этой семьи.

Еще резче вышло это с Кологривовым. Он поступил сразу во второй класс, на второе полугодие и выделялся в классе как чужак, высокий и нескладный. Прилежания он был необыкновенного. Где и что можно было, заучивал на зубок. В течение первого же месяца он совсем зазубрился. Когда его к карте вызвал учитель географии, Кологривов, не дожидаясь вопроса, начал сразу: «Иисус Христос заповедал миру». Дело в том, что после географии предстоял урок закона божьего. В разговоре с этим Кологривовым, который не без почтительности относился ко мне, как к первому ученику, я высказал какое-то критическое суждение не то о директоре, не то еще о ком то. «Разве так можно говорить о директоре?» — спросил с искренним возмущением Кологривов. «А почему же нет?» — с еще более искренним удивлением возразил я. «Да ведь он же начальник. Если начальник прикажет тебе на голове ходить, то ты обязан ходить, а не критиковать». Он так именно

и сказал. Это законченная формула поразила меня. Я тогда не догадался, что мальчик повторил лишь то, что не раз, очевидно, слышал в своей крепостнической семье. И хоть своих взглядов у меня не было, но я почувствовал, что есть такие взгляды, которых я не могу принять так же, как не могу есть червивую пищу.

Параллельно с глухой враждой к политическому режиму России складывалась незаметным образом идеализация за-границы, Западной Европы и Америки. По отдельным замечаниям и обрывкам, дополненным воображением, создавалось представление о высокой, равномерной всех без изъятия охватывающей культуре. Позже, с этим связалось представление об идеальной демократии. Молодой рационализм говорил, что если что-нибудь понято, то значит и осуществлено. Поэтому, казалось невероятным, что в Европе могут быть суеверия, что церковь может играть там большую роль, что в Америке могут преследовать чернокожих. Эта идеализация, незаметно всосанная из окружающей мещански-либеральной среды, держалась и позже, когда я стал уже проникаться революционными взглядами. Я бы, вероятно, очень удивился, если бы услышал в те годы, — если-б мог услышать, — что германская республика, увенчанная социалдемократическим правительством допускает монархистов, но отказывает революционерам в праве убежища. С того времени, я, к счастью, многому перестал удивляться. Жизнь выколотила из меня рационализм и научила меня диалектике. Даже Герман Мюллер не способен меня удивить.

ГЛАВА VI

Перелом

Политическое развитие России с середины прошлого века измерялось десятилетиями. Шестидесятые

годы — после крымской кампании — были эпохой просветительства, нашим коротким XVIII столетием. В следующее десятилетие интеллигенция попыталась уже сделать практические выводы из идей просветительства: она начала с хождения в народ с революционной пропагандой и закончила терроризмом. Семидесятые годы вошли в историю, как годы «Народной Воли» по преимуществу. Лучшие элементы поколения сгорели в огне динамитной борьбы. Враг удержал все свои позиции. Наступило десятилетие упадка, разочарования, пессимизма, религиозных и моральных исканий — восьмидесятые годы. Под покровом реакции шла, однако, глухая работа сил капитализма. Девяностые годы приносят с собою рабочие стачки и марксистские идеи. Новый подъем достигает своей кульминации в первом десятилетии нового века: это 1905 год.

80-ые годы стояли под знаком обер-прокурора святейшего синода Победоносцева, классика самодержавной власти и всеобщей неподвижности. Либералы считали его чистым типом бюрократа, незнающего жизни. Но это было не так. Победоносцев оценивал противоречия, кроющиеся в недрах народной жизни, куда трезвее и серьезнее, чем либералы. Он понимал, что если ослабить гайки, то напором снизу сорвет социальную крышку целиком и тогда развеется прахом все то, что не только Победоносцев, но и либералы считали устоями культуры и морали. Победоносцев по своему видел глубже либералов. Не его вина, если исторический процесс оказался могущественнее той византийской системы, которую с такой энергией защищал вдохновитель Александра III и Николая II.

В глухие 80-ые годы, когда либералам казалось, что все замерло, Победоносцев чувствовал под ногами мертвую зыбь и глухие подземные толчки. Он не был спокоен в самые спокойные годы царствования Александра III. «Тяжело было и есть, — горько сказать, — и еще будет — так писал он своим доверенным людям. — У меня тягота не спадает с души,

потому что я вижу и чувствую ежечасно, каков дух времени и каковы люди стали... Сравнивая настоящее с давно прошедшим, чувствуем, что живем в каком-то ином мире, где все идет вспять к первобытному хаосу, — и мы, посреди всего этого брожения, чувствуем себя бессильными». Победоносцеву довелось дожить до 1905 года, когда столь страшившие его подземные силы вырвались наружу, и первые глубокие трещины прошли через фундамент и капитальные стены всего старого здания.

Официальным годом политического перелома в стране считается 1891 год, ознаменовавшийся неурожаем и голодом. Новое десятилетие не только в России вращалось вокруг рабочего вопроса. В 1901 году германская социалистическая партия приняла вЭрфурте свою программу. Папа Лев XIII выпустил энциклику, посвященную положению рабочих. Вильгельм носился с социальными идеями, в которых сумасбродное невежество сочеталось с бюрократической романтикой. Сближение царя с Францией обеспечило приток капиталов в Россию. Назначение Витте министром финансов открыло эру промышленного протекционизма. Бурное развитие капитализма порождало тот самый «дух времени», который томил Победоносцева грозными предчувствиями.

Политический сдвиг в сторону активности обнаружился прежде всего в кругах интеллигенции. Все чаще и решительнее стали выступать молодые марксисты. Одновременно начало пробуждаться и уснувшее народничество. В 1893 году вышла первая легальная марксистская книжка, принадлежавшая перу Струве. Мне шел тогда 14-й год, я был еще далек от этих вопросов.

В 1894 году умер Александр III. Как всегда в таких случаях, либеральные надежды пытались найти опору в наследнике. Он ответил пинком ноги. На приеме земцев молодой царь назвал конституционные надежды «бессмысленными мечтаниями». Эта речь была напечатана во всех газетах. Из уст в уста пе-

редавали, будто в бумажке, с которой считывал царь свою речь, написано было: «беспочвенные мечтания», но от волнения царь сказал грубее, чем хотел. Мне было в это время 15 лет. Я был безотчетно на стороне бессмысленных мечтаний, а не на стороне царя. Я смутно верил в постепенное совершенствование, которое должно отсталую Россию приблизить к передовой Европе. Дальше этого мои политические идеи не шли.

Торговая, разноплеменная, пестрая, крикливая Одесса чрезвычайно отставала политически от других центров. В Петербурге, в Москве, в Киеве существовали уже к этому времени многочисленные социалистические кружки в учебных заведениях. В Одессе их еще не было. В 1895 году умер Фридрих Энгельс. В разных городах России Энгельсу были посвящены тайные доклады на студенческих и ученических кружках. Мне шел в это время уже 16-й год. Но я не знал самого имени Энгельса, и вряд ли мог сказать что-либо определенное о Марксе; пожалуй, вообще еще ничего не знал о нем.

Политические настроения мои в школе были смутно-оппозиционные, и только. О революционных вопросах в школе при мне еще не было и речи. Шопотом передавали, что в частном гимнастическом зале у чеха Новака собирались какие-то кружки, что были аресты, что именно за это Новак, преподававший у нас гимнастику, уволен из училища и заменен офицером. В кругу людей, с которыми я был связан через семью Шпенцера, режимом были недовольны, но считали его незыблемым. Самые смелые мечтали о конституции через несколько десятков лет. О Яновке и говорить нечего. Когда, после окончания училища, я явился в деревню со смутными демократическими идеями, отец сразу насторожился и враждебно сказал: «Этого не будет еще и через триста лет». Он был уверен в тщете реформаторских усилий и боялся за сына. В 1921 г., когда, спасшись от белых и красных опасностей, отец прибыл ко мне в Кремль, я шутя

сказал ему: «А помните, вы говорили, что царских порядков еще на триста лет хватит?» Старик лукаво улыбнулся и ответили по украински: «Пусть на сей раз твоя правда старше» . . .

В среде интеллигенции в начале девяностых годов умирали толстовские настроения, марксизм все более победоносно наступал на народничество. Отголосками этой идейной борьбы была наполнена пресса всех направлений. Везде упоминалось о самонадеянных молодых людях, которые называют себя материалистами. Со всем этим я столкнулся впервые лишь в 1896 году.

Вопросы личной морали, столь тесно связанные с пассивной идеологией 80-ые годов, скользнули по мне в такой период, когда « самосовершенствование» являлось для меня не столько идейным направлением, сколько органической потребностью духовного роста. Самосовершенствование тотчас же, однако, уперлось в вопрос о «миросозерцании», который, в свою очередь, привел к основной альтернативе: народничество или марксизм. Борьба направлений захватила меня с запозданием всего лишь на несколько лет по отношению к общему идейному перелому в стране. Когда я подходил к азбуке экономической науки и ставил перед собою вопрос о том, должна ли Россия проходить через стадию капитализма, марксисты старшего поколения успели уже найти путь к рабочим и превратиться в социалдемократов.

К первому большому перекрестку на своем пути я подошел политически мало подготовленным, даже для тогдашнего своего семнадцатилетнего возраста. Слишком много вопросов вставало передо мной сразу, без соблюдения необходимой последовательности и очередности. Я метался. Одно можно сказать уверенно: в сознании моем был уже заложен жизнью серьезный запас социального протеста. Из чего он состоял? Из сочувствия к обиженным и возмущения несправедливостью. Пожалуй, последнее чувство

было самым сильным. Во всех моих бытовых впечатлениях, начиная с раннего детства, человеческое неравенство выступало в исключительно грубых и обнаженных формах, несправедливость получала нередко характер наглой безнаказанности, человеческое достоинство попиралось на каждом шагу. Достаточно вспомнить о порке крестьян. Все это воспринималось остро еще до всяких теорий, и создавало запас впечатлений большой взрывчатой силы. Может быть именно поэтому я как бы колебался некоторое время перед теми большими выводами, которые необходимо было сделать из наблюдений первого периода моей жизни.

Но была в моем развитии и другая сторона. При смене поколений мертвый нередко хватает живого. Так было и с тем поколением русских революционеров, ранняя юность которых складывалась под гнетом атмосферы 80-ых годов. Несмотря на большие перспективы, открывавшиеся новым учением, на практике марксисты сплошь да рядом оказывались в плену консервативных настроений восьмидесятых годов, проявляли неспособность к смелой инициативе, пасовали перед препятствиями, отодвигали революцию в неопределенное будущее, социализм склонны были считать делом эволюционной работы столетий.

В такой семье, как семья Шпенцера, несколькими годами раньше или несколькими годами позже несравненно громче звучал бы голос политической критики. На мою долю выпали самые глухие годы. Политических бесед в семье почти не было, большие вопросы обходились. В школе то же самое. Я несомненно многое впитал из этой атмосферы 80-ых годов. И позже, когда я уже стал оформляться, как революционер, я ловил себя на недоверии к действию масс, на книжном, абстрактном и потому скептическом отношении к революции. Со всем этим я должен был бороться в самом себе — размышлением, чтением, а главное опытом, — пока не победил в себе элементы психической косности.

Но нет худа без добра. Может быть именно то обстоятельство, что мне пришлось сознательно преодолевать в себе отголоски восьмидесятых годов, дало мне возможность серьезнее, конкретнее и глубже подойти к основным проблемам массового действия. Прочно только то, что завоевано с бою. Все это, однако, относится к более отдаленным главам моего повествования.

В седьмом классе я учился уже не в Одессе, а в Николаеве. Город был провинциальнее, училище стояло на более низком уровне. Но год учения в Николаеве, — 1896, стал переломным годом моей юности, ибо поставил передо мною вопрос о моем месте в человеческом обществе. Я жил в семье, где были взрослые дети, уже слегка захваченные новыми течениями. Замечательное дело: на первых порах я давал в разговоре решительный отпор «социалистическим утопиям». Я разыгрывал из себя скептика, который через все это прошел. На политические вопросы я откликался не иначе, как тоном иронического превосходства. Хозяйка, у которой я жил, глядела на меня с удивлением и даже ставила меня в пример, правда не совсем уверенно, своим собственным детям, которые были несколько старше меня и тянули влево. Но это была с моей стороны лишь неравная борьба за свою самостоятельность. Я пытался избежать личного влияния на меня тех молодых социалистов, с которыми меня столкнула судьба. Неравная борьба длилась всего несколько месяцев. Идеи, которые носились в воздухе, были сильнее меня. Тем более, что в глубине души я ничего так не хотел, как подчиниться им. Уже через несколько месяцев жизни в Николаеве поведение мое коренным образом изменилось. Я отказался от напускного консерватизма и забирал влево с такой стремительностью, которая отпугивала кой-кого из моих новых друзей. «Как же так? — говорила моя хозяйка, — напрасно, значит, я вас ставила в пример своим детям».

Школьные занятия я запустил. Вывезенных из

Одессы знаний хватало, впрочем, на то, чтоб удерживать кое-как официальное положение первого ученика. Я все чаще манкировал училищем. Однажды ко мне на квартиру явился с визитом инспектор, чтоб проверить причину моих неявок. Я чувствовал себя униженным до последней степени. Но инспектор был вежлив, убедился, что в семье, где я жил, как и в моей комнате царил порядок, и мирно удалился. Под матрацом у меня лежало несколько нелегальных брошюр.

Кроме молодежи, тяготевшей к марксизму, я встретился в Николаеве впервые с несколькими бывшими ссыльными, состоявшими под надзором полиции. Это были второстепенные фигуры периода упадка народнического движения. Социалдемократы еще не возвращались из ссылки, они только отправлялись в нее. Два встречных течения создавали идейные водовороты. В них некоторое время покружился и я. От народничества шел запах затхлости. Марксизм отпугивал так называемой «узостью». Сгорая от нетерпения, я пытался схватывать идеи чутьем. Но они не давались так просто. Вокруг себя я не находил никого, кто мог бы служить надежной опорой. Да к тому же каждая новая беседа заставляла меня с горечью, с обидой, с отчаяньем убеждаться в своем невежестве.

Я познакомился и сблизился с садовником Швиговским, чехом по происхождению. В его лице я видел впервые рабочего, который получал газеты, читал по немецки, знал классиков, свободно участвовал в спорах марксистов с народниками. Его избушка в саду, состоявшая из одной комнаты, была местом, где встречались приезжие студенты, бывшие ссыльные и местная молодежь. Через Швиговского можно было достать запрещенную книгу. В разговорах ссыльных мелькали имена народовольцев: Желябова, Перовской, Фигнер, не как героев легенды, а как живых людей, с которыми встречались, если не эти ссыльные, то их старшие друзья. У меня

было такое чувство, что я включаюсь маленьким звеном в большую цепь.

Я набрасывался на книги, в страхе, что всей жизни не хватит на подготовку к действию. Чтение было нервное, нетерпеливое и несистематическое. От нелегальных брошюрок прдшествующей эпохи я переходил к «Логике» Джона Стюарта Милля, потом садился за «Первобытную культуру» Липперта, не дочитав «Логики» и до половины. Утилитаризм Бентама казался мне последним словом человеческой мысли. В течение нескольких месяцев я чувствовал себя несокрушимым бентамистом. По той же линии шли увлечения реалистической эстетикой Чернышевского. Не покончив с Липпертом, я перебрасывался на «Историю французской революции» Минье. Каждая книга жила особо, не находя себе места в системе. Борьба за систему имела напряженный, моментами неистовый характер. В то же время я отталкивался от марксизма отчасти именно потому, что он представлял собой законченную систему.

Одновременно я стал читать газеты, не так, как в Одессе, а под политическим углом зрения. Наибольшим авторитетом пользовалась тогда московская либеральная газета «Русские Ведомости». Мы ее не читали, а изучали, начиная с импотентных профессорских передовиц и кончая научными фельетонами. Гордостью газеты были иностранные корреспонденции, особенно из Берлина. Через «Русские Ведомости» я получил первое представление о политической жизни Западной Европы, особенно о парламентских партиях. Сейчас трудно даже представить себе то волнение, с каким мы следили за речами Бебеля и даже Евгения Рихтера. И до сих пор я помню фразу, которую Дашинский бросил вошедшим в здание парламента полицейским: «Я представитель 30 000 рабочих и крестьян Галиции, кто смеет ко мне прикоснуться!» Мы рисовали себе при этом титаническую фигуру галицийского революционера. Театральные подмостки парламентаризма — увы, — жестоко об-

манывали нас. Успехи немецкого социализма, президентские выборы в Соединенных Штатах, потасовки в австрийском рейхсрате, происки французских роялистов, все это захватывало нас гораздо больше, чем личная судьба каждого из нас.

Тем временем отношения с родными ухудшились. Приезжая в Николаев для продажи зерна, отец какими то путями узнал о моих новых знакомствах. Он чувствовал, что надвигается опасность, но надеялся еще отвратить ее силою отцовского авторитета. У нас было несколько бурных объяснений. Я непримиримо боролся за свою самостоятельность, за право выбора пути. Кончилось тем, что я отказался от материальной помощи семьи, покинул свою ученическую квартиру и поселился вместе со Швиговским, который к этому времени арендовал другой сад, с более обширной избою. Здесь мы вшестером жили «коммуной». Летом число наше увеличивалось одним-двумя туберкулезными студентами, искавшими чистого воздуха. Я стал давать уроки. Мы жили спартанцами, без постельного белья, и питались похлебками, которые сами готовили. Мы носили синие блузы, круглые соломенные шляпы и черные палки. В городе считали, что мы примкнули к таинственной секте. Мы беспорядочно читали, неистово спорили, страстно заглядывали в будущее и были по своему счастливы.

Через некоторое время мы создали общество для распространения в народе полезных книг. Мы собирали денежные взносы, покупали дешевые издания, но не умели их распространять. В саду Швиговского работали один наемный рабочий и один подростокученик. Нашу просветительную энергию мы направили прежде всего на них. Но рабочий оказался переодетым жандармом, который был специально подкинут к нам в сад для наблюдения за нами. Его звали Кирилл Тхоржевский. Он втянул в связь с жандармами и подростка. Тот стащил у нас большую пачку народных книг и снес ее в жандармское

управление. Начало было явно неудачно. Но мы твердо надеялись на успехи в будущем.

Я написал для народнического издания в Одессе полемическую статью против первого марксистского журнала. В статье было много эпиграфов, цитат и яду. Содержания в ней было значительно меньше. Я послал статью по почте, а через неделю сам поехал за ответом. Редактор через большие очки с симпатией глядел на автора, у которого вздымалась огромная копна волос на голове при отсутствии хотя бы намека на растительность на лице. Статья не увидела света. Никто от этого не потерял, меньше всего я сам.

Когда выборная дирекция общественной библиотеки подняла годовую абонементную плату с пяти рублей до шести, мы увидели в этом попытку отгородиться от демократии и ударили в набат. Несколько недель мы только и делали, что подготовляли общее собрание членов библиотеки. Мы вытряхивали все свои демократические карманы, собирали рубли и полтинники и на эти деньги записывали новых более радикальных членов, из которых далеко не все обладали не только шестью рублями, но и указанным в уставе двадцатилетним возрастом. Книгу заявлений в библиотеке мы превратили в собрание пламенных памфлетов. На годовом собрании сшиблись две партии: чиновники, учителя, либеральные помещики и морские офицеры, с одной стороны, мы, демократия, с другой. Победа оказалась за нами по всей линии: мы восстановили пятирублевую плату и выбрали новое правление.

Бросаясь из стороны в сторону, мы решили создать университет на началах взаимообучения. Слушателей было человек двадцать. На меня легли лекции по социологии. Это звучало гордо. Я готовился к своему курсу изо всех сил. После двух лекций, прошедших вполне благополучно, я почувствовал сразу, что мои рессурсы истощены. Второй лектор, на которого лег курс французской революции, сбился

на первых фразах и пообещал представить лекцию в письменном виде. Обещания, он, разумеется, не выполнил. На этом предприятие закончилось.

Тогда с этим самым вторым лектором, старшим из братьев Соколовских, мы решили написать драму. Для этой цели мы даже вышли временнно из коммуны, и укрылись в отдельной комнате, никому не сообщая адреса. Пьеса наша была проникнута общественными тенденциями на фоне борьбы поколений. Хотя оба драматурга еще полунедоверчиво относились к марксизму, тем не менее народник в пьесе представлял собою скорее инвалидную фигуру, а бодрость, свежесть, надежда были на стороне молодых марксистов. Такова сила времени! Романический элемент нашел выражение в том, что разбитый жизнью революционер старшего поколения влюбляется в марксистку,но она отчитывает его немилосердной речью о крушении народничества.

Работа над пьесой шла не малая. Иногда мы писали совместно, подталкивая и поправляя друг друга, иногда разбивали сцены на части, и каждый из нас в течение дня заготовлял явление или монолог. А в монологах, нужно сказать, у нас недостатка не было. Вечером Соколовский приходил со службы, которая позволяла ему свободно обрабатывать жалобные речи разбитого жизнью семидесятника. Я возвращался с уроков или от Швиговского. Хозяйская дочь подавала нам самовар. Соколовский вынимал из карманов хлеб и колбасу. Отделенные таинственной броней от всего мира, драматурги проводили остаток вечера в напряженной работе. Первое действие мы написали целиком, даже с надлежащим эффектом под занавес. Остальные действия, числом четыре, были только в набросках. Чем дальше мы подвигались, однако, тем больше охладевали к своей работе. Через некоторое время мы пришли к заключению, что таинственную комнату нашу надо ликвидировать, а завершение драмы отложить до будущего времени. Сверток рукописей был перенесен

Соколовским на какую то другую квартиру. Позже, когда мы сидели уже в одесской тюрьме, Соколовский сделал через своих родных попытку разыскать рукопись. Может быть у него мелькала мысль о том, что ссылка будет как раз подходящим временем для обработки драматического произведения. Но рукописи не было, она исчезла бесследно. Вернее всего, хозяева, у которых она хранилась, после ареста злополучных авторов сочли за лучшее предать ее сожжению. Я мирюсь с этим тем легче, что на дальнейшем моем не всегда гладком жизненном пути у меня пропали рукописи несравненно большего значения.

ГЛАВА VII

Моя первая революционная организация

Осенью 1896 года я все же посетил деревню. Но дело ограничилось коротким перемирием с семьей. Отец хотел, чтоб я стал инженером. А я еще колебался между чистой математикой, к которой чувствовал большое тяготение, и революцией, которая постепенно овладевала мною. Каждое прикосновение к этому вопросу приводило к острому кризису в семье. Все были мрачны, все страдали, старшая сестра потихоньку плакала, и никто не знал, что предпринять. Гостивший в деревне дядя, инженер и владелец завода в Одессе, уговорил меня поехать на время к нему. Это все же был хоть временный выход из тупика. Я прожил у дяди несколько недель. Мы спорили о прибыли и прибавочной стоимости. Мой дядя был сильнее в присвоении прибыли, чем в объяснении ее. Поступление на математический факультет оттягивалось. Я жил в Одессе и искал. Чего? Главным образом себя. Я заводил случайные знакомства с рабочими, доставал нелегальную литературу, давал уроки, читал тайные лекции старшим ученикам ремесленного училища, вел споры с марк-

систами, все еще пытаясь не сдаваться. С последним осенним пароходом я уехал в Николаев и снова поселился со Швиговским в саду.

Возобновилось старое. Мы обсуждали последние книжки радикальных журналов, спорили о дарвинизме, неопределенно готовились и ждали. Что послужило непосредственным толчком к начатию революционной пропаганды? На это трудно ответить. Толчок был внутренний. В той интеллигентской среде, в которой я вращался, никто не вел настоящей революционной работы. Мы отдавали себе отчет в том, что между нашими бесконечными беседами за чаем и революционной организацией — целая пропасть. Мы знали, что связи с рабочими требуют большой конспирации. Это слово мы произносили серьезно, с уважением, почти мистическим. Мы не сомневались, что в конце концов перейдем от чаепитий к конспирации, но никто определенно не говорил, когда и как это произойдет. Чаще всего в оправдание оттяжек мы говорили друг другу: надо подготовиться. И это не было так уж неверно.

Но что-то, очевидно, сдвинулось в воздухе, и резко приблизило наш переход на путь революционной пропаганды. Сдвиг произошел не непосредственно в самом Николаеве, а во всей стране, прежде всего в столицах, но отдался и у нас. В 1896 году в Петербурге разразились знаменитые массовые стачки ткачей. Это придало духу интеллигенции. Почувствовав пробуждение тяжелых резервов, студенты стали смелее. Летом, на Рождество и на Пасху десятки студентов появлялись в Николаеве и приносили с собой отголоски петербургской, московской и киевской борьбы. Некоторых исключали из университета, и недавние гимназисты возвращались с ореолом борцов. В феврале 1897 г. сожгла себя в Петропавловской крепости курсистка Ветрова. Эта трагедия, так и оставшаяся невыясненной до конца, всполошила всех. В университетских городах происходили волнения. Аресты и высылки учащались.

К революционной работе я приступил под аккомпанимент «ветровских» демонстраций. Дело было так: я шел по улице с младшим участником нашей коммуны Григорием Соколовским, юношей моего, примерно, возраста. — Надо бы все-таки и нам начать, говорил я, — Надо начать, ответил Соколовский. — Только как? — Вот именно: как? — Надо найти рабочих, никого не дожидаться, никого не спрашивать, а найти рабочих и начать. — Я думаю, найти можно, сказал Соколовский. — У меня был знакомый сторож на бульваре, библеец. Вот я к нему и схожу.

Соколовский в тот же день сходил на бульвар к библейцу. Того уже давно не было. Была какая-то женщина, а у этой женщины был знакомый, тоже сектант. Через этого знакомого незнакомой нам женщины Соколовский в тот же день познакомился с несколькими рабочими, среди которых был электротехник Иван Андреевич Мухин, ставший вскоре главной фигурой организации. Соколовский вернулся с поисков с горящими глазами. «Вот это люди, так люди!»

На другой день мы сидели в трактире, группой человек в пять-шесть. Музыкальная машина бешено грохотала над нами и прикрывала нашу беседу от посторонних. Мухин, худощавый, бородка клинушком, щурит лукаво умный левый глаз, глядит дружелюбно, но опасливо на мое безусое и безбордое лицо, и обстоятельно, с лукавыми остановочками, разъясняет мне: Евангелие для меня в этом деле, как крючок. Я с религии начинаю, а перевожу на жизнь. Я штундистам на днях на фасолях всю правду раскрыл. — Как на фасолях? — Очень просто: Кладу зерно на стол — вот это царь, кругом еще обкладываю зерна: это министры, архиереи, генералы, дальше — дворянство, купечество, а вот эти фасоли кучей — простой народ. Теперь спрашиваю: где царь? Он показывает в середку. Где министры? Показывает кругом. Как я ему сказал, так он и мне говорит. Ну, теперь постой, — говорит Иван Андреевич, —

теперь погоди. — Он вовсе закрывает левый глаз и делает паузу. — Тут я значит рукой все эти фасоли и перемешал. — А ну-ка покажи, где царь? где министры? — Да кто-ж его, говорит, теперь узнает? Теперь его не найдешь... Вот то-то, говорю, и есть, что не найдешь, вот так, говорю, и надо все фасоли перемешать.

Я даже вспотел от восторга, слушая Ивана Андреевича. Вот это настоящее, а мы мудрили, да гадали, да дожидались. Машина играет — конспирация, Иван Андреевич на фасолях классовую механику ниспровергает — революционная пропаганда.

— Только как их перемешать, едят их мухи, вот в чем дело? говорит Мухин уже другим тоном, и глядит на меня строго, в оба глаза. — Это ведь не фасоли, а? — И теперь уже он ждет ответа с моей стороны.

С этого дня мы окунулись с головой в работу. У нас не было старших руководителей, не хватало собственного опыта, но ни трудностей, ни замешательства мы не испытывали, пожалуй, ни разу. Одно вытекало из другого так же неотразимо, как в трактирной беседе с Мухиным.

Экономическая жизнь России в конце прошлого столетия резко передвигалась на юго-восток. На юге воздвигались один за другим крупные заводы, два из них в Николаеве. В 1897 г. считалось в Николаеве около 8000 заводских рабочих, да около 2000 ремесленных. Культурный уровень рабочих, как и заработок, были сравнительно высоки. Безграмотные составляли ничтожный процент. Место революционных организаций занимало до некоторой степени сектанство, успешно ведшее борьбу с казенным православием. За отсутствием больших тревог жандармерия в Николаеве мирно дремала. Это оказалось нам как нельзя более на руку. При серьезной постановке сыска мы были бы арестованы в первые же недели. Но мы являлись пионерами и имели все

выгоды этого. Жандармов мы раскачали лишь после того, как раскачали николаевских рабочих.

Знакомясь с Мухиным и его друзьями, я назвал себя Львовым. Эта первая конспиративная ложь далась мне не легко: было прямо таки мучительным «обманывать» людей, с которыми сходишься для такого большого и хорошего дела. Но кличка Львова очень скоро за мной закрепилась, и я сам привык к ней.

Рабочие шли к нам самотеком, точно на заводах нас давно ждали. Каждый приводил приятеля, некоторые приходили с женами, несколько пожилых рабочих вошли в кружки с сыновьями. Не мы искали рабочих, а они нас. Молодые и неопытные руководители, мы скоро стали захлебываться в вызванном нами движении. Каждое слово встречало отклик. На подпольные чтения и беседы, по квартирам, в лесу, на реке собиралось 20—25 человек и более. Преобладали рабочие высокой квалификации, недурно зарабатывавшие. На николаевском судостроительном заводе уже тогда существовал восьмичасовый рабочий день. Стачками эти рабочие не интересовались, они искали правды социальных отношений. Некоторые из них называли себя баптистами, штундистами, евангельскими христианами. Но это не было догматическое сектанство. Рабочие просто отходили от православия, баптизм становился для них коротким этапом на революционном пути. В первые недели наших бесед некоторые из них еще употребляли сектантские обороты, и прибегали к сравнениям с эпохой первых христиан. Но почти все скоро освободились от этой фразеологии, над которой бесцеремонно потешались более молодые рабочие.

Наиболее яркие фигуры и сегодня стоят передо мной, как живые. Столяр Коротков, в котелке, давно разделавшийся со всякой мистикой, балагур и стихотворец. — «Я — рацуалист» (рационалист), говорил он торжественно. А когда Тарас Савельевич, старый евангелист, у которого уже были внучата, в сотый раз начинал говорить о первых христианах,

которые так же, как и мы, собирались втайне, Коротков обрывал его: мне твоя богословия — вот! И он снимал с головы свой котелок и швырял его с негодованием куда-то вверх промеж деревьев. Потом, постояв, отправлялся разыскивать свой головной убор. Дело происходило в лесу на песках.

Многие рабочие, захваченные новыми чувствами, стали сочинять стихи. Коротков написал «пролетарский марш», который начинался так: «Мы альфы и омеги, начала и концы». Нестеренко, тоже плотник, участвовавший в кружке Александры Львовны Соколовской вместе со своим сыном, сочинил украинскую думку про Карла Маркса. Ее распевали хором. Но сам Нестеренко кончил плохо: связался с полицией и выдал ей всю организацию.

Молодой чернорабочий Ефимов, русый гигант с голубыми глазами, из офицерской семьи, хорошо грамотный, даже начитанный, жил на самом дне города. Я разыскал его в обжорке босяков. Ефимов работал в порту грузчиком, не пил и не курил, был сдержан и вежлив, но в нем жила какая-то тайна, делавшая его мрачным, несмотря на его 21 год. Ефимов вскоре поведал мне, будто познакомился с таинственной организацией народовольцев и предложил свести нас с ними. Втроем — я, Мухин и Ефимов — пили чай в шумном трактире «Россия», слушали оглушительную музыку машины и ждали. Наконец, Ефимов показал нам глазами большого плотного человека с купеческой бородкой. «Он». Человек этот долго пил за отдельным столиком чай, потом встал одеваться и автоматическим жестом перекрестился на иконы. «Вот так народоволец!» ахнул потихоньку Мухин. «Народоволец» уклонился от знакомства, передав через Ефимова какое-то туманное объяснение. История осталась таинственной навсегда. Сам Ефимов вскоре подвел свои счеты с жизнью, удушив себя угольным газом. Возможно, что гигант с голубыми глазами был просто игрушкой в руках сыщика, но возможно и худшее...

Мухин, электротехник по профессии, устроил у себя в квартире сложную систему сигнализации на случай полицейского налета. Мухину было 27 лет, он понемножку кашлял кровью, был богат житейским опытом, полон практической мудрости и казался мне чуть не стариком. Мухин остался революционером на всю жизнь. После первой его ссылки, последовала новая тюрьма, затем новая ссылка. Я встретился с ним после перерыва в 23 года на конференции украинской коммунистической партии в Харькове. Мы долго сидели в углу, перетряхивая старину, вспоминая отдельные эпизоды и рассказывая друг другу о дальнейшей судьбе тех лиц, с которыми были связаны на заре революции. На этой конференции Мухин был выбран в центральную контрольную комиссию украинской партии. Он вполне заслужил такого избрания всей своей жизнью. Но уже вскоре после конференции Мухин слег и больше не поднимался.

Сейчас же после нашего знакомства Мухин свел меня со своим приятелем, тоже из сектантов, Бабенкой, у которого был свой небольшой домик и свои яблони во дворе. Бабенко был хром, медлителен, всегда трезв и научил меня чай пить с яблоками, вместо лимона. Вместе с другими Бабенко был арестован, изрядно посидел, потом опять вернулся в Николаев. Судьба нас развела совсем. Случайно прочитал я в какой-то газете в 1925 году, что на Кубани проживает бывший член Южно-русского рабочего союза Бабенко. К этому времени у него отнялись ноги. Мне удалось добиться — в 1925 году это было для меня уже не легко — перевода старика в Ессентуки для лечения. Ноги опять стали ходить. Я посетил Бабенко в его санатории. Он и не знал, что Троцкий и Львов — одно и тоже лицо. Мы опять с ним пили чай с яблоками и вспоминали прошлое. То-то должно быть он удивился, услышав вскоре, что Троцкий — контр-революционер!

Много было интересных фигур, всех не перечис-

лить. Была прекрасная молодежь, очень культурная, прошедшая техническую школу при судостроительном заводе. Она понимала руководителя с полуслова. Революционная пропаганда оказалась, таким образом, несравненно доступнее, чем рисовалась в мечтах. Нас поражала и опьяняла высокая продуктивность работы. Из рассказов о революционной деятельности мы знали, что число распропагандированных рабочих выражалось обычно немногими единицами. Революционер, который привлек двух-трех рабочих, считал это не плохим успехом. У нас же число рабочих, входивших и желавших входить в кружки, казалось практически неограниченным. Недостаток был только за руководителями. Не хватало литературы. Руководители рвали друг у друга из рук один единственный заношенный рукописный экземпляр Коммунистического Манифеста Маркса-Энгельса, списанный разными почерками в Одессе, с многочисленными пропусками и искажениями.

Вскоре мы сами начали создавать литературу. Это и было собственно началом моей литературной работы. Оно почти совпало с началом революционной работы. Я писал прокламации или статьи, затем переписывал их печатными буквами для гектографа. О пишущих машинках тогда еще не подозревали. Я выводил печатные буквы с величайшей тщательностью, считая делом чести добиться того, чтобы даже плохо грамотному рабочему можно было без труда разобрать прокламацию, сошедшую с нашего гектографа. Каждая страница требовала не менее двух часов. Иногда я в течение недели не разгибал спины, отрываясь только для собраний и занятий в кружках. Зато какое чувство удовлетворения доставляли сведения с заводов и с цехов о том, как рабочие жадно читали, передавали друг другу и горячо обсуждали таинственные листки с лиловыми буквами. Они воображали себе автора листков могущественной и таинственной фигурой, которая проникает во все заводы, знает, что происходит в цехах,

и через 24 часа уже отвечает на события свежими листками.

Первоначально мы варили гектограф и печатали прокламации у себя в комнате по ночам. Кто-нибудь стоял во дворе на страже. В открытой печке заготовлены были спички и керосин, чтоб в случае опасности сжечь улики. Все было крайне наивно. Но николаевские жандармы были тогда немногим опытнее нас. Позже мы перенесли свою печатню на квартиру пожилого рабочего, который потерял зрение при несчастном случае в цеху. Квартиру он предоставил нам без колебаний. «Для слепого везде тюрьма», говорил он со спокойной усмешкой. Постепенно мы сосредоточивали у него большой запас глицерина, желатина и бумаги. Работали ночью. Запущенная комната с потолком над самой головой имела жалкий, поистине нищенский вид. На железной печке мы готовили революционное варево, выливая его затем на жестянный лист. Слепой уверенней всех двигался в полутемной комнате, помогая нам. Молодой рабочий и работница с благоговением взглядывали друг на друга, когда я снимал с гектографа свеже-отпечатанный лист. Еслиб сверху «трезвым» взглядом поглядеть на эту группку молодежи, копошащейся в полутьме вокруг жалкого гектографа, — какой убогой фантазией представился бы ее замысел повалить могущественное вековое государство? И однако же замысел удался на протяжении одного человеческого поколения: до 1905 г. прошло с тех ночей всего восемь лет, до 1917 — неполных двадцать лет.

Устная пропаганда не давала мне, пожалуй, такого удовлетворения, как печатная. Знания были недостаточны, и не хватало уменья надлежащим образом предподнести их. Речей в подлинном смысле у нас почти еще не было. Один только раз в лесу, в день первого мая, мне пришлось сказать нечто вроде речи. Это повергло меня в величайшее смущение. Каждое собственное слово, прежде, чем оно выходило из горла, казалось мне невыносимо фаль-

шивым. Но беседы в кружках удавались иногда не плохо. В общем же революционная работа шла полным ходом. Связи с Одессой я поддерживал и развивал. Вечером я шел на николаевскую пристань, брал за рубль билет третьего класса, укладывался на палубе парохода, поближе к трубе, клал под голову пиджак и укрывался пальто. Утром я просыпался в Одессе и отправлялся по знакомым адресам. Следующую ночь опять проводил на пароходе. Таким образом, я не тратил лишнего времени на езду. Связи мои в Одессе неожиданно обогатились.У входа в Публичную библиотеку я познакомился с рабочим в очках: мы поглядели друг на друга пристально и догадались друг о друге. Это был Альберт Поляк, наборщик, организатор знаменитой впоследствии центральной типографии партии. Знакомство с ним составило эпоху в жизни нашей организации. Уже через несколько дней я доставил в Николаев чемодан, наполненный нелегальной литературой заграничного издания. Это были сплошь новенькие агитационные брошюрки в веселых цветных обложках. Мы по многу раз открывали чемодан, чтоб полюбоваться своим сокровищем. Брошюрки быстро разошлись по рукам и сильно подняли наш авторитет в рабочих кругах.

От Поляка я случайно узнал в беседе, что техник Шренцель, выдававший себя за инженера и давно терщийся вокруг нас — старый провокатор. Это был глупый и назойливый человечек в форменной фуражке со значком. Мы инстинктивно не доверяли ему, но кое кого и кое что он знал. Я пригласил Шренцеля на квартиру к Мухину. Здесь я подробно изложил биографию Шренцеля, не называя его, и довел его этим до полной невменяемости. Мы пригрозили ему, в случае выдачи, короткой расправой. Повидимому, это подействовало, так как месяца три после того нас не тревожили. Зато после нашего ареста Шренцель громоздил в своих показаниях ужасы на ужасы.

Организацию мы назвали «Южно-русским рабочим союзом», имея в виду втянуть и другие города. Я составил устав Союза в социалдемократическом духе. Администрация пыталась выступать против нас с речами на заводах. Мы на другой день отвечали прокламациями. Эта дуэль взволновала не только рабочих, но и широкие круги городского населения. Весь город говорил под конец о революционерах, которые наводняют заводы своими листками. Наши имена называли со всех сторон. Но полиция медлила, не веря, что «мальчишки из сада» способны вести такую кампанию и предполагая, что за нашей спиною стоят более опытные руководители. Они подозревали, повидимому, старых ссыльных. Это дало нам два-три лишних месяца. Но в конце концов слежка за нами приняла слишком явный характер, и жандармы узнавали неизбежно один кружок за другим. Мы решили на несколько недель разъехаться из Николаева в разные стороны, чтоб оборвать полицейскую нить. Я должен был поехать в деревню к родителям, Соколовская с братом в Екатеринослав и т. д. В то же время мы твердо решили в случае повальных арестов не скрываться, а дать арестовать себя, чтоб жандармы не могли говорить рабочим: «руководители вас покинули».

Перед моим отъездом Нестеренко потребовал, чтоб я непосредственно ему передал пачку прокламаций. Он назначил встречу за кладбищем поздно вечером. Лежал глубокий снег. Ночь была лунная. За кладбищем открывалось совершенно пустынное пространство. Нестеренко я нашел на условленном месте. Но в тот момент, когда я передавал ему вынутый из под полы пакет, от кладбищенской стены отделилась фигура и прошла близко возле нас, задев Нестеренко локтем. — Кто это? спросил я с удивлением. — Не знаю, ответил Нестеренко, глядя уходящему вслед. Он уже был тогда в связи с полицией. Но мне и в голову не пришло заподозрить его.

28 января 1898 г. произведены были массовые

аресты. Всего выхвачено было свыше 200 человек. Пошла расправа. Один из арестованных, солдат Соколов, был доведен запугиваниями до того, что бросился из тюремного коридора второго этажа вниз, но отделался тяжелыми ушибами. Другого из заключенных, Левандовского, жандармы довели до психического расстройства. Были и еще жертвы.

Среди арестованных было много случайного народу. Некоторые из тех, на кого мы надеялись, отходили, даже выдавали. Наоборот, кое-кто из тех, которые стояли в тени, показали силу характера. Арестованным, и надолго, оказался почему то токарь — немец Август Дорн, лет пятидесяти, всего раз или два заглянувший в кружок. Он держал себя великолепно, пел на всю тюрьму веселые, не всегда, правда, добродетельные немецкие песенки, шутил на ломаном русском языке, поддерживая дух молодых. В московской пересыльной тюрьме, где мы сидели в общей камере, Дорн убеждал самовар приблизиться к нему и заканчивал диалог так: «не хочешь, тогда Дорн пойдет к тебе!» И хотя сцена повторялась изо дня в день, все добродушно смеялись.

Николаевская организация получила жестокий удар, но не исчезла. Нас скоро заменили другие. И революционеры и жандармы становились опытнее.

ГЛАВА VIII

Мои первые тюрьмы

При общей облаве в январе 1898 г. я был арестован не в Николаеве, а в имении крупного помещика Соковника, куда Швиговский перешел на службу садовником. Я заехал к нему по пути из Яновки в Николаев, с большим портфелем рукописей, рисунков, писем и всякого вообще нелегального материала. На ночь Швиговский спрятал опасный пакет в яму

с капустой, а на рассвете, отправляясь сажать лес, вынул папку из ямы, чтоб передать мне для работы. В это время как раз и нагрянули жандармы. Швиговский успел в передней бросить пакет за кадку с водой. Экономке, которая под надзором жандармов кормила нас обедом, Швиговский успел шепнуть, чтоб она унесла папку и спрятала получше. Старуха не нашла ничего другого, как зарыть папку в саду в снег. Мы твердо считали, что документы не попадут в руки врага. Наступила весна, снег стаял, выросла трава и снова скрыла папку, разбухшую от весенней воды. Мы сидели в тюрьме. Наступило лето. Рабочий косил в помещичьем саду траву, два его мальчика, игравшие тут же, наткнулись на пакет и передали отцу, тот снес его в барский дом, а перепуганный на смерть либеральный помещик немедленно свез бумаги в Николаев и сдал их жандармскому полковнику. Почерки рукописей послужили уликой против нескольких лиц.

Старая николаевская тюрьма совсем не была приспособлена для политических, да еще в таком числе. Я попал в одну камеру с молодым переплетчиком Явичем. Камера была очень велика, человек на тридцать, без всякой мебели и еле отапливалась. В двери был большой квадратный вырез в коридор, открытый прямо на двор. Стояли январские морозы. На ночь нам клали на пол соломенник, а в шесть часов утра выносили его. Подниматься и одеваться было мукой. В пальто, в шапках и калошах мы садились с Явичем плечо к плечу на пол и, упершись спинами в чуть теплую печь, грезили и дремала часа два. Это было, пожалуй, самое счастливое время дня. На допрос нас не звали. Мы бегали из угла в угол, чтоб согреться, предавались воспоминаниям, догадкам и надеждам. Я стал заниматься с Явичем науками. Так прошло недели три. Потом наступила перемена. Меня вызвали в тюремную контору с вещами и передали двум рослым жандармам, которые перевезли меня на лошадях в херсонскую тюрьму.

Это было еще более старое здание. Камера была просторная, но с узким наглухо заделанным окном в тяжелом железном переплете, едва пропускавшем свет. Одиночество было полное, абсолютное, беспросветное. Ни прогулок, ни соседей. Из заделанного по-зимнему окна ничего не было видно. Передач с воли я не получал. У меня не было ни чаю, ни сахару. Арестантскую похлебку давали раз в день, в обед. Паек ржанного хлеба с солью служил мне завтраком и ужином. Я вел с собой длинные диалоги о том, имею ли я право увеличить утреннюю порцию за счет вечерней. Утренние доводы казались вечером бессмысленными и преступными. За ужином я ненавидел того, который завтракал. У меня не было смены белья. Три месяца я носил одну и ту же пару. У меня не было мыла. Тюремные паразиты ели меня заживо. Я давал себе урок: пройти по диагонали тысячу сто одиннадцать шагов. Мне шел девятнадцатый год. Изоляция была абсолютная, какой я позже не знал нигде и никогда, хотя побывал в двух десятках тюрем. У меня не было ни одной книги, ни карандаша, ни бумаги. Камера не проветривалась. О том, какой в ней воздух, я судил по гримасе помощника начальника, когда он входил ко мне. Я откусывал кусочек тюремного хлеба, ходил по диагонали и сочинял стихи. Народническую «дубинушку» я переделал на пролетарскую «машинушку». Я сочинил революционную камаринскую. Весьма посредственного качества, стихи эти позже приобрели большую популярность. Они перепечатываются в песенниках и сейчас. Но иногда меня грызла жестокая тоска одиночества. Тогда я преувеличенно твердо отсчитывал стоптанными подметками тысячу сто одиннадцать шагов. К концу третьего месяца, когда тюремный хлеб, мешок набитый соломой и вши стали для меня незыблемыми элементами жизни, как день и ночь, надзиратели вечером внесли ко мне гору предметов из другого фантастического мира: свежее белье, одеяло, подушку, белый

хлеб, чай, сахар, ветчину, консервы, апельсины, яблоки, да, большие ярко окрашенные апельсины... И сейчас, через 31 год, я не без волнения перечисляю эти замечательные предметы и уличаю себя в том, что упустил баночку варенья, мыло и гребешок. «Это вам мать доставила», сказал мне помощник. И как ни плохо я тогда читал в человеческих душах, но по тону его понял сразу, что он получил взятку.

Скоро меня перевезли на пароходе в Одессу и там поместили в одиночную тюрьму, построенную за несколько лет перед тем, по последнему слову техники. После Николаева и Херсона одесская одиночка показалась мне идеальным учреждением. Перестукиванья, записочки, «телефон», прямой крик через окна — словом служба связи действовала почти непрерывно. Я выстукивал соседям свои херсонские стихи, они снабжали меня в ответ новостями. От Швиговского я успел через окно узнать о полученном жандармами пакете с моими бумагами и потому без труда расстроил план подполковника Дремлюги, пытавшегося устроить мне ловушку. Нужно сказать, что в тот период мы еще не начали отказываться от дачи показаний, как несколько лет спустя.

Тюрьма была переполнена после всероссийского весеннего провала. 1-го марта 1898 г., во время моего сиденья в херсонской тюрьме, собрался в Минске учредительный съезд социалдемократической партии. Он состоял всего из девяти человек и сейчас же потонул в волне арестов. Через несколько месяцев о нем уже не говорили. Но позднейшие последствия его сказались на истории всего человечества... Принятый манифест рисовал такую перспективу политической борьбы: «...чем дальше на восток Европы, тем, в политическом отношении, трусливее и подлее становится буржуазия, и тем большие культурные и политические задачи выпадают на долю пролетариата». Не лишен исторической пикантности тот факт, что автором манифеста был небезызвестный Петр Струве, ставший позже лидером либера-

лизма, а еще позже публицистом церковной и монархической реакции.

Первые месяцы пребывания в одесской тюрьме я не получал книг извне и вынужден был довольствоваться тюремной библиотекой. Она состояла, главным образом, из консервативно-исторических и религиозных журналов за долгий ряд лет. Я штудировал их с неутомимой жадностью. Я знал все секты и все ереси старого и нового времени, все преимущества православного богослужения, самые лучшие доводы против католицизма, протестанства, толстовства, дарвинизма. Христианское сознание — читал я в «Православном Обозрении», любит истинные науки, и в том числе естествознание, как умственную родственницу веры. Чудо с ослицей Валаама, вступившей в дискуссию с пророком, не может быть опровергнуто и с естественно-научной точки зрения: «ведь существуют же говорящие попугаи и даже канарейки». Этот довод архиепископа Никанора занимал меня целыми днями и иногда снился даже по ночам. Исследования о бесах или демонах, об их князьях, дьяволе, и об их темном бесовском царстве каждый раз заново поражали и в своем роде восхищали молодую рационалистическую мысль кодифицированной глупостью тысячелетий. Пространное изыскание о рае, об его внутреннем устройстве и о месте нахождения заканчивалось меланхолической нотой: «точных указаний о месте нахождения рая нет». Я повторял эту фразу за обедом, за чаем и на прогулке. Насчет географической долготы райских блаженств указаний нет. С жандармским унтером Миклиным я затевал при каждом подходящем случае богословские препирательства. Миклин был жаден, лжив, злобен, начитан в священных книгах и благочестив до крайности. Перебегая с ключами по звонким железным лестницам, он мурлыкал церковные напевы. «За одно, за одно единственное слово христородица, вместо богородица — внушал мне Миклин, — у еретика Ария живот лопнул». — А почему теперь у еретиков жи-

воты в сохранности? — «Теперь, теперь... — отвечал обиженно Миклин, — теперь другие времена».

Прибывшая из деревни сестра доставила мне, по моей просьбе, четыре евангелия на иностранных языках. Опираясь на школьное знакомство с немецким и французским языком, я, стих за стихом, читал евангелие так же и по английски и по итальянски. За несколько месяцев я значительно продвинулся, таким образом, вперед. Нужно, однако, сказать, что мои лингвистические способности весьма посредственны. В совершенстве я и сейчас не знаю ни одного иностранного языка, хотя долго жил в разных странах Европы.

Во время свиданий с родными, заключенных помещали в узенькие деревянные клетки, отделенные от посетителей двумя решетками. При првой встрече со мной отец вообразил, что я все время заключения вынужден стоять в этом тесном ящике. Внутреннее содрогание лишило его речи. В ответ на мои вопросы он беззвучно шевелил побелевшими губами. Никогда не забуду его лица. Мать явилась уже предупрежденной и была спокойнее.

Отголоски мировых событий доходили до нас в виде осколков. Южно-африканская война еле затронула нас. Мы были еще в полном смысле слова провинциалами. Борьбу англичан с бурами мы склонны были истолковывать, главным образом, с точки зрения неизбежности победы крупного капитала над мелким. Дело Дрейфуса, достигшее в тот момент своей кульминации, время от времени захватывало нас своим драматизмом. К нам однажды проник слух, что во Франции произошел переворот и восстановлена королевская власть. Мы были охвачены чувством несмываемого позора. Жандармы бегали в беспокойстве по железным корридорам и лестницам, чтоб унять стук и крики. Они думали, что нам снова дали несвежий обед. Нет, политический флигель тюрьмы бурно протестовал против реставрации монархии во Франции.

Статьи о франкмасонстве в богословских журналах заинтересовали меня. Откуда взялось это странное течение? спрашивал я себя. Как объяснил бы его марксизм? Я сравнительно долго сопротивлялся историческому материализму, держась за теорию множественности исторических факторов, которая и сейчас остается, как известно, наиболее широко распространенной теорией социальной науки. Разные стороны своей общественной деятельности люди называют факторами, придают этому понятию сверхобщественный характер и свою собственную общественную деятельность суеверно объясняют затем, как продукт взаимодействия этих самостоятельных сил. Откуда взялись факторы, т. е. под действием каких условий они развились из первобытного человеческого общества, на этом официальная эклектика едва останавливается. Я с восторгом читал в своей камере два известных очерка старого итальянского гегелианца-марксиста Антонио Лабриола, проникшие в тюрьму на французском языке. Как немногие из латинских писателей, Лабриола овладел материалистической диалектикой, если не в политике, где он был беспомощен, то в области философии истории. Под блестящим диллетантизмом его изложения скрывалась на самом деле настоящая глубина. С теорией многочисленных факторов, населяющих Олимп истории и оттуда управляющих нашими судьбами, Лабриола расправлялся великолепно. Хотя с того времени, как я читал его опыты, прошло тридцать лет, но общий ход его мыслей крепко врезался в мою память, как и постоянный припев: «идеи не падают с неба». Бессильными показались мне после этого русские теоретики многообразия факторов: Лавров, Михайловский, Кареев и другие. Много позже, я никак не мог понять тех марксистов, на которых оказала влияние бесплодная книга немецкого профессора Штаммлера «Хозяйство и право», представляющая одну из бесчисленных попыток пропустить великий естественно-исторический и исторический поток, иду-

щий от амебы к нам и от нас дальше, через замкнутые кольца вечных категорий, представляющие на деле лишь отпечатки живого процесса в мозгу педанта.

В этот именно период меня заинтересовал вопрос о франк-масонстве. Я в течение нескольких месяцев усердно читал книги по истории массонства, которые мне доставлялись родными и друзьями из города. Почему, для чего торговцы, художники, банкиры, чиновники и адвокаты стали называть себя с первой четверти XVII века каменьщиками, воссоздавая ритуал средневекового цеха? Откуда этот странный маскарад? Постепенно картина становилась мне яснее. Старый цех был не только производственной, но и морально-бытовой организацией. Он охватывал жизнь городского населения со всех сторон, особенно цех полуремесленников, полуартистов строительного дела. Распад цехового хозяйства означал моральный кризис общества, едва оставившего позади средневековье. Новая мораль складывалась гораздо медленнее, чем разрушалась старая. Отсюда столь нередкая в человеческой истории попытка сохранить те формы нравственной дисциплины, под которыми исторической процесс давно уже подкопал социальные, в данном случае производственно-цеховые основы. Оперативное масонство превратилось в спекулятивное масонство. Но как всегда в таких случаях, пережившие себя морально-бытовые формы, за которые люди пытались держаться ради них самих, получали под напором жизни совершенно новое содержание. В отдельных ветвях франк-масонства были сильны элементы прямой феодальной реакции, как в шотландской системе. В XVIII веке формы франк-масонства заполняются в ряде стран содержанием воинственного просветительства, иллюминатства, выполняющего пред-революционную роль, а на левом своем фланге переходящего в карбонарство. К франкмасонам принадлежал Людовик XVI, но также и доктор Гильотен, изобревший гильотину. В южной Германии франкмасонство принимало явно революционный характер,

а при дворе Екатерины стал маскарадным отражением дворянско-чиновничьей иерархии. Франкмасона Новикова франкмасонская императрица сослала в Сибирь.

Если сейчас, в эпоху готового и дешевого платья, уже никто почти не донашивает редингот своего дедушки, то в области идейной рединготы и кринолины занимают еще очень большое место. Идейный инвентарь переходит от поколения к поколению, несмотря на то, что от бабушкиных подушек и одеял отдает кислым запахом. Даже вынужденные менять существо своих взглядов люди втискивают его чаще всего в старые формы. В технике нашего производства произошел переворот гораздо более могущественный, чем в технике нашего мышления, которое предпочитает штопать и перелицевывать, вместо того, чтобы строить заново. Вот почему французские мелкобуржуазные парламентарии, стремясь противопоставить распыляющей силе современных отношений некоторое подобие нравственной связи людей между собою, не находят ничего лучшего, как надеть белый фартук и вооружиться циркулем или отвесом. Сами они при этом собственно имеют в виду не строить новое здание, а лишь проникнуть в давно построенное здание парламента или министерства.

Так как в тюрьме, при выдаче новой тетради, отбирали исписанную, то я завел себе для франк-масонства тетрадь в тысячу нумерованных страниц, и мелким бисером записывал в нее выдержки из многочисленных книг, чередуя их со своими собственными соображениями о франкмасонстве и о материалистическом понимании истории. Работа эта заняла в общем около года. Я обрабатывал отдельные главы, переписывал их в контрабандные тетради и посылал на просмотр друзьям в других камерах. Для этого у нас была очень сложная система, называвшаяся телефоном. Адресат, если его камера была недалеко от моей, навызывал на веревочку тяжелый предмет и приводил этот снаряд во вращательное движение, вы-

сунув руку как можно дальше за решетку окна. Условившись заранее по стуку, я как можно дальше высовывал половую щетку за окно и, когда грузило обматывалось вокруг нее, втягивал щетку к себе и привязывал к концу веревки свою рукопись. Если адресат находился далеко, то передача производилась через ряд посредствующих этапов, что, конечно, очень усложняло дело.

К концу моего пребывания в одесской тюрьме, толстая тетрадь, заверенная и скрепленная подписью старшего жандармского унтер-офицера Усова, стала настоящим кладезем исторической эрудиции и философской глубины. Не знаю, можно ли было бы ее напечатать сегодня в таком виде, в каком она была написана. Я слишком многое узнавал одновременно из разных областей, эпох и стран и, боюсь, слишком многое хотел сразу сказать в своей первой работе. Но, думаю, что основные мысли и выводы были верны. Я уже чувствовал себя тогда достаточно устойчиво на ногах и это чувство росло по мере работы. Я многое сейчас дал бы, чтобы разыскать эту толстую тетрадь. Она сопровождала меня и в ссылку, где я, правда, прекратил работу над масонством, перейдя к изучению экономической системы Маркса. После побега заграницу Александра Львова доставила мне эту тетрадь из ссылки через родителей, когда они посетили меня в Париже в 1903 году. Тетрадь осталась вместе со всем моим скромным эмигрантским архивом в Женеве, когда я нелегально уехал в Россию, и вошла в состав архив «Искры», который стал для нее преждевременной могилой. После вторичного побега из Сибири заграницу я тщетно пытался разыскать свою работу. Повидимому, ее израсходовала на ростопку печей или на другие надобности та швейцарская хозяйка, которой архив был сдан на хранение. Я не могу не послать упрека этой почтенной женщине.

То обстоятельство, что работу над франкмасонством я производил в тюремных условиях, располагая

очень ограниченным количеством книг, пошло мне на пользу. С основной марксистской литературой я не был до этого времени знаком вовсе. Очерки Антонио Лабриола имели характер философских памфлетов. Они предполагали знания, которых у меня не было, и которые мне приходилось заменять догадками. От опытов Лабриола я отошел с целым ворохом гипотез в голове. Работа над франкмасонством явилась для меня проверкой собственных гипотез. Я не открыл ничего нового. Все те методологические выводы, к которым я приходил, давно уже были сделаны и применялись на деле. Но я приходил к ним ощупью и, до некоторой степени, самостоятельно. Думаю, что это имело значение для всего моего дальнейшего идейного развития. Я находил затем в работах Маркса, Энгельса, Плеханова, Меринга подтверждение того, что в тюрьме мне казалось моей собственной догадкой, еще только подлежащей проверке и обоснованию. Исторический материализм не был мною воспринят сразу в догматической форме. Диалектика предстала предо мною впервые не в абстрактных своих определениях, а в виде живой пружины, которую я находил в самом историческом процессе, поскольку старался понять его.

В стране тем временем начинался прибой. Тут историческая диалектика тоже работала на славу, но практически и в очень широком масштабе. Студенческое движение вылилось в демонстрации. Казаки стегали студентов. Либералы возмущались, ибо обижали их сыновей. Социалдемократия крепла, все больше сливаясь с рабочими движением. Революция переставала быть привиллигированным занятием интеллигентских кружков. Число арестованных рабочих росло. В тюрьме становилось, несмотря на тесноту, легче дышать. К концу второго года мы получили приговор по делу Южно-русского союза: четыре главных обвиняемых ссылались на 4 года в восточную Сибирь. Нам пришлось еще провести свыше полугода в московской пересыльной тюрьме. Это

было время усиленной теоретической работы. Здесь я впервые услышал о Ленине и проштудировал его незадолго перед тем вышедшую книгу о развитии русского капитализма. Здесь я написал и передал на волю брошюру о рабочем движении в Николаеве, напечатанную вскоре в Женеве. Из московской пересыльной нас увезли летом. Далее следовали еще остановки в ряде тюрем. На место ссылки мы попали только осенью 1900 года.

ГЛАВА IX

Первая ссылка

Мы спускались вниз по Лене. Течение медленно сносило несколько барж с арестантами и конвоем. По ночам было холодно, и шубы, которыми мы укрывались, обростали под утро инеем. По пути, в заранее назначенных деревнях, отсаживали одного-двух. До села Усть-Кут плыли, помнится, около трех недель. Здесь ссадили меня вместе с близкой мне ссыльной по николаевскому делу. Александра Львова занимала одно из первых мест в южно-русском рабочем союзе. Глубокая преданность социализму и полное отсутствие всего личного создали ей непререкаемый нравственный авторитет. Совместная работа тесно связала нас. Чтоб не быть поселенными врозь, мы обвенчались в московской пересыльной тюрьме.

В селе было около сотни изб. Мы поселились в крайней. Кругом лес, внизу река. Дальше к северу по Лене лежат золотые прииски. Отблеск золота играл на всей Лене. Усть-Кут знал раньше лучшие времена — с неистовым разгулом, грабежом и разбоем. Но в наше время село затихло. Пьянство, впрочем, осталось. Хозяин и хозяйка нашей избы пили непробудно. Жизнь темная, глухая, в далекой дали от мира. Тараканы наполняли ночью тревожным шорохом избу, ползали по столу, по кровати, по лицу.

Приходилось время от времени выселяться на день-два и открывать настежь двери на 30 градусный мороз. Летом мучила мошкара. Она заедала на-смерть корову, заблудившуюся в лесу. Крестьяне носили на лицах сетки из конского волоса, смазанного дегтем. Весною и осенью село утопало в грязи. Зато природа была прекрасна. Но в те годы я был холоден к ней. Мне как бы жалко было тратить внимание и время на природу. Я жил меж лесом и рекой, почти не замечая их. Книги и личные отношения поглощали меня. Я изучал Маркса, сгоняя тараканов с его страниц.

Лена была великим водным путем ссылки. Окончившие срок возвращались по реке на юг. Связь отдельных ссыльных гнезд, которые росли вместе с революционным прибоем, почти не прерывалась. Ссыльные обменивались письмами, выроставшими в теоретические трактаты. Переводы с места на место давались иркутским губернатором сравнительно легко. Мы переехали с Александрой Львовной за 250 верст восточнее на реку Илим, где были друзья. Там я служил короткое время конторщиком у купца-миллионера. Его склады пушнины, лавки и кабаки раскиданы были на пространстве, равном Бельгии и Голландии вместе. Это был могущественный торговый феодал. Многие тысячи подвластных ему тунгусов он называл «мои тунгусишки». Подписать фамилию он не умел и ставил крест. Жил скупо и скудно целый год и прокучивал десятки тысяч на нижегородской ярмарке. Я прослужил у него полтора месяца. Однажды я записал фунт краски-медянки, как пуд, и послал в отдаленную лавку чудовищный счет. Моя репутация была подорвана, и я взял расчет. Мы снова вернулись в Усть-Кут. Стояла лютая зима, морозы доходили до 44 гр. по Реомюру. Ямщик рукавицей сдирал льдины с лошадиных морд. На коленях у меня была десятимесячная девочка. Она дышала через меховую трубу, сооруженную над ее головой. На каждой остановке мы с тревогой извлекали де-

вочку из ее оболочек. Путешествие прошло, все же, благополучно. Но в Усть-Куте мы пробыли не долго. Через несколько месяцев губернатор разрешил нам переселиться несколько южнее, в Верхоленск, где были друзья.

Аристократию ссылки составляли старики-народники, которые успели за долгие годы так или иначе устроиться. Молодые марксисты составляли особый слой. При мне уже потянулись на север рабочие стачечники, случайно вырванные из массы, часто малограмотные. Для этих рабочих ссылка была незаменимой школой политики и общей культуры. Идейные разногласия, как всегда в местах принудительного скопления людей, осложнялись дрязгами. Личные, особенно романические конфликты принимали нередко характер драмы. На этой почве случались и самоубийства. Одного киевского студента мы сторожили в Верхоленске по очереди. Я заметил блестящие металлические стружки на его столе. Потом уж выяснилось, что он строгал из свинца пули для охотничьего ружья. Мы не уберегли его. Направив ствол на сердце, он спустил курок пальцем ноги. Мы молча хоронили его на возвышенности. Речей мы тогда еще стеснялись, как фальши. Во всех больших колониях ссылки, были могилы самоубийц. Некоторые ссыльные растворялись в окружающей среде, особенно в городах. Другие спивались. Только напряженная работа над собой спасала в ссылке, как в тюрьме. Нужно сказать, что теоретически работали почти только марксисты.

На большой ленской дороге я познакомился в те годы с Дзержинским, Урицкими и другими молодыми революционерами, которым предстояло в будущем играть крупную роль. Каждую новую партию мы ждали с жадностью. Темной весенней ночью, у костра, на берегу широко разлившейся Лены, Дзержинский читал свою поэму на польском языке. Лицо и голос были прекрасны, но поэма была слаба. Сама жизнь этого человека стала суровейшей из поэм.

Вскоре по прибытии в Усть-Кут я стал сотрудничать в иркутской газете «Восточное Обозрение». Это был легальный провинциальный орган, созданный старыми ссыльными-народниками, но захватывавшийся эпизодически марксистами. Я начал с деревенских корреспонденций, ждал в волнении появления первой из них, был поддержан редакцией, перешел к литературной критике и публицистике. Чтоб найти псевдоним, я раскрыл на удачу итальянский словарь — выпало слово antidoto — и втечение долгих лет я подписывал свои статьи Антид Ото, разъясняя в шутку друзьям, что хочу вводить марксистское противоядие в легальную печать. Газета неожиданно для меня повысила мой гонорар с двух до четырех копеек за строку. Это было высшим выражением успеха. Я писал о крестьянстве, о русских классиках, об Ибсене, Гауптмане и Ницше, Мопассане и Эстонье, о Леониде Андрееве и Горьком. Я просиживал ночи, черкая свои рукописи вкривь и вкось, в поисках нужной мысли или недостающего слова. Я становился писателем.

С 1896 года, когда я пытался отбиваться от революционных идей, и с 1897, когда я уже вел революционную работу, но еще отбивался от теории марксизма, я проделал изрядную часть пути. Ко времени ссылки марксизм окончательно стал для меня основой миросозерцания и методом мышления. Теперь, в ссылке, я попытался подойти под усвоенным мною углом зрения к так называемым «вечным» вопросам человеческой жизни: любви, смерти, дружбе, оптимизму, пессимизму и пр. В разные эпохи и в разной социальной среде человек любит, ненавидит, и надеется по разному. Как дерево через корни питает свои цветы и плоды соками почвы, так личность находит питание для своих чувств и мыслей, хотя бы и самых «высоких», в экономическом фундаменте общества. В своих тогдашних статьях о литературе я разрабатывал по существу почти одну только тему: личность и общество. Не так давно эти статьи вышли

отдельным томом. Если-б я их писал сегодня, я написал бы их, разумеется, иначе. Но по существу мне ничего изменить в них не пришлось бы.

Официальный или легальный русский марксизм переживал в это время жестокий кризис. Теперь я увидел уже на живом опыте, как бесцеремонно новые социальные потребности создают для себя идейное обмундирование из теоретического сукна, предназначенного совсем для другой цели. До девяностых годов русская интеллигенция коснела в огромной своей части в народничестве с его отрицанием капитализма и идеализацией крестьянской общины. Между тем капитализм стучался во все двери, обещая интеллигенции в будущем всякие материальные блага и крупную политическую роль. Острый нож марксизма понадобился буржуазией интеллигенции для того, чтобы перерезать народническую пуповину, связывавшую ее с постылым прошлым. Отсюда быстрое и победоносное распространение идей марксизма в последние годы прошлого столетия. Но едва теория Маркса выполнила эту свою задачу, как она уже стала стеснять интеллигенцию. Диалектика была хороша, чтобы доказать прогрессивность капиталистических методов развития. Но там, где начиналось революционное отрицание самого капитализма, диалектика оказывалась стеснительной и объявлялась устарелой. На рубеже двух столетий — это совпало для меня с годами тюрьмы и ссылки — русская интеллигенция прошла через полосу повальной критики марксизма. Она усваивала из него историческое оправдание капитализма, отбрасывая его революционное отрицание. Такими обходными путями анархически-народническая интеллигенция превращалась в либерально-буржуазную.

Европейская критика марксизма находила теперь в России широкий сбыт, совершенно независимо от своих качеств. Достаточно сказать, что Эдуард Бернштейн стал одним из популярных путеводителей от социализма к либерализму. Нормативная философия

все более победоносно вытесняла материалистическую диалектику. Формирующемуся буржуазному общественному мнению нужны были несгибаемые нормы не только против произвола самодержавной бюрократии, но и против необузданности революционных масс. Опрокинув Гегеля, Кант, однако, недолго удержался на ногах. Русский либерализм пришел поздно и жил с самого начала на вулканической почве. Категорический императив оказался для него слишком абстрактной и ненадежной страховкой. Против революционных масс нужны были более сильнодействующие средства. Трансцендентальные идеалисты превращались в православных христиан. Профессор политической экономии Булгаков начал с ревизии марксизма в аграрном вопросе, перешел к идеализму, а закончил тем, что надел рясу священника. Впрочем, до рясы дело дошло лишь несколько лет спустя.

В первые годы столетия Россия представляла собой огромную лабораторию общественной идеологии. Моя работа над историей франкмасонста достаточно вооружила меня для того, чтоб понимать служебную функцию идей в историческом процессе. «Идеи не падают с неба», повторял я вслед за стариком Лабриола. Теперь дело шло уже не о чисто-научном интересе, а о выборе политического пути. Ревизия марксизма, шедшая по всем направлениям, помогла мне, как и многим другим молодым революционерам, собраться с мыслями и острее отточить свое оружие. Нам марксизм нужен был не только для того, чтобы разделаться с народничеством, которое лишь чуть задело нас, но прежде всего для того, чтобы открыть непримиримую борьбу против капитализма на его собственной территории. Борьба против ревизии закаляла нас не только теоретически, но и политически. Мы становились пролетарскими революционерами.

В тот же период мы столкнулись с критикой слева. В одной из более северных колоний, кажется в Вилюйске, проживал ссыльный Махайский, имя ко-

торого вскоре затем приобрело довольно широкую известность. Махайский начал с критики социалдемократического оппортунизма. Первая его гектографированная тетрадь, посвященная разоблачению оппортунизма немецкой социалдемократии, имела в ссыльных колониях большой успех. Вторая тетрадь была посвящена критике экономической системы Маркса, и подводила к тому неожиданному выводу, что социализм есть общественный строй, основанный на эксплоатации рабочих профессиональной интеллигенцией. Третья тетрадь посвящена была отрицанию политической борьбы в духе анархо-синдикализма. В течение нескольких месяцев работа Махайского стояла в центре внимания ленских ссыльных. Она послужила для меня серьезной прививкой против анархизма, очень размашистого в словесном отрицании, но безжизненного и даже трусливого в практических выводах.

С живым анархистом я впервые встретился в московской пересыльной тюрьме. Это был народный учитель Лузин, замкнутый, неразговорчивый, жесткий. В тюрьме он все время тяготел к уголовным и с интересом слушал их рассказы об убийствах и грабежах. В теоретические рассуждения пускался не охотно. Лишь однажды, когда я стал сильно наседать на него с вопросом о том, как при автономных общинах будут управляться железные дороги, Лузин ответил: а какого черта я стану при анархизме разъезжать по железным дорогам? Этого ответа было для меня вполне достаточно. Лузин пробовал перетягивать на свою сторону рабочих и у нас шла глухая борьба, не свободная от враждебности. Мы с ним вместе проделывали путь в Сибирь. Во время половодья Лузин решил переехать через Лену на лодке. Он был не трезв и бросил мне вызов. Я согласился отправиться вместе с ним. По разлившейся реке несло бревна и трупы животных, было не мало водоворотов. Переезд мы совершили не без волнений, но благополучно. Лузин угрюмо выдал мне какое-то

словесное свидетельство: хороший товарищ, или что-то в этом роде. Наши отношения смягчились. Скоро его, впрочем, отправили дальше на север. Там он через несколько месяцев пырнул исправника ножом. Исправник был не плохой, и рана была не опасная. На суде Лузин заявил, что против исправника лично ничего не имел, но хотел в его лице поразить государственный произвол. Он попал на каторжные работы.

В то время, как по далеким занесенным снегом сибирским колониям ссылки страстно обсуждались вопросы о диференциации русского крестьянства, об английских трэд-юнионах, об отношении категорического императива к классовым интересам, о дарвинизме и марксизме, в правительственных сферах шла своя идеологическая борьба. Святейший синод отлучил в феврале 1901 года Льва Толстого от церкви. Послание синода печаталось во всех газетах. Толстому вменялось в вину шесть преступлений: 1) «отвергает личного живого бога, во святой тройце славимого»; 2) «отрицает христа бого-человека, воскресшего из мертвых»; 3) «отрицает бессеменное зачатие и девство до рождества и по рождестве пречистой богородицы»; 4) «не признает загробной жизни и мздовоздания»; 5) «отвергает благодатное действие святого духа»; 6) «подвергает глумлению таинство евхаристии». Бородатые и седовласые митрополиты, Победоносцев, их вдохновляющий, и все другие столпы государства, считавшие нас, революционеров, не только преступниками, но и безумными фанатиками, а себя — представителями трезвой мысли, опирающейся на исторический опыт всего человечества, эти люди требовали от великого художника-реалиста веры в бессеменное зачатие и в святой дух, передающийся через хлебные облатки. Мы читали и перечитывали перечень лжеучений Толстого — каждый раз со свежими изумлением и мысленно говорили себе: нет, на опыт всего человечества опираемся мы; будущее представляем мы, — а там, на верху, сидят не

только преступники, но и маниаки. И мы чувствовали наверняка, что справимся с этим сумасшедшим домом.

Старое государственное здание трещало во всех углах. Роль застрельщиков в борьбе еще играло студенчество. Гонимое нетерпением, оно стало прибегать к террористическим актам. После выстрелов Карповича и Балмашова вся ссылка встрепенулась, как бы заслышав трубный сигнал тревоги. Возникли споры о тактике террора. После единичных колебаний марксистская часть ссылки высказалась против терроризма. Химия взрывчатых веществ не может заменить массы, говорили мы. Одиночки сгорят в героической борьбе, не подняв на ноги рабочий класс. Наше дело — не убийство царских министров, а революционное низвержение царизма. По этой линии пошел водораздел между социалдемократами и социалистами-революционерами. Если тюрьма была для меня времени теоретического формирования, то ссылка стала времени политического самоопределения.

Так прошло два года жизни. За это время много воды утекло под мостами Петербурга, Москвы и Варшавы. Из подполья движение начало выливаться на улицы городов. В кое-каких губерниях зашевелилось крестьянство. Социалдемократические организации возникали и в Сибири, вдоль линии железной дороги. Они вошли со мною в связь. Я писал для них воззвания и листовки. После трехлетнего перерыва я снова примкнул к активной борьбе.

Ссыльные не хотели больше оставаться на своих местах. Началась эпидемия побегов. Приходилось устанавливать очереди. Почти во всяком селе встречались отдельные крестьяне, еще мальчиками подвергшиеся влиянию революционеров старшего поколения. Они тайно увозили политиков в лодке, на телеге, в санях, передавая из рук в руки. Сибирская полиция была в сущности так же беспомощна, как и мы. Огромные пространства были ее союзником, но и ее врагом. Поймать бежавшего ссыльного было трудно.

Больше шансов было на то, что он утонет в реке или замерзнет в тайге.

Раздавшись вширь, революционное движение оставалось, однако, разрозненным. Каждая область, каждый город вели свою особую борьбу. Царизм имел огромный перевес единства действий. Необходимость создания централизованной партии сверлила в то время многие мозги. Я написал на эту тему реферат, который в копиях ходил по колониям и усердно обсуждался. Нам казалось, что наши единомышленники в стране и в эмиграции недостаточно думают об этом вопросе. Но они думали и действовали. Летом 1902 года я получил через Иркутск книги, в переплет которых были заделаны последние заграничные издания на тончайшей бумаге. Мы узнали, что заграницей создана марксистская газета «Искра», поставившая своей задачей создание централизованной организации профессиональных революционеров, связанных железной дисциплиной действия. Пришла изданная в Женеве книжка Ленина: «Что делать?» целиком посвященная тому же вопросу. Мои рукописные рефераты, газетные статьи и прокламации для Сибирского Союза сразу показались мне маленькими и захолустными пред лицом новой грандиозной задачи. Надо было искать другого поприща. Надо было бежать.

У нас были в это время уже две девочки; младшей шел четвертый месяц. Жизнь в сибирских условиях была нелегка. Мой побег должен был возложить на Александру Львовну двойную ношу. Но она отводила этот вопрос одним словом: н а д о. Революционный долг покрывал для нее все другие соображения, и прежде всего личные. Она первая подала мысль о моем побеге, когда мы отдали себе отчет в новых больших задачах. Она устранила все сомнения, возникавшие на этом пути. В течение нескольких дней после побега она успешно маскировала мое отсутствие от полиции. Из-заграницы я едва мог переписываться с ней. Для нее наступила затем вторая

ссылка. В дальнейшем мы встречались только эпизодически. Жизнь развела нас, сохранив ненарушимо идейную связь и дружбу.

ГЛАВА X

Первый побег

Надвигалась осень и угрожала распутица. Чтоб ускорить мой побег, решено было соединить две очереди в одну. Приятель-крестьянин брался вывести из Верхоленска меня вместе с Е. Г., переводчицей Маркса. Ночью, в поле, он укрыл нас на телеге сеном и рогожей, как кладь. В то же время, чтоб выиграть дня два у полиции, на моей квартире укрыли одеялом чучело мнимого больного. Ямщик вез нас по сибирски, т. е. со скоростью до двадцати верст в час. Я считал спиною все ухабы и слышал сдержанные стоны соседки. Лошадей в пути сменяли раза два. Не доезжая до железной дороги, мы с попутчицей разделились, чтоб не помножать взаимно наши промахи и опасности. Я без приключений сел в вагон, куда иркутские друзья доставили мне чемодан с крахмальным бельем, галстухом и прочими атрибутами цивилизации. В руках у меня был Гомер в русских гекзаметрах Гнедича. В кармане — паспорт на имя Троцкого, которое я сам наудачу вписал, не предвидя, что оно станет моим именем на всю жизнь. Я ехал по сибирской линии на запад. Вокзальные жандармы равнодушно пропускали меня мимо себя. Рослые сибирячки выносили на станцию жаренных кур и поросят, молоко в бутылках, горы печенного хлеба. Каждая станция походила на выставку сибирского изобилия. На всем протяжении пути весь вагон пил чай, заедая дешевыми сибирскими пышками. Я читал гекзаметры и мечтал о загранице. В побеге не оказалось ничего романтического: он целиком растворился в потоке чаепития.

Я остановился в Самаре, где был сосредоточен в то время внутренний, т. е. не эмигрантский штаб «Искры». Во главе его, под конспиративной кличкой Клэр, стоял инженер Кржижановский, нынешний председатель Госплана. Он и его жена были друзьями Ленина по социалдемократической работе в Петербурге в 1894-5 годах и по сибирской ссылке. Вскоре после поражения революции 1905 года Клэр, вместе с многими тысячими других, отошел от партии и, в качестве инженера, занял очень видное место в промышленном мире. Подпольщики жаловались, что он отказывает даже в той помощи, которые оказывали ранее либералы. После перерыва в 10-12 лет Кржижановский вернулся в партию, когда она завоевала власть. Это путь очень широкого слоя интеллигентов, которые являются сейчас важнейшей опорой Сталина.

В Самаре я, так сказать, официально примкнул к организации «Искры» под данной мне Клэром конспиративной кличкой «перо»: это была дань моим сибирским успехам журналиста. Организация«Искры» строила заново партию. Первому съезду, собравшемуся в марте 1898 года в Минске, не удалось создать централизованную партийную организацию. Повальные аресты разбили молодой аппарат, под которым еще не было необходимой базы на местах. Революционное движение стало после того расти разрозненными очагами, сохраняя провинциальный характер. Одновременно с этим снижался его идейный уровень. В борьбе за массу социалдемократы отодвигали политические лозунги назад. Сложилось так называемое «экономическое» направление, которое питалось бурным торгово-промышленным и стачечным подъемом. К самому концу столетия открылся кризис, который обострил все антагонизмы в стране и дал толчок политическому движению. «Искра» повела решительную борьбу с провинциалами-«экономистами» за создание централизованной революционной партии. Главный штаб «Искры» находится заграницей, обеспечи-

вая идейную устойчивость организации, которая подбиралась из так называемых «профессиональных» революционеров, тесно связанных единством теории и практических задач. В то время искровцы в большинстве своем еще были интеллигенты. Они боролись за завоевание местных социалдемократических комитетов и за подготовку такого съезда партии, который обеспечил бы победу идеям и методам «Искры». Это был, так сказать, первый, черновой набросок той революционной организации, которая, развиваясь, закаляясь, наступая и отступая, связываясь все теснее с рабочими массами и ставя перед ними все более широкие задачи, опрокинула через пятнадцать лет буржуазию и захватила власть в свои руки.

По поручению самарского бюро я посетил Харьков, Полтаву и Киев для свиданий с рядом революционеров, которые уже входили в организацию «Искры» или которых еще только предстояло завоевать. В Самару я вернулся с довольно скудными результатами: связи на юге были еще слабо налажены, в Харькове адрес оказался недействителен, в Полтаве я наткнулся на областной патриотизм. Налетом ничего сделать было нельзя, нужна была серьезная работа. Между тем Ленин, с которым самарское бюро находилось в оживленной переписке, торопил меня ехать заграницу. Клэр снабдил меня деньгами на дорогу и необходимыми указаниями для перехода австрийской границы у Каменец-Подольска.

Цепь приключений, более забавных, чем трагических, началась на вокзале в Самаре. Чтоб не мозолить вторично жандармам глаза, я решил придти в самый последний момент. Занять для меня место и дожидаться меня с чемоданом должен был студент Соловьев, один из нынешних руководителей нефтесиндиката. Я мирно прогуливался в поле далеко за вокзалом, поглядывая на часы, как вдруг услышал второй звонок. Догадавшись, что мне ложно сообщили час отхода поезда, я бросился со всех ног. Соловьев, честно дожидавшийся меня в вагоне и уже

на ходу выпрыгнувший с чемоданом в руках на рельсы, был окружен станционной администрацией и жандармами. Вид задыхающегося человека, примчавшегося после отхода поезда, — это был я, привлек к себе общее внимание. Протокол, которым жандармы угрожали Соловьеву, утонул в жестоких шутках над нами обоими.

До пограничной полосы я доехал благополучно. На последней станции полицейский потребовал у меня паспорт. Я был искренно удивлен, когда он нашел сфабрикованный мною документ в полном порядке. Руководство нелегальной переправой оказалось в руках гимназиста. Ныне это видный химик, стоящий во главе одного из научных институтов советской республики. По симпатиям своим гимназист оказался социалистом-революционером. Узнав от меня, что я принадлежу к организации «Искры», он круто перешел на тон грозного обвинителя. — Известно ли вам, что в последних номерах «Искра» ведет недостойную полемику против терроризма? — Я только собрался пуститься в принципиальный спор, как гимназист добавил гневно: «Через границу я вас не переведу!» Этот довод поразил меня своей неожиданностью. И однако же он был вполне закономерен. Через пятнадцать лет нам пришлось с оружием в руках свергать власть социалистов - революционеров. Но мне было в тот момент не до исторических перспектив. Я доказывал, что нельзя меня наказывать за статью «Искры» и, наконец, заявил, что не уйду с места, пока не получу проводника. Гимназист смягчался. — Хорошо, — сказал он, — так и быть, но передайте им там, что это в последний раз! —

Гимназист поместил меня на ночь в пустой квартире одинокого коми-вояжера, который должен был вернуться только на следующий день. Смутно помню, что в запертую хозяином квартиру входить пришлось через окно. Ночью внезапный свет пробудил меня. Надо мной наклонился незнакомый маленький чело-

век в котелке, со свечей в одной руке, с палкой в другой. С потолка ползла на меня тень в огромном котелке. — Кто вы такой? — спросил я с возмущением. — Это мне нравится, ответил незнакомец трагически, он лежит на моей кровати и спрашивает, кто я такой! — Ясно: предо мной был хозяин квартиры. Моя попытка растолковать ему, что он должен был вернуться только на следующий день, не имела никакого успеха. — Я сам знаю, когда мне возвращаться! — ответил он не без основания. — Положение становилось запутанным. — Понимаю, воскликнул хозяин, не переставая освещать мое лицо, — это штучки Александра. Мы с ним завтра поговорим! — Я охотно поддержал счастливую мысль о том, что виновником всех недоразумений является отсутствующий Александр. Остаток ночи я провел у коми-вояжера, который даже милостиво напоил меня чаем.

На другое утро гимназист, имевший бурное объяснение с моим хозяином, сдал меня контрабандистам местечка Броды. Весь день я провел на соломе в риге у хохла, который кормил меня арбузами. Ночью под дождем он повел меня через границу. Долго пришлось брести в потьмах, спотыкаясь. — Ну, теперь садитесь мне на спину, сказал вожатый, — дальше вода. — Я не соглашался. — Вам мокрым на ту сторону итти никак нельзя, настаивал хохол. Пришлось совершить путешествие на спине человека и все-таки набрать в ботинки воды. Минут через пятнадцать мы сушились в еврейской избе, уже в австрийской части Брод. Там меня уверяли, что проводник нарочно завел меня в глубокую воду, чтоб больше получить. В свою очередь хохол душевно остерегал меня на прощанье от жидов, которые любят содрать втрое. Мои рессурсы действительно быстро таяли. Надо было еще ночью проехать восемь километров до станции. Труден и опасен был путь на расстоянии одного-двух километров, вдоль самой границы, по размытой дождями дороге, до

шоссе. Вез меня в двухколесной тележке старый еврей-рабочий. «Когда-нибудь я на этом деле голову сложу», бормотал он. — Почему? «Солдаты окликают, а если не ответишь, стреляют. Вон ихний огонек. Сегодня, на счастье, ночь еще хороша». Ночь действительно была хороша: непроницаемая, злая осенняя тьма, непрерывный дождь в лицо, глубокое чавканье грязи под ногами лошади. Мы поднимались, колеса скользили, старик хриплым полушопотом понукал лошадь, колеса вязли, легкая двуколка накренялась все больше и вдруг — опрокинулась. Грязь была октябрьская, т. е. глубокая и холодная. Плашмя я ушел в нее на половину и в довершение потерял пенснэ. Но самое страшное состояло в том, что сейчас же после нашего падения раздался пронзительный крик, где то здесь же, возле нас, вопль отчаяния, мольба о помощи, мистический призыв к небесам, и было непостижимо в этой черной мокрой ночи, кому принадлежит этот таинственный голос, такой выразительный и все же не человеческий. — Он погубит нас, говорю я вам, бормотал старик с отчаянием, — он нас погубит... — Да что это такое? спросил я, затаив дыхание. — Это петух, будь он проклят, петух, мне дала его хозяйка к резнику, чтоб зарезать на субботу... Пронзительные крики раздавались теперь через правильные промежутки времени. — Он нас погубит, тут двести шагов до поста, сейчас солдат выскочит... — Задушите его!.. шипел я в бешенстве. — Кого? — Петуха! — А где я его найду? Его чем то придавило... — Мы оба ползали во тьме, шарили руками в грязи, дождь хлестал сверху, мы проклинали петуха и судьбу. Наконец, старик освободил злосчастную жертву из под моего одеяла. Благодарный петух сразу замолк. Мы подняли общими силами двуколку и поехали дальше. На станции я часа три сушился и чистился до прихода поезда.

После размена денег выяснилось, что у меня не хватит на проезд до места назначения, т. е. до Цюриха, где я должен был явиться к Аксельроду. Я

взял билет до Вены: там видно будет. Вена поразила меня больше всего тем, что, несмотря на мое школьное знакомство с немецким языком, я не понимал никого; большинство прохожих платило мне тем же. Все же я втолковал старику в красной фуражке, что мне нужна редакция «Arbeiter-Zeitung». Я решил разъяснить самому Виктору Адлеру, вождю австрийской социалдемократии, что интересы русской революции требуют моего немедленного продвижения в Цюрих. Проводник обещал доставить меня, куда нужно. Мы шли час. Оказалось, что уже два года тому назад газета переехала в другое место. Мы шли еще полчаса. Портье заявил нам, что приема нет. Мне нечем было заплатить проводнику, я был голоден, а, главное, мне нужно было в Цюрих. По лестнице спускался высокий господин мало приветливого вида. Я обратился к нему с вопросом об Адлере. — Вы знаете, какой сегодня день? спросил он меня строго. Я не знал. В вагоне, в повозке, у коми-вояжера, в риге у хохла, в ночной борьбе с петухом я потерял счет дням. — Сегодня воскресенье! отчеканил высокий господин и хотел пройти мимо. — Все равно, сказал я, мне нужен Адлер. Тогда мой собеседник ответил мне таким тоном, как если бы он в бурю командовал батальоном: «В воскресенье доктора Адлера видеть нельзя, говорят вам!» — Но у меня важное дело, ответил я упрямо. — Да хоть бы ваше дело было в десять раз важнее, поняли? — Это был сам Фриц Аустерлиц, гроза собственной редакции, беседа которого, как сказал бы Гюго, состоит из одних молний. — Если бы вы даже привезли весть, — слышите? — что убит ваш царь, и что у вас там началась революция, — слышите? — и это не дало бы вам права нарушить воскресный отдых доктора! — Этот господин буквально импонировал мне раскатами своего голоса. Но все же мне казалось, что он говорит вздор. Не может быть, чтоб воскресный отдых стоял выше требований революции. Я решил не сдаваться. Мне нужно было в Цюрих.

Меня ждала редакция «Искры». Кроме того, я бежал из Сибири. Это то же что-нибудь да значит. Стоя внизу лестницы и преграждая грозному собеседнику дорогу, я в конце концов добился своего. Аустерлиц сообщил мне необходимый адрес. В сопровождении того же проводника я отправился на квартиру к Адлеру.

Ко мне вышел невысокого роста человек, сутуловатый, почти горбатый, с опухшими глазами на усталом лице. В Вене шли выборы в ландтаг, Адлер выступал накануне на нескольких собраниях, а ночью писал статьи и воззвания. Это я узнал четвертью часа позже от его невестки.

— Извините, доктор, что я нарушил ваш воскресный отдых...

— Дальше, дальше... сказал он с внешней суровостью, но таким тоном, который не пугал, а поощрял. Из всех морщинок этого человека сквозил ум.

— Я русский...

— Ну, этого вам не нужно мне сообщать, я уж имел время об этом догадаться.

Я рассказал доктору, который бегло изучал меня глазами, свою беседу у входа в редакцию.

— Вот как? Так вам сказали? Кто бы это мог быть? Высокий? Кричит? Это Аустерлиц. Кричит, вы говорите? Это Аустерлиц. Не берите этого слишком всерьез. Если вы привезете из России вести о революции, можете звонить ко мне и ночью... Катя, Катя, позвал он неожиданно. Вошла его невестка, русская. — Теперь у вас дело пойдет лучше, сказал он, покидая нас.

Мой дальнейший путь был обеспечен.

ГЛАВА XI

Первая эмиграция

В Лондон — из Цюриха через Париж — я приехал осенью 1902 г., должно быть в октябре, ранним

утром. Нанятый полумимическим путем кэб доставил меня по адресу, написанному на бумажке, к месту назначения. Этим местом была квартира Ленина. Меня заранее научили, еще в Цюрихе, стукнуть три раза дверным кольцом. Дверь мне открыла Надежда Константиновна, которую, надо думать, я своим стуком поднял с постели. Час был ранний, и всякий более привычный к культурному общежитию человек посидел бы спокойно на вокзале час-два, вместо того, чтобы ни свет, ни заря стучаться в чужие двери. Но я еще был полон зарядом своего побега из Верхоленска. Таким же варварским образом я потревожил в Цюрихе квартиру Аксельрода, только не на рассвете, а глубокой ночью. Ленин находился еще в постели, и на лице его приветливость сочеталась с законным недоумением. В таких условиях произошло наше первое с ним свидание и первый разговор. И Владимир Ильич, и Надежда Константиновна знали уже обо мне из письма Клэра и ждали меня. Так я и был встречен: «приехало Перо». Я тут же выложил скромный запас своих русских впечатлений: связи на юге слабы, явка в Харькове недействительна, редакция «Южного Рабочего» противится слиянию, австрийская граница в руках гимназиста, который не хочет помогать искровцам. Факты не были сами по себе очень обнадеживающими, но зато веры в будущее хоть отбавляй.

В то же ли утро, или на другой день я совершил с Владимиром Ильичем большую прогулку по Лондону. Он показывал мне с моста Вестминстер и еще какие-то примечательные здания. Не помню, как он сказал, но оттенок был такой: «это у них знаменитый Вестминстер». «У них» означало, конечно, не у англичан, а у правящих классов. Этот оттенок, нисколько не подчеркнутый, глубоко органический, выражающийся больше в тембре голоса, был у Ленина всегда, когда он говорил о каких-либо ценностях культуры или новых достижениях, книжных богатствах Британского Музея, об информации большой

европейской прессы или много лет позже — о немецкой артиллерии или французской авиации: умеют или имеют, сделали или достигли, — но какие враги! Незримая тень господствующего класса как бы ложилась в его глазах на всю человеческую культуру, и эту тень он ощущал всегда с такой же несомненностью, как дневной свет. Я должно быть проявил в тот раз к лондонской архитектуре минимальное внимание. Переброшенный сразу из Верхоленска за границу, где я вообще был в первый раз, я воспринимал Вену, Париж и Лондон очень суммарно, и мне было еще не до «деталей», вроде Вестминстерского дворца. Да и Ленин не за тем, разумеется, вызвал меня на эту большую прогулку. Цель его была в том, чтобы познакомиться и незаметно проэкзаменовать. И экзамен был действительно «по всему курсу».

Я повествовал о наших сибирских спорах, главным образом по вопросу о централистической организации; о моем письменном докладе на эту тему; о бурном моем столкновении со стариками-народниками в Иркутске, куда я приезжал на несколько недель; о трех тетрадях Махайского и пр. Ленин умел слушать. — А как обстояло дело по части теории? — Я рассказывал, как мы в московской пересыльной коллективно штудировали его книгу «Развитие капитализма в России», а в ссылке работали над «Капиталом», но остановились на втором томе. Спор между Бернштейном и Каутским мы изучали прилежно, по первоисточникам. Сторонников Бернштейна между нами не было. В области философии мы увлекались книгой Богданова, который сочетал с марксизмом теорию познания Маха-Авенариуса. И Ленину книга Богданова казалась тогда правильной. «Я не философ, — говорил он с тревогой, — но вот Плеханов резко осуждает богдановскую философию, как замаскированную разновидность идеализма». Несколько лет спустя Ленин посвятил философии Маха-Авенариуса большое исследование: в основном он

оценил ее также, как и Плеханов. Я упомянул в беседе, что на ссыльных большое впечатление произвело то огромное количество статистических материалов, которое разработано в книге Ленина о русском капитализме. — Так ведь это же делалось не сразу . . — ответил Владимир Ильич с некоторым смущением. Ему, видимо, было очень приятно, что младшие товарищи оценили гигантский труд, вложенный им в его главное экономическое исследование. Насчет моей работы разговор был в этот раз лишь самый общий. Предполагалось, что я некоторое время пробуду заграницей, ознакомлюсь с вышедшей литературой, осмотрюсь, а там видно будет. Через некоторое время я предполагал во всяком случае вернуться нелегально в Россию для революционной работы.

Для жительства я был отведен Надеждой Константиновной за несколько кварталов, в дом, где проживали Засулич, Мартов и Блюменфельд, заведывавший типографией «Искры». Там нашлась свободная комната для меня. Квартира эта, по обычному английскому типу, располагалась не горизонтально, а вертикально: в нижней комнате жила хозяйка, а затем друг над другом жильцы. Была еще общая комната, где пили кофе, курили и вели бесконечные разговоры, и где, не без вины Засулич, но и не без содействия Мартова, царил большой беспорядок. Плеханов, после первого посещения, назвал эту комнату вертепом.

Так начался короткий лондонский период моей жизни. Я принялся с жадностью поглощать вышедшие номера «Искры» и книжки «Зари», издававшейся той же редакцией. Это была блестящая литература, сочетавшая научную глубину с революционной страстью. Я влюбился в «Искру», стыдился своего невежества и из всех сил стремился как можно скорее преодолеть его. Вскоре я начал сотрудничать в «Искре». Сперва это были мелкие заметки, а затем пошли политические статьи и даже передовицы.

Тогда же я выступил с докладом в Уайт-Чепеле,

где сразился с патриархом эмиграции Чайковским и с анархистом Черкезовым, тоже немолодым. Я искренно удивлялся тем ребяческим доводам, при помощи коих почтенные старцы сокрушали марксизм. Помню, что возвращался в очень приподнятом настроении, тротуара под подошвами совсем не ощущал. Связью с Уайт-Чепелем и вообще с внешним миром служил для меня лондонский старожил Алексеев, марксист-эмигрант, близкий к редакции «Искры». Он посвящал меня в английскую жизнь и вообще был для меня источником всякого познания. К Ленину Алексеев относился с величайшим уважением: «Я считаю, говорил он мне, что для революции Ленин важнее, чем Плеханов». Ленину я об этом, конечно, не говорил, но Мартову сказал. Тот ничего не ответил.

В одно из воскресений я отправился с Лениным и Крупской в лондонскую церковь, где социалдемократический митинг чередовался с пением псалмов. Оратором выступал наборщик, вернувшийся из Австралии. Он говорил о социальной революции. Затем все поднимались и пели: «Всесильный боже, сделай так, чтобы не было ни королей, ни богачей». Я не верил ни глазам, ни ушам своим. «В английском пролетариате рассеяно множество элементов революционности и социализма, — говорил по этому поводу Ленин, когда мы вышли из церкви, — но все это сочетается с консерватизмом, религией, предрассудками и никак не может пробиться наружу и обобщиться».

Вернувшись из социалдемократической церкви, мы обедали в маленькой кухне-столовой при квартире из двух комнат. Шутили, как всегда, по поводу того, попаду ли я один к себе домой: я очень плохо разбирался в улицах и, из склонности к систематизации, называл это свое качество «топографическим кретинизмом». Позже я достиг в этом отношении успехов, которые давались мне, однако, не легко.

Мои скромные познания в английском языке, вынесенные из одесской тюрьмы, за лондонский пе-

риод почти не возросли. Я слишком был поглощен русскими делами. Британский марксизм не представлял интереса. Идейным средоточием социалдемократии была тогда Германия, и, мы напряженно следили за борьбой ортодоксов с ревизионистами.

В Лондоне, как и позже, в Женеве, я гораздо чаще встречался с Засулич и с Мартовым, чем с Лениным. Живя в Лондоне на одной квартире, а в Женеве — обедая и ужиная обычно в одних и тех же ресторанчиках, мы с Мартовым и Засулич встречались несколько раз на день, тогда как Ленин жил семейным порядком, и каждая встреча с ним, вне официальных заседаний, была уже как бы маленьким событием. Привычки и пристрастия богемы, столь тяготевшие над Мартовым, были Ленину совершенно чужды. Он знал, что время, несмотря на всю свою относительность, есть наиболее абсолютное из благ. Ленин проводил много времени в библиотеке Британского музея, где занимался теоретически, где писал обычно и газетные статьи. При его содействии и я получил доступ в это святилище. У меня было чувство ненасытного голода, я захлебывался в книжном обилии. Но скоро мне пришлось уехать на континент.

После моих «пробных» выступлений в Уайт-Чепеле меня отправили с рефератом в Брюссель, Льеж, Париж. Реферат мой был посвящен защите исторического материализма от критики так называемой русской субъективной школы. Ленин очень заинтересовался моей темой. Я давал ему на просмотр мой подробный конспект, и он советовал обработать реферат в виде статьи для ближайшей книжки «Зари». Но я не отваживался выступать с чисто теоретической статьей рядом с Плехановым и другими.

Из Парижа меня вскоре вызвали телеграммой в Лондон. Дело шло об отправке меня нелегально в Россию: оттуда жаловались на провалы, на недостаток людей, и требовали моего возвращения. Но не успел я доехать до Лондона, как план уже был из-

менен. Дейчъ, который проживал тогда в Лондоне и очень хорошо ко мне относился, рассказывал мне, как он «вступился» за меня, доказывая, что «юноше» (иначе он меня не называл) нужно пожить заграницей и поучиться, и как Ленин согласился и этим. Заманчиво было работать в русской организации «Искры», но я тем не менее очень охотно остался еще на некоторое время заграницей. Я вернулся в Париж, где в отличие от Лондона, была большая русская студенческая колония. Революционные партии вели жестокую борьбу друг с другом за влияние на студенчество. Вот относящаяся к тому времени страничка из воспоминаний Н. И. Седовой.

«Осень 1902 года была обильна рефератами в русской колонии Парижа. Группа «Искры», к которой я принадлежала, увидала сначала Мартова, потом Ленина. Шла борьба с «экономистами» и с социалистами-революционерами. В нашей группе говорили о приезде молодого товарища, бежавшего из ссылки. Он зашел на квартиру Е. М. Александровой, бывшей народоволки, примкнувшей к «Искре». Мы, молодые, очень любили Екатерину Михайловну, с большим интересом слушали ее и находились под ее влиянием. Когда появился в Париже молодой сотрудник «Искры», Екатерина Михайловна поручила мне узнать, нет ли свободной комнаты где-нибудь по близости. Одна комната оказалась в том доме, где я жила, за 12 франков в месяц, но она была очень мала, узка, темна, похожа на тюремную камеру. Когда я ее описывала, Екатерина Михайловна прервала: «ну, ну, нечего расписывать — хороша будет, пусть занимает». Когда молодой человек (фамилии его нам не называли) устроился в этой комнате, Екатерина Михайловна спрашивала меня: «ну что ж, готовится он к своему докладу?» — Не знаю, верно готовится, — отвечала я, — вчера ночью, поднимаясь по лестнице, я слышала, как он насвистывал в своей комнате. — «Скажите ему, чтоб он не свистел, а хорошенько готовился». Екатерина Михайловна была

очень озабочена, чтоб «он» удачно выступил. Но ее тревога была напрасна. Выступление было очень успешно, колония была в восторге, молодой искровец превзошел ожидания».

С Парижем я знакомился несравненно более внимательно, чем с Лондоном. В этом сказалось влияние Н. И. Седовой. Я родился и вырос в деревне, но к природе стал приближаться в Париже. Здесь же я встал лицом к лицу с настоящим искусством. Постижение живописи, как и природы, давалось мне с трудом. Из позднейших записей Седовой: «Общее впечатление у него от Парижа: «похож на Одессу, но Одесса лучше». Это ни на что не похожее заключение объяснялось тем, что Л. Д. целиком был поглощен политической жизнью и всякую другую замечал постольку, поскольку она сама напрашивалась, и воспринимал ее, как докуку, как нечто такое, чего нельзя избежать. Я с ним не соглашалась в оценке Парижа и посмеивалась немножко над ним».

Да, происходило именно так. Я входил в атмосферу мирового центра, упорствуя и сопротивляясь. Сперва я «отрицал» Париж, и даже пытался его игнорировать. В сущности это была борьба варвара за самосохранение. Я чувствовал, что для того, чтоб приблизиться к Парижу и охватить его по настоящему, нужно слишком много расходовать себя. А у меня была своя область, очень требовательная и недопускавшая соперничества: революция. Постепенно и с трудом, я приобщался к искусству. Я сопротивлялся Лувру, Люксембургу и выставкам. Рубенс казался мне слишком сытым и самодовольным, Пюви-де-Шаван слишком блеклым и аскетичным. Портреты Карьера раздражали своей сумеречной недосказанностью. То же было и со скульптурой и с архитектурой. В сущности, я сопротивлялся искусству так же, как в свое время сопротивлялся революции, а затем марксизму, как в течение ряда лет сопротивлялся Ленину и его методам. Революция 1905 года скоро оборвала процесс моего приобщения

к Европе и ее культуре. Только во второй эмиграции я ближе подошел к искусству, — смотрел, читал, и кое-что писал. Дальше диллетантизма я, однако, не пошел.

В Париже я слушал Жореса. Это было в период Вальдека-Руссо с Мильераном, в качестве министра почт, и с Галифе, в качестве военного министра. Я участвовал в уличной манифестации гедистов и прилежно выкрикивал с другими всякие неприятности по адресу Мильерана. Жорес не произвел на меня в этот период надлежащего впечатления; я слишком непосредственно ощущал его противником. Только несколько лет спустя я научился ценить эту великолепную фигуру, нимало не смягчая своего отношения к жоресизму.

Ленин должен был по настоянию марксистской части студенчества прочитать три лекции по аграрному вопросу в Высшей Школе, организованной в Париже изгнанными из русских университетов профессорами. Либеральные профессора просили неудобного лектора по возможности не вдаваться в полемику. Но Ленин ничем не связал себя на этот счет и первую свою лекцию начал с того, что марксизм есть теория революционная, следовательно, полемическая по самому своему существу. Помню, что перед первой лекцией Владимир Ильич очень волновался. Но на трибуне сразу овладел собой, по крайней мере, внешним образом. Профессор Гамбаров, пришедший его послушать, формулировал Дейчу свое впечатление так: «Настоящий профессор!» Он считал это, очевидно, высшей похвалой.

Решено было показать Ленину оперу. Устроить это было поручено Седовой. Ленин шел в Opera Comique с тем же самым портфелем, который сопровождал его на лекцию. Сидели мы группой на галлерее. Кроме Ленина, Седовой и меня, был, кажется, и Мартов. С этим посещением оперы связано совершенно немузыкальное воспоминание. Ленин купил себе в Париже ботинки, которые оказались ему

тесны. Как на грех и моя обувь настойчиво требовала смены. Я получил ботинки Ленина, и на первых порах мне показалось, что они мне в самый раз. Дорога в оперу прошла благополучно. Но уже в театре я почувствовал, что дело неладно. На обратном пути я жестоко страдал, а Ленин тем безжалостнее подшучивал надо мною всю дорогу, что он сам промучился в этих ботинках несколько часов.

Из Парижа я совершил поездку с рефератами по русским студенческим колониям Брюсселя, Льежа, Швейцарии и немецких городов. В Гейдельберге я послушал старика Куно Фишера, но кантианством не соблазнился. Нормативная философия была мне органически чужда. Как можно предпочесть сухую солому, если рядом мягкая и сочная трава?.. Гейдельберг слыл гнездом русских студентов-идеалистов. В их числе был Авксентьев, будущий министр внутренних дел при Керенском. Я сломал там не один клинок в горячей борьбе за материалистическую диалектику.

ГЛАВА XII

Съезд партии и раскол

Ленин прибыл за границу сложившимся 30-летним человеком. В России, в студенческих кружках, в первых социалдемократических группах, в ссыльных колониях он занимал первое место. Он не мог не чувствовать своей силы уже по одному тому, что ее признавали все, с которыми он встречался, и с которыми он работал. Он уехал за границу уже с большим теоретическим багажем и с серьезным запасом революционного опыта. Заграницей его ждало сотрудничество с «Группой Освобождения Труда» и, прежде всего, с Плехановым, с блестящим истолкователем Маркса, с учителем нескольких поколений, с теоретиком, политиком, публицистом, оратором ев-

ропейского имени и европейских связей. Рядом с Плехановым стояли два крупнейших авторитета: Засулич и Аксельрод. Не только героическое прошлое выдвигало Веру Ивановну в передний ряд. Это был проницательнейший ум с широким, преимущественно историческим, образованием и с редкой психологической интуицией. Через Засулич шла, в свое время, связь «Группы» со стариком Энгельсом. В отличие от Плеханова и Засулич, которые были теснее всего связаны с романским социализмом, Аксельрод представлял в «Группе» идеи и опыт германской социал-демократии. Для Плеханова в эти годы уже начиналась, однако, пора упадка. Его подкашивало как раз то, что придавало силу Ленину: приближение революции. Вся деятельность Плеханова имела идейно-подготовительный характер. Он был пропагандистом и полемистом марксизма, но не революционным политиком пролетариата. Чем более непосредственно надвигалась революция, тем более явственно Плеханов терял почву под ногами. Он не мог не чувствовать этого сам, и это лежало в основе его раздраженного отношения к молодым.

Политическим руководителем «Искры» был Ленин. Главной публицистической силой газеты был Мартов. Он писал легко и без конца — так же, как и говорил. Бок-о-бок с Лениным Мартову, ближайшему его тогда соратнику, было уже не по себе. Они были еще на «ты», но в отношениях уже явственно пробивался холодок. Мартов гораздо больше жил сегодняшним днем, его злобой, текущей литературной работой, публицистикой, новостями и разговорами. Ленин, подминая под себя сегодняшний день, врезывался мыслью в завтрашний. У Мартова были бесчисленные и нередко остроумные догадки, гипотезы, предложения, о которых он часто сам вскоре позабывал, а Ленин брал то, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Ажурная хрупкость мартовских мыслей заставляла Ленина не раз тревожно покачивать головой. Различные политические линии тогда

не успели еще не только определиться, но и обнаружиться. Позже, при расколе на 2-м съезде, искровцы разделились на «твердых» и «мягких». Это название, как известно, было в первое время в большом ходу. Оно свидетельствовало, что если еще не было отчетливой линии водораздела, то была разница в подходе, в решимости, в готовности итти до конца. Относительно Ленина и Мартова можно сказать, что и до раскола, и до съезда, Ленин был «твердый», а Мартов — «мягкий». И оба это знали. Ленин критически и чуть подозрительно поглядывал на Мартова, которого очень ценил, а Мартов, чувствуя этот взгляд, тяготился и нервно поводил худым плечом. Когда они разговаривали друг с другом при встрече, не было уже ни дружеских интонаций, ни шуток, по крайней мере, на моих глазах. Ленин говорил, глядя мимо Мартова, а у Мартова глаза стекленели под отвисавшим и никогда не протиравшимся пенснэ. И когда Ленин со мною говорил о Мартове, то в его интонации был особый оттенок: «Это что ж, Юлий сказал?» при чем имя Юлия произносилось по-особому, с легким подчеркиванием, как бы с предостережением: «Хорош-то хорош, мол, даже замечателен, да очень уж мягок». А на Мартова влияла, несомненно, и Вера Ивановна Засулич, не политически, а психологически отгораживая его от Ленина.

Связи с Россией Ленин сосредоточил в своих руках. Секретарем редакции была жена его, Надежда Константиновна Крупская. Она стояла в центре всей организационной работы, принимала приезжавших товарищей, наставляла и отпускала отъезжавших, устанавливала связи, давала явки, писала письма, зашифровывала, расшифровывала. В ее комнате почти всегда был слышен запах жженной бумаги, от нагревания конспиративных писем. И она нередко жаловалась, со своей мягкой настойчивостью, на то, что мало пишут, или что перепутали шифр, или написали химическими чернилами так, что строка налезла на строку и пр.

Ленин стремился в текущей организационно-политической работе к максимальной независимости от стариков и, прежде всего, от Плеханова, с которым у него уже были острые конфликты по разным поводам, в особенности при выработке проекта программы партии. Первоначальный проект Ленина, противопоставленный проекту Плеханова, встретил со стороны последнего очень резкую оценку в высокомерно-насмешливом тоне, столь отличавшем в таких случаях Георгия Валентиновича. Но Ленина этим нельзя было, конечно, ни обезкуражить, ни испугать. Борьба приняла очень драматический характер. Посредниками выступали Засулич и Мартов: Засулич от Плеханова, Мартов от Ленина. Оба посредника были очень примирительно настроены и, кроме того, дружны между собою. Вера Ивановна, по ее собственному рассказу, говорила Ленину: «Жорж (Плеханов) — борзая: потреплет, потреплет и бросит, а вы — бульдог: у вас мертвая хватка». Передавая мне впоследствии этот диалог, Вера Ивановна добавила: «Ему (Ленину) это очень понравилось. — Мертвая хватка? — переспросил он с удовольствием». И Вера Ивановна добродушно передразнивала интонацию вопроса и картавость Ленина.

Все эти острые схватки разыгрались до моего приезда за-границу. Я о них не подозревал. Не знал я и того, что отношения в редакции еще более обострились на вопросе обо мне. Через четыре месяца после моего приезда за границу Ленин писал Плеханову:

«2. III. 03. (Париж). Я предлагаю всем членам редакции кооптировать «Перо» на всех равных правах в члены редакции (думаю, что для кооптации нужно не большинство, а единогласное решение). Нам о ч е н ь н у ж е н седьмой член и для удобства голосования (6 — четное число) и для пополнения сил. «Перо» пишет уже не один месяц в каждом номере. Вообще работает для «Искры» самым энергичным образом, читает рефераты (пользуясь при этом гро-

мадным успехом). По отделу статей и заметок на злобу дня он нам будет не только весьма полезен, но прямо необходим. Человек, несомненно, с недюжинными способностями, убежденный, энергичный, который пойдет еще вперед. И в области переводов и популярной литературы он сумеет сделать не мало.

Возможные доводы против: 1) молодость, 2) близкий (может быть) отъезд в Россию, 3) перо (без ковычек) со следами фельетонного стиля, с чрезмерной вычурностью и т. д.

Ад. 1) «Перо» предлагается не на самостоятельный пост, а в коллегию. В ней он и станет опытным. «Чутье» человека партии, человека фракции, у него несомненно есть, а знания и опыт — дело наживное. Что он занимается и работает, это тоже несомненно. Кооптирование необходимо, чтобы его окончательно привязать и поощрить.

Ад. 2) Если «Перо» войдет в курс всех работ, то может быть он и уедет не скоро. Если уедет, то и тогда организационная связь с коллегией, подчинение ей не минус, а громадный плюс.

Ад. 3) Недостатки стиля дефект не важный. Выровняется. Сейчас он принимает «поправки» молча (и не очень то охотно). В коллегии будут споры, голосования и «указания» примут более оформленный и настоятельный вид.

Итак, я предлагаю: 1) вотировать всем шести членам редакции по вопросу о полной кооптации «Пера»; 2) приступить затем, если он будет принят, к окончательному оформлению внутри редакционных отношений и голосований, к выработке точного устава. Это надо и нам и для съезда важно.

ПС. Откладывать кооптацию я считаю крайне неудобным и неловким, ибо для меня выяснилась наличность уже изрядного недовольства «Пера» (конечно, не высказываемого прямо) на то, что он все на воздухе, что его все еще третируют (ему кажется) как «вьюношу». Если мы не примем «Пера» тотчас, и он уедет, скажем, через месяц в

Россию, то я убежден, что он поймет это, как наше прямое нежелание принять его в редакцию. Мы можем «упустить», и это было бы весьма скверно».

Это письмо, которое мне самому стало известно только недавно, я привожу почти целиком (за вычетом технических подробностей), потому что оно в высшей степени характерно для обстановки внутри редакции, для самого Ленина и для его отношения ко мне. О борьбе, которая шла за моей спиной по вопросу о моем участии в редакции, я, как уже сказано, ничего не знал. Не верны и ни в малейшей степени не отвечают моему тогдашнему настроению слова Ленина о том, будто я «изрядно недоволен» тем, что меня не включают в редакцию. На самом деле я и в мыслях этого не имел. Мое отношение к редакции было отношением ученика к учителям. Мне было 23 года. Самый младший из членов редакции, Мартов, был на семь лет старше меня. Ленин — на десять лет. Я был в высшей степени доволен судьбою, которая так близко поставила меня к этой замечательной группе людей. У каждого из них я мог многому научиться и старательно учился.

Откуда взялась ссылка Ленина на мое недовольство? Я думаю, что это просто тактический прием. Все письмо Ленина проникнуто стремлением доказать, убедить и добиться своего. Ленин намеренно пугает других членов коллегии моим предполагаемым недовольством и возможным моим отстранением от «Искры». Это у него дополнительный аргумент, не более того. Подобный же характер имеет и довод насчет «вьюноши». Этим именем называл меня часто старик Дейч, и только он один. Но как раз с Дейчем, который политически не имел и не мог иметь на меня никакого влияния, меня связывали очень дружеские отношения. Ленин пользуется доводом насчет «юноши» лишь для того, чтоб внушить старикам необходимость считаться со мной, как с политически взрослым человеком.

Через десять дней после письма Ленина, Мартов пишет Аксельроду: «10 марта 1903 г. Лондон. Владимир Ильич предлагает нам принять в редакционную коллегию на полных правах известное вам «Перо». Его литературные работы обнаруживают несомненное дарование, он вполне «свой» по направлению, целиком вошел в интересы «Искры» и пользуется уже здесь (заграницей) большим влиянием, благодаря недюжинному ораторскому дарованию. Говорит он великолепно — лучше не надо. В этом убедились и я, и Владимир Ильич. Знаниями он обладает и усиленно работает над их пополнением. Я безусловно присоединяюсь к предложению Владимира Ильича». В этом письме Мартов является лишь верным эхом Ленина. Но он не повторяет довода насчет моего недовольства. Мы жили с Мартовым на одной квартире, бок о бок, он наблюдал меня слишком близко, чтоб подозревать меня в нетерпеливом стремлении стать членом редакции.

Почему Ленин так напряженно настаивал на необходимости моего включения в состав коллегии? Он хотел добиться стойкого большинства. По ряду важных вопросов редакция разбивалась на две тройки: стариков (Плеханов, Засулич, Аксельрод), и молодых (Ленин, Мартов, Потресов). Ленин не сомневался, что в наиболее острых вопросах я буду с ним. Однажды, когда нужно было выступить против Плеханова, Ленин отозвал меня в сторону и лукаво сказал: «пусть уж лучше выступает Мартов, он будет смазывать, а вы будете рубить». И заметив, очевидно, некоторое удивление на моем лице, тут же прибавил: «я-то предпочитаю рубить, но против Плеханова лучше уж на этот раз смазать».

Предложение Ленина о введении меня в редакцию разбилось о сопротивление Плеханова. Хуже того: это предложение стало главной причиной острого недоброжелательства ко мне Плеханова, который догадывался, что Ленин ищет твердого большинства — против него. Вопрос о перестройке ре-

дакции был отложен до съезда. Редакция постановила, однако, не дожидаясь Съезда, привлечь меня на заседания с совещательным голосом. Плеханов категорически возражал и против этого. Но Вера Ивановна сказала ему: «А я его приведу». И действительно, «привела» меня на ближайшее заседание. Не зная закулисной стороны дела, я был немало озадачен, когда Георгий Валентинович поздоровался со мной с изысканной холодностью, на которую был большой мастер. Недоброжелательство Плеханова ко мне длилось долго, в сущности не проходило никогда. В апреле 1904 г. Мартов в письме к Аксельроду пишет о «личной, унижающей его (Плеханова) и неблагородной ненависти к данному лицу» (вопрос идет обо мне).

Любопытно замечание в письме Ленина насчет моего тогдашнего стиля. Оно правильно в обоих отношениях: и на счет известной вычурности, и на счет не очень охотного принятия мною чужих поправок. Мое писательство насчитывало тогда каких нибудь два года, и вопросы стиля занимали большое и самостоятельное место в моей работе. Я только входил во вкус словесного материала. Как дети, у которых прорезываются зубы, испытывают потребность натирать десны, даже и малоподходящими предметами, так самодовлеющая погоня за словом, за формулой, за образом, отвечала периоду прорезывания моих писательских зубов. Очищение стиля могло притти только со временем. А так как борьба за форму не была ни случайной, ни внешней, а отвечала внутренним духовным процессам, то немудренно, если я при всем уважении к редакции инстинктивно отстаивал свою формировавшуюся писательскую индивидуальность от вторжений со стороны писателей, вполне сложившихся, но другого склада...

Срок, назначенный для съезда, тем временем приближался, и было, в конце концов, решено перенести редакцию в Швейцарию, в Женеву: там жизнь обходилась несравненно дешевле, и связь с Россией

была легче. Ленин, скрепя сердце, согласился на это. «В Женеве мы устроились в двух маленьких комнатках мансардного типа, — пишет Седова, — Л. Д. был поглощен работой к съезду. Я готовилась к отъезду в Россию на партийную работу». Съезжались первые делегаты съезда, и с ними шли непрерывные совещания. В этой подготовительной работе Ленину принадлежало бесспорное, хотя и не всегда заметное руководство. Часть делегатов приехала с сомнениями или с претензиями. Подготовительная обработка отнимала много времени. Большое место в совещаниях уделялась уставу, при чем важным пунктом в организационных схемах были взаимоотношения Центрального Органа («Искры») к действующему в России Центральному Комитету. Я приехал за границу с той мыслью, что редакция должна «подчиниться» ЦК. Таково было настроение большинства русских искровцев.

— Не выйдет, — возражал мне Ленин, — не то соотношение сил. Ну, как они будут нами из России руководить? Не выйдет . . . Мы — устойчивый центр, мы идейно сильнее, и мы будем руководить отсюда.

— Так это же получится полная диктатура редакции? — спрашивал я.

— А что же плохого? — возражал Ленин. Так оно при нынешнем положении и быть должно.

Организационные планы Ленина вызывали у меня некоторые сомнения. Но как далек я был от мысли, что на этих вопросах взорвется партийный съезд.

* *
*

Я получил мандат от Сибирского Союза, с которым был тесно связан во время ссылки. Вместе с тульским делегатом, врачем Ульяновым, младшим братом Ленина, я выезжал на съезд не из Женевы, чтоб не подцепить «хвостов», а со следующей маленькой и тихой станции Нион, где скорый поезд

стоял всего полминуты. В качестве добрых русских провинциалов, мы поджидали поезд не с той стороны, с какой полагалось, и когда экспресс подошел, бросились в вагон через буфер. Прежде, чем мы успели взобраться на площадку, поезд тронулся. Начальник станции, увидев меж буферами двух пассажиров, дал тревожный свисток. Поезд остановился. Немедленно по водворении нашем в вагон, кондуктор дал нам понять, что таких бестолковых субъектов он видит в первый раз в жизни, и что с нас полагается 50 франков за остановку поезда. Мы дали ему в свою очередь понять, что ни слова не знаем по-французски. В сущности, это было не вполне верно, но — целесообразно: покричав на нас еще минуты три, толстый швейцарец оставил нас в покое. Он поступил тем более разумно, что пятидесяти франков у нас не было. Только позже, при проверке билетов, он снова поделился с другими пассажирами своим крайне уничижительным мнением об этих двух господах, которых пришлось снимать с буфера. Несчастный не знал, что мы ехали создавать партию.

Заседания съезда открылись в Брюсселе, в помещении рабочего кооператива в Maison du peuple. В отведенном для наших работ складе, достаточно скрытом от посторонних глаз, хранились тюки с шерстью, и мы подверглись аттаке несметного количества блох. Мы их называли воинством Анзеле, мобилизованным для штурма буржуазного общества. Заседания представляли собою подлинную физическую пытку. Еще хуже было то, что уже в первые дни делегаты стали замечать за собою активную слежку. Я проживал по паспорту неизвестного мне болгарина Самоковлиева. На второй неделе поздно ночью я вышел из ресторанчика «Золотой Фазан» вместе с Засулич. Нам пересек дорогу одесский делегат З., который, не глядя на нас, прошипел: «За вам шпик, расходитесь в разные стороны, шпик пойдет за мужчиной». З. был великий специалист по части филеров, и глаз у него был на этот счет, как

астрономический инструмент. Проживая подле «Фазана», в верхнем этаже, З. превратил свое окно в наблюдательный пост. Я сейчас же простился с Засулич и пошел прямо. В кармане у меня был болгарский паспорт и пять франков. Филер — высокий худой фламандец с утиным носом — пошел за мною. Было уже за полночь, и улица была совершенно пуста. Я круто обернулся назад. — «M'sieur», как называется эта улица? Фламандец оторопел и прижался спиной к стене. «Je ne sais pas». Он несомненно ждал пистолетного выстрела. Я пошел дальше, все прямо по бульвару. Где-то пробило час. Встретив первый поперечный переулок, я свернул в него и пустился бежать со всех ног. Фламандец за мною. Так два незнакомых человека мчались друг за другом глубокой ночью по улицам Брюсселя. И сейчас я слышу топот их ног. Обежав квартал с трех сторон, я снова вывел фламандца на бульвар. Оба мы устали, обозлились и угрюмо пошли дальше. На улице стояли два-три извозчика. Брать одного из них было бы бесполезно, так как филер взял бы другого. Пошли дальше. Бесконечный бульвар стал как будто кончаться, мы выходили за город. Возле небольшого ночного кабачка стоял одинокий извозчик. Я с разбегу уселся в экипаж. «Поезжайте, мне некогда!» «А вам куда?» — Филер насторожился. Я назвал парк, в пяти минутах ходьбы от своей квартиры. «Сто су!» — «Езжайте!» — Извозчик подобрал вожжи. Филер бросился в кабачек, вышел оттуда с гарсоном и стал указывать ему на своего врага. Через полчаса я был уже у себя в комнате. Зажегши свечу, я заметил на ночном столике письмо на свое болгарское имя. Кто мог мне писать сюда? Оказалось, приглашение sieur Samokowlieff'у явиться завтра в 10 часов утра в полицию с паспортом. Значит, другой филер уже проследил меня накануне, и вся эта ночная гонка по бульвару оказалась совершенно бескорыстным упражнением для обоих участников. Такого же приглашения удостоились в эту

ночь и другие делегаты. Те, которые являлись в полицию, получали предписание о выезде в 24 часа за пределы Бельгии. Я в участок не заходил, а просто уехал в Лондон, куда был перенесен съезд.

Заведывавший тогда русской агентурой в Берлине Гартинг доносил в департамент полиции, что «брюссельская полиция удивилась значительному наплыву иностранцев, при чем заподозрила 10 человек в анархических происках». Брюссельскую полицию «удивил» сам Гартинг, в действительности Гекельман, провокатор-динамитчик, заочно приговоренный французским судом к каторжным работам, впоследствии охранный генерал царизма, и, под фальшивым именем, кавалер французского ордена почетного легиона. Гартинга осведомлял в свою очередь агент-провокатор доктор Житомирский, который принимал из Берлина активное участие в организации съезда. Но все это раскрылось лишь через ряд лет. Казалось бы, все нити были в руках царизма. Однако, не помогло . .

В течение съезда вскрылись противоречия среди основных кадров «Искры». Наметились «твердые» и «мягкие». Разногласия сосредоточивались первоначально вокруг первого пункта устава: кого считать членом партии? Ленин настаивал на том, чтоб отождествить партию с нелегальной организацией. Мартов хотел, чтоб членами партии считались и те, которые работают под руководством нелегальной организации. Непосредственного практического значения это противоречие не имело, так как правом решающего голоса по обеим формулам наделялись только члены нелегальных организаций. Тем не менее, две расходящиеся тенденции были несомненны. Ленин хотел оформленности и резкой отчетливости в партийных отношениях. Мартов тяготел к расплывчатости. Группировка в этом вопросе определила в дальнейшем весь ход съезда, и в частности состав руководящих учреждений партии. За кулисами шла борьба за каждого отдельного делегата. Ленин не щадил усилий, чтоб привлечь меня на свою сторону.

Он совершил со мной и с Красиковым большую прогулку, в течение которой оба старались убедить меня, что мне с Мартовым не по пути, ибо Мартов «мягкий». Характеристики, которые давал Красиков членам редакции «Искры», были так бесцеремонны, что Ленин морщился, а я содрогался. В моем отношении к редакции оставалось еще много юношески-сантиментального. Беседа эта скорее оттолкнула, чем привлекла меня. Разногласия были еще смутны, все брели ощупью и оперировали с невесомыми величинами. Решено было созвать совещание коренных искровцев, чтоб объясниться. Но уже выбор председателя представлял затруднения. «Предлагаю выбрать вашего Веньямина», сказал Дейч в поисках выхода. Таким образом мне пришлось председательствовать на том собрании искровцев, где определился будущий раскол между большевиками и меньшевиками. Нервы у всех были напряжены до крайности. Ленин ушел с собрания, хлопнув дверью. Это единственный случай, когда он потерял на моих глазах самообладание в острой внутрипартийной борьбе. Положение еще более обострилось. Разногласия вышли наружу на самом съезде. Ленин сделал еще одну попытку привлечь меня на сторону «твердых», направив ко мне делегатку З. и своего младшего брата Дмитрия. Беседа с ними длилась в парке несколько часов. Посланцы ни за что не хотели отпускать меня. «У нас приказ привести вас во что бы то ни стало». В конце концов я наотрез отказался следовать за ними.

Раскол разразился неожиданно для всех участников съезда. Ленин, наиболее активная фигура в борьбе, раскола не предвидел и не хотел. Обе стороны переживали разразившиеся события крайне тяжело. Ленин проболел после съезда несколько недель нервной болезнью. «Из Лондона Л. Д. писал почти ежедневно, — говорится в записях Седовой, — письма были все более и более тревожные, и, наконец письмо о расколе «Искры» с отчаянием сообщало,

что «Искры» больше нет, что она умерла... Раскол в «Искре» переживался нами очень болезненно. По возвращении Л. Д. со съезда я вскоре уехала в Петербург, увозя материалы по съезду, мельчайшим почерком написанные на тонкой бумаге и заделанные в переплет французского словаря Ларусс».

Почему я оказался на съезде с «мягкими»? Из членов редакции я ближе всего был связан с Мартовым, Засулич и Аксельродом. Их влияние на меня было бесспорно. В редакции до съезда были оттенки, но не было оформленных разногласий. От Плеханова я стоял дальше всего: после первых, в сущности второстепенных столкновений, Плеханов меня очень не взлюбил. Ленин относился ко мне прекрасно. Но именно он теперь посягал в моих глазах на редакцию, которая была для меня единым целым, и называлась обаятельным именем «Искра». Мысль о расколе коллегии казалась мне святотатственной.

Революционный централизм есть жесткий, повелительный и требовательный принцип. В отношении к отдельным людям и к целым группам вчерашних единомышленников он принимает нередко форму безжалостности. Недаром, в словаре Ленина столь часты слова: непримиримый и беспощадный. Только высшая революционная целеустремленность, свободная от всего низменно-личного, может оправдать такого рода личную беспощадность. В 1903 г. дело шло всего на всего о том, чтоб поставить Аксельрода и Засулич вне редакции «Искры». Мое отношение к ним обоим было проникнуто не только уважением, но и личной нежностью. Ленин тоже высоко ценил их за их прошлое. Но он пришел к выводу, что они все больше становятся помехой на пути к будущему. И он сделал организационный вывод: устранить их с руководящих постов. С этим я не мог мириться. Все мое существо протестовало против этого безжалостного отсечения стариков, которые дошли, наконец, до порога партии. Из этого моего возмущения и вытек мой разрыв с Лениным

на втором съезде. Его поведение казалось мне недопустмым, ужасным, возмутительным. А между тем, оно было политически правильным и, следовательно, организационно необходимым. Разрыв со стариками, застрявшими в подготовительной эпохе, был все равно неизбежен. Ленин понял это раньше других. Он сделал еще попытку сохранить Плеханова, отделив его от Засулич и Аксельрода. Но и эта попытка, как вскоре показали события, не дала результатов.

Мой разрыв с Лениным произошел таким образом как бы на «моральной» и даже на личной почве. Но это была лишь видимость. По существу почва расхождения имела политический характер, который лишь прорвался наружу в организационной области.

Я считал себя централистом. Но нет никакого сомнения, что в тот период я не отдавал себе полного отчета в том, какой напряженный и повелительный централизм понадобится революционной партии, чтобы повести в бой миллионные массы против старого общества. Моя ранняя молодость прошла в сумеречной атмосфере реакции, затянувшейся в Одессе на лишнее пятилетие. Юность Ленина восходила к Народной Воле. Те, которые были моложе меня на несколько лет, воспитывались уже в обстановке нового политического подъема. Ко времени лондонского съезда 1903 года революция все еще была для меня на добрую половину теоретической абстракцией. Ленинский централизм еще не вытекал для меня из ясной и самостоятельно продуманной революционной концепции. А потребность самому понять проблему и сделать из нее все необходимые выводы всегда была, думается мне, самой повелительной потребностью моей духовной жизни.

Острота вспыхнувшего на съезде конфликта, помимо своей едва лишь намечавшейся принципиальной стороны, имела причиной неправильность глазомера стариков в оценке роста и значения Ленина. В те-

чение съезда и сейчас же после него негодование Аксельрода и других членов редакции против поведения Ленина сочеталось с недоумением: как мог он на это решиться? «Ведь не так давно он приехал заграницу, учеником, — рассуждали старшие, — и держал себя, как ученик. Откуда вдруг эта самоуверенность? Как мог он решиться?»

Но Ленин мог и решился. Для этого ему нужно было убедиться в неспособности стариков взять в свои руки непосредственное руководство боевой организацией пролетарского авангарда в обстановке близящейся революции. Старики, и не одни только старики, ошиблись: это был уже не просто выдающийся работник, это был вождь, насквозь целеустремленный и, думается, окончательно почувствовавший себя вождем, когда он стал бок-о-бок со старшими, с учителями, и убедился, что сильнее и нужнее их. В тех, довольно еще смутных настроениях, которые группировались под знаменем «Искры», Ленин один полностью и до конца представлял завтрашний день со всеми его суровыми задачами, жестокими столкновениями и неисчислимыми жертвами.

На съезде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно; одновременно он потерял Мартова и — навсегда. Плеханов, повидимому, что-то почувствовал на съезде. По крайней мере, он сказал тогда Аксельроду про Ленина: «Из такого теста делаются Робеспьеры». Сам Плеханов играл на съезде мало завидную роль. Только один раз мне довелось видеть и слышать Плеханова во всей силе его: это было в программной комиссии съезда. С ясной, научно-отшлифованной схемой программы в голове, уверенный в себе, в своих знаниях, в своем превосходстве, с веселым ироническим огоньком в глазах, с колючими усами с сединой, с чуть-чуть театральными, но живыми и выразительными жестами, Плеханов, сидевший председателем, освещал собою всю многочисленную секцию, как живой фейерверк учености и остроумия.

Лидер меньшевиков Мартов, является одной из самых трагических фигур революционного движения. Даровитый писатель, изобретательный политик, проницательный ум, Мартов был гораздо выше того идейного течения, которое он возглавил. Но его мысли не хватало мужества, его проницательности недоставало воли. Цепкость не заменяла их. Первый отклик Мартова на события всегда обнаруживал революционное устремление. Но немедленно же его мысль, не поддерживаемая пружиной воли, оседала вниз. Наша близость с ним не выдержала испытания первых крупных событий надвигающейся революции.

Так или иначе, второй съезд вошел в мою жизнь большой вехой, хотя бы уже по одному тому, что развел меня с Лениным на ряд лет. Охватывая теперь прошлое в целом, я не жалею об этом. Я вторично пришел к Ленину позже многих других, но пришел собственными путями, проделав и продумав опыт революции, контр-революции и империалистской войны. Я пришел благодаря этому прочнее и серьезнее, чем те «ученики», которые при жизни повторяли не всегда к месту слова и жесты учителя, а после смерти его оказались беспомощными эпигонами и бессознательными орудиями в руках враждебных сил.

ГЛАВА XIII

Возвращение в Россию

Связь с меньшинством 2-го съезда имела кратковременный характер. Уже в течение ближайших месяцев в этом меньшинстве наметились две линии. Я стоял за подготовку скорейшего объединения с большинством, видя в расколе крупный эпизод, но не более. Для других раскол на 2-м съезде был точкой отправления для развития в сторону оппортунизма.

Весь 1904-й год прошел для меня в политических и организационных конфликтах с руководящей группой меньшевиков. Конфликты развертывались вокруг двух пунктов: отношения к либерализму и отношения к большевикам. Я стоял за непримиримый отпор попыткам либералов опереться на массы, и в то же время, и именно поэтому, все решительнее требовал объединения обеих социалдемократических фракций. В сентябре я заявил формально о своем выходе из меньшинства, в состав которого я в сущности уже не входил с апреля 1904 года. В этот период я провел несколько месяцев в стороне от русской эмиграции, в Мюнхене, который считался тогда самым демократическим и самым артистическим городом Германии. Я недурно знал баварскую социалдемократию, мюнхенские галлереи и — карикатуристов «Симплициссимуса».

Уже во время заседания партийного съезда весь юг России был охвачен мощным стачечным движением. Крестьянские волнения становились все чаще. Университеты кипели. Русско-японская война на время задержала движение, но военный разгром царизма скоро стал могучим двигателем революции. Печать смелела, террористические акты учащались, зашевелились либералы, началась банкетная кампания. Основные вопросы революции становились ребром. Абстракции стали для меня по настоящему заполняться социальной материей. Меньшевики, особенно Засулич, все больше переносили надежды на либералов.

Еще до съезда, после одного из заседаний редакции в кафе «Ландольт» Засулич особенным, ей в таких случаях свойственным, робко-настойчивым голосом, стала жаловаться, что мы слишком нападаем на либералов. Это было ее самое больное место.

— Смотрите, как они стараются, — говорила она, глядя мимо Ленина, но имея в виду прежде всего именно его. — Струве требует, чтобы русские либералы не порывали с социализмом, ибо иначе им угро-

жает жалкая судьба немецкого либерализма, а брали бы пример с французских радикал-социалистов.

— Тем больше их надо бить, — сказал Ленин, весело улыбаясь и как бы дразня Веру Ивановну.

— Вот так-так, — воскликнула она с полным отчаянием, — они идут нам навстречу, а мы их бить!

Я целиком стоял на стороне Ленина в этом вопросе, который, чем дальше, тем больше приобретал решающий характер.

Во время либеральной банкетной кампании, быстро упершейся в тупик, осенью 1904 г., я поставил вопрось «что же дальше?» и ответил на него: выход может открыть только всеобщая стачка, а затем восстание пролетариата, становящегося во главе народных масс против либерализма. Это углубило мой раскол с меньшевиками.

23 января (1905) утром я вернулся в Женеву с реферетной поездки, усталый и разбитый после бессонной ночи в вагоне. Мальчишка продал мне вчерашний номер газеты. О шествии рабочих к Зимнему дворцу говорилось в будущем. Я решил, что оно не состоялось. Через час-два я зашел в редакцию «Искры». Мартов был взволнован до крайности. — Не состоялось? спросил я его. Как не состоялось? накинулся он на меня. Мы всю ночь просидели в кафе, читая свежие телеграммы. Неужели вы не знаете? Вот, вот, вот . . . — И он совал мне газету. Я пробежал первые десять строк телеграфного отчета о кровавом воскресеньи. Глухая и жгучая волна ударила мне в голову.

Оставаться заграницей я дольше не мог. С большевиками связей не было со времени съезда. С меньшевиками я организационно порвал. Приходилось действовать на свой страх. Я достал через студентов паспорт. С женой, которая осенью 1904 года снова вернулась заграницу, мы отправились в Мюнхен. Парвус поселил нас у себя. Здесь он прочитал мою рукопись, посвященную событиям до 9-го января, и пришел от нее в приподнятое настроение. «События полностью подтвердили этот прогноз. Теперь никто

не сможет отрицать, что всеобщая стачка есть основной метод борьбы. Девятое января это первая политическая стачка, хоть и прикрытая рясой. Нужно только договорить, что революция в России может привести к власти демократическое рабочее правительство». В этом смысле Парвус написал предисловие к моей брошюре.

Парвус был, несомненно, выдающейся марксистской фигурой конца прошлого и самого начала нынешнего столетия. Он свободно владел методом Маркса, глядел широко, следил за всем существенным на мировой арене, что при выдающейся смелости мысли и мужественном, мускулистом стиле делало его поистине замечательным писателем. Его старые работы приблизили меня к вопросам социальной революции, окончательно превратив для меня завоевание власти пролетариатом из астрономической «конечной» цели в практическую задачу нашего времени. Тем не менее, в Парвусе всегда было что-то сумасбродное и ненадежное. Помимо всего прочего этот революционер был одержим совершенно неожиданной мечтой: разбогатеть. И эту мечту он в те годы тоже связывал со своей социально-революционной концепцией. «Партийный аппарат окостенел, — жаловался он, — даже к Бебелю в голову трудно пробраться. Нам, революционным марксистам, нужна большая ежедневная газета, выходящая одновременно на трех европейских языках. Но для этого нужны деньги, много денег». Так переплетались в этой тяжелой мясистой голове бульдога мысли о социальной революции с мыслями о богатстве. Он сделал попытку поставить в Мюнхене собственное издательство, но она закончилась для него довольно печально. Затем последовала поездка Парвуса в Россию, его участие в революции 1905 года. Несмотря на инициативность и изобретательность его мысли, он совершенно не обнаружил качества вождя. После поражения революции 1905 года для него начинается период упадка. Из Германии он переселяется в Вену, оттуда в Кон-

стантинополь, где и застигла его мировая война. Она сразу обогатила Парвуса на каких-то военно-торговых операциях. Одновременно он выступает публично, как защитник прогрессивной миссии германского милитаризма, рвет окончательно с левыми и становится одним из вдохновителей крайнего правого крыла немецкой социал-демократии. Незачем говорить, что со времени войны я порвал с ним не только политические, но и личные отношения.

Из Мюнхена мы проехали с Седовой в Вену. Эмигрантский поток уже хлынул обратно в Россию. Виктор Адлер был целиком поглощен делами: доставал для эмигрантов деньги, паспорта, адреса... У него на квартире парикмахер изменял мою внешность, уже достаточно примелькавшуюся русским охраникам заграницей.

— Я получил только что, — сообщил мне Адлер, — телеграмму от Аксельрода, что Гапон приехал заграницу и объявил себя социалдемократом. Жаль... Исчезни он навсегда, осталась бы красивая легенда. В эмиграции же он будет комической фигурой. Знаете, прибавил он, зажигая в глазах тот огонек, который смягчал жесткость его иронии, — таких людей лучше иметь историческими мучениками, чем товарищами по партии...

В Вене застала меня весть об убийстве великого князя Сергия. События подгоняли друг друга. Социалдемократическая печать повернула глаза на восток. Жена моя уехала вперед, чтоб наладить в Киеве квартиру и связи. С паспортом отставного прапорщика Арбузова, я приехал в феврале в Киев, где в течение нескольких недель переходил с квартиры на квартиру, сперва у молодого адвоката, который боялся своей тени, потом у профессора технологического института, затем у какой-то либеральной вдовы. Одно время я скрывался даже в глазной лечебнице. По предписанию главного врача, посвященного в мою историю, сестра делала мне, к немалому моему смущению, ножные ванны и невинные вспрыскивания в

глаза. Я вынужден был конспирировать вдвойне: прокламации я писал крадучись от сестры, которая строго наблюдала за тем, чтобы я не утомлял глаз. Во время обхода профессор, отделавшись он ненадежного ассистента, врывался в мою комнату с ассистенткой, которой он доверял, быстро запирал дверь на ключ и завешивал окно якобы для исследования моих глаз. После этого мы втроем осторожно, но весело смеялись. — Папиросы есть? — спрашивал профессор. — Есть, отвечал я. — Quantum satis? — спрашивал профессор. — Quantum satis! — отвечал я. Мы опять смеялись. На этом кончалось исследование, и я возвращался к своим прокламациям. Меня очень забавляла эта жизнь. Только неловко было перед приветливой старухой-сестрой, которая так добросовестно делала мне ножные ванны.

В Киеве существовала тогда знаменитая нелегальная типография, продержавшаяся, несмотря на многочисленные провалы кругом, несколько лет под самым носом у жандармского генерала Новицкого. В этой типографии печатались весною 1905 года и мои прокламации. Но более крупные воззвания я стал передавать молодому инженеру Красину, с которым познакомился в Киеве. Красин входил в состав большевистского Центрального Комитета и имел в своем распоряжении большую, хорошо оборудованную подпольную типографию на Кавказе. Я в Киеве написал для этой типографии ряд листовок, которые печатались с совершенно необычайной для нелегальных условий отчетливостью.

Партия, как и революция, были в ту пору еще очень молоды, и в людях и в делах их бросались в глаза неопытность и недоделанность. Конечно, и Красин не был совсем свободен от той же печати. Но было в нем уже нечто твердое, решительное и «административное». Он был инженером с известным стажем, служил и служил хорошо, его очень ценили, круг знакомств у него был неизмеримо шире и разнообразнее, чем у каждого из молодых тогдашних ре-

волюционеров. Рабочие кварталы, инженерские квартиры, хоромы либеральных московских фабрикантов, литераторские круги — везде у Красина были свои связи. Он все это умело сочетал, и пред ним открывались такие практические возможности, которые другим были совсем недоступны. В 1905 году Красин, помимо участия в общей работе партии, руководил наиболее опасными областями: боевыми дружинами, приобретением оружия, заготовлением взрывчатых веществ и пр. Несмотря на широкий кругозор, Красин был в политике и вообще в жизни прежде всего человеком непосредственных достижений. В этом была его сила. Но в этом же была и его Ахиллесова пята. Долгие годы кропотливого собирания сил, политической вышколки, теоретической проработки опыта — нет, к этому в нем не было призвания. Когда революция 1905 г. не оправдала надежд, на первое место у Красина выдвинулись электротехника и промышленность вообще. Красин и здесь показал себя, как выдающийся реализатор, как человек исключительных достижений. Несомненно, что крупнейшие успехи его инженерской деятельности давали ему то личное удовлетворение, какое в предшествующие годы доставляла революционная борьба. Октябрьский переворот он встретил с враждебным недоумением, как авантюру, заранее обреченную на провал. Он долго не верил в нашу способность справиться с разрухой. Но затем возможность широкой работы увлекла его...

Для меня связь с Красиным в 1905 году была истинным кладом. Мы условились с ним встретиться в Петербурге. Явки я получил от него же. Первая и главная явка была в константиновское артиллерийское училище к старшему врачу, Александру Александровичу Литкенсу, с семьей которого судьба связала меня надолго. В квартире Литкенсов на Забалканском проспекте, в здании училища, не раз доводилось мне укрываться в тревожные дни и ночи 1905 года. Иной раз в квартиру старшего врача, на глазах

вахтера, приходили ко мне такие фигуры, каких двор военного училища и его лестницы не видали никогда. Но низший служебный персонал относился к старшему врачу с симпатией, доносов не было, и все сходило с рук благополучно. Старший сын доктора, Александр, которому было лет 18, принадлежал уже к партии, руководил несколько месяцев спустя крестьянским движением в Орловской губернии, но не вынес нервных потрясений, заболел и скончался. Младший сын Евграф, в тот период гимназист, играл впоследствии крупную роль в гражданской войне и в просветительной работе советской власти, но в 1921 году был убит бандитами в Крыму.

Официально я жил в Петербурге по паспорту помещика Викентьева. В революционных кругах выступал, как Петр Петрович. Организационно я не входил ни в одну из фракций. Я продолжал сотрудничать с Красиным, который был в то время большевиком-примиренцом: это еще больше сблизило нас, в виду тогдашней моей позиции. В то же время я поддерживал связь с местной группой меньшевиков, которая вела очень революционную линию. Под моим влиянием группа встала на точку зрения бойкота первой законосовещательной Думы и пришла в столкновение со своим заграничным центром. Меньшевистская группа, однако, вскоре провалилась. Ее выдал активный ее член Доброскок, «Николай Золотые Очки», который оказался профессиональным провокатором. Он знал, что я в Петербурге, и знал меня в лицо. Жена моя была арестована на первомайском собрании в лесу. Необходимо было временно скрыться. Я уехал летом в Финляндию. Там для меня наступила передышка, состоявшая из напряженной литературной работы и коротких прогулок. Я пожирал газеты, следил за формированием партий, делал вырезки, группировал факты. В этот период сложилось окончательное мое представление о внутренних силах русского общества и о перспективах русской революции.

Россия стоит, — писал я тогда, — перед буржуазно-демократической революцией. Основу этой революции составляет аграрная проблема. Овладеет властью тот класс, та партия, которые поведут за собою крестьянство против царизма и помещиков. Ни либерализм, ни демократическая интеллигенция этого не смогут сделать: их историческая пора прошла. Революционную авансцену уже занял пролетариат. Только социалдемократия может через рабочих повести за собою крестьянство. Это открывает перед русской социалдемократией перспективу завоевания власти раньше, чем в государствах запада. Непосредственной задачей социалдемократии будет завершение демократической революции. Но завоевав власть, партия пролетариата не сможет ограничить ее демократической программой. Она вынуждена будет перейти на путь социалистических мероприятий. Как далеко она зайдет на этом пути, будет зависеть не только от внутреннего соотношения сил, но и от всей международной обстановки. Основная стратегическая линия требует, следовательно, чтобы социалдемократия, непримиримо борясь с либерализмом за влияние на крестьянство, поставила себе уже во время буржуазной революции задачу завладения властью.

Вопрос об общей перспективе революции теснейшим образом связывался с тактическими проблемами. Центральным политическим лозунгом партии было учредительное собрание. Но ход революционной борьбы поставил вопрос о том, кто и как созовет учредительное собрание. Из перспективы руководимого пролетариатом народного восстания вытекало создание временного революционного правительства. Руководящая роль пролетариата в революции должна была обеспечить его решающую роль во временном правительстве. На эту тему пошли на верхах партии большие споры, в частности и у меня с Красиным. Я написал тезисы, в которых доказывал, что полная победа революции над царизмом будет означать либо власть пролетариата, опирающегося на крестьянство,

либо непосредственное вступление к такой власти. Красин испугался такой решительной постановки. Он принял лозунг временного революционного правительства и намеченную мною программу его работ, но без предрешения вопроса о социалдемократическом большинстве в правительстве. В этом виде тезисы мои были отпечатаны в Петербурге, и Красин взял на себя их защиту на предполагавшемся в мае общепартийном съезде заграницей. Общего съезда, однако, не состоялось. Красин принял активное участие в обсуждении вопроса о временном правительстве на съезде большевиков и внес мои тезисы в виде поправки к резолюции Ленина. Этот эпизод политически настолько интересен, что я вынужден процитировать протоколы III-го съезда.

«Что касается резолюции т. Ленина, — говорил Красин, — то я вижу ее недостаток именно в том, что она не подчеркивает вопроса о временном правительстве и недостаточно ярко указывает связь между временным правительством и вооруженным восстанием. В действительности временное правительство выдвигается народным восстанием, как орган последнего... Я нахожу далее неправильно выраженным в резолюции мнение, будто временное революционное правительство появляется лишь после окочательной победы вооруженного восстания и падения самодержавия. Нет, оно возникает именно в процессе восстания и принимает самое живое участие в его ведении, обеспечивая своим организующим воздействием его победу. Думать, будто для с. д. станет возможно участие во временном революционном правительстве с того момента, когда самодержавие уже окончательно пало, наивно: когда каштаны вынуты из огня другими, никому и в голову не придет разделить их с нами». Это все почти дословные формулировки моих тезисов.

Ленин, который в основном докладе поставил вопрос чисто теоретически, отнесся к постановке Красина с чрезвычайным сочувствием. Вот что он сказал: «В

общем и целом я разделяю мнение т. Красина. Естественно, что я, как литератор, обратил внимание на литературную постановку вопроса. Важность цели борьбы указана т. Красиным очень правильно, и я всецело присоединяюсь к нему. Нельзя бороться, не рассчитывая занять пункт, за который борешься...»

Резолюция была соответственным образом переработана. Нелишне будет отметить, что в полемике последних лет резолюция III-го съезда о временном правительстве сотни раз противопоставлялась «троцкизму». «Красные профессора» сталинской формации понятия не имеют о том, что, в качестве образца ленинизма, они цитируют против меня мною же написанные строки.

* * *

Обстановка, в которой я жил в Финляндии, мало напоминала о перманентной революции: холмы, сосны, озера, прозрачный воздух осени, покой. В конце сентября я забрался еще глубже в Финляндию и поселился в лесу, на берегу озера, в одиноком пансионе Rauha. Имя это по-фински означает покой. Огромный пансиои к осени совершенно опустел. Шведский писатель с английской актрисой доживали в нем последние дни и уехали, не заплатив. Хозяин бросился в погоню за ними в Гельсингфорс. Хозяйка лежала тяжко больной, жизнь сердца поддерживалась шампанским. Я ее, впрочем, никогда не видел. В отсутствие хозяина она умерла. Ее тело лежало надо мною. Старший кельнер уехал в Гельсингфорс разыскивать хозяина. Для услуг остался только мальчик. Выпал обильный ранний снег. Сосны были укутаны саваном. Санаторий был мертв. Мальчик пропадал на кухне, где то под землею. Надо мною лежала мертвая хозяйка. Я был один. Все вместе было «rauha» — покой. Ни души, ни звука. Я писал и гулял. Вечером почтальон привез пачку петербургских газет. Я разворачивал их одну за другой. Точно в открытое

окно ворвался бешенный шторм. Стачка росла, расширялась, перебрасывалась из города в город. В тишине отеля шорох газет отдавался в ушах, как грохот лавины. Революция была в полном ходу. Я потребовал у мальчика счет, заказал лошадь, и покинув свой «Покой», поехал навстречу лавине. Вечером я выступал уже в Петербурге в актовом зале политехнического института.

ГЛАВА XIV

1905-ый год

Октябрьская стачка развернулась отнюдь не по плану. Она началась с типографщиков в Москве, затем стала стихать. Решительные бои приурочивались партиями к годовщине 9-22 января. Вот почему я, не слишком торопясь, заканчивал свои работы в своем финляндском убежище. Но случайная стачка, уже замиравшая, перекинулась неожиданно на железные дороги и — понесла. Начиная с десятого октября, стачка, уже под политическими лозунгами, распространяется из Москвы по всей стране. Такой всеобщей стачки еще не видел мир. Во многих городах происходили уличные столкновения с войсками. Но в общем и целом, октябрьские события оставались на уровне политической стачки, не переходя в вооруженное восстание. И тем не менее потерявший голову абсолютизм отступил. Был объявлен конституционный манифест 17-30 октября. Правда, подбитый царизм сохранял машину власти в своих руках. Правительственная политика была, по определению Витте, более чем когда-либо «сплетением трусости, слепоты, коварства и глупости». Но все же революцией одержана была первая победа, неполная, но многообещающая.

«Самая серьезная часть русской революции 1905 года, — писал позже тот же Витте, — конечно, за-

ключалась... в крестьянском лозунге: дайте нам землю». С этим можно согласиться. Но Витте идет дальше: «Совету рабочих, — говорит он — я не придавал особого значения. Он и не имел такого значения». Это показывает только, что и наиболее выдающийся из бюрократов не понял смысла тех событий, которые были последним предостережением по адресу господствующих классов. Витте умер достаточно своевременно, чтоб не быть вынужденным пересматривать свои взгляды на значение рабочих советов.

Прибыл я в Петербург в самый разгар октябрьской стачки. Забастовочная волна все ширилась, но была опасность, что движение, не охваченное массовой организацией, безрезультатно сойдет на-нет. Я приехал из Финляндии с планом выборной беспартийной организации, по делегату на 1000 рабочих. От литератора Иорданского, впоследствии советского посла в Италии, я узнал в день приезда, что меньшевики уже выдвинули лозунг выборного революционного органа, по одному делегату на 500 человек. Это было правильно. Находившаяся в Петербурге часть большевистского Центрального Комитета была решительно против выборной беспартийной организации, опасаясь с ее стороны конкурренции партии. Рабочим-большевикам это опасение было совершенно чуждо. Сектантское отношение большевистских верхов к Совету продолжалось до приезда Ленина в Россию в ноябре. О руководстве «ленинцев» без Ленина можно бы вообще написать поучительную главу. Ленин в такой неизмеримой степени превосходил своих ближайших учеников, что они чувствовали себя при нем как бы раз на всегда освобожденными от необходимости самостоятельно разрешать теоретические и тактические проблемы. Оторванные в критическую минуту от Ленина, они поражали своей беспомощностью. Так было осенью 1905 г. Так было весною 1917 г. В обоих этих случаях, как и во многих других, исторически менее значительных, широкие круги

партии гораздо вернее улавливали чутьем правильную линию, чем предоставленные самим себе полувожди. Запоздалый приезд Ленина из-за границы был одной из причин того, почему большевистской фракции не удалось занять руководящего положения в событиях первой революции.

Я упоминал уже, что Н. И. Седова была захвачена конной облавой на первомайском митинге в лесу. Она просидела около полугода в тюрьме и затем была выслана под надзор в Тверь. После октярбьского манифеста она вернулась в Петербург. Под фамилией Викентьевых мы сняли комнату, как оказалось, у биржевого спекулянта. Дела на бирже шли плохо. Многим спекулянтам пришлось потесниться в своих квартирах. Разнощик приносил нам каждое утро все выходившие газеты. Квартирный хозяип брал их иногда у жены, читал и скрежетал зубами. Его дела шли все хуже. Однажды, он прямо-таки ворвался в нашу комнату, потрясая газетным листом. — Смотрите, — вопил он, — тыча пальцем в мою свежую статью «Доброго утра, петербургский дворник!» — смотрите, они уже до дворников добираются. Если-б попался мне этот каторжник, я бы его вот из этого застрелил. Он выхватил из кармана револьвер и потрясал им в воздухе. У него был вид безумного. Он искал сочувствия. Жена приехала ко мне в редакцию с этой тревожной вестью. Надо было искать новую квартиру. Но не было свободной минуты, и мы положились на судьбу. Так мы и прожили у отчаявшегося биржевика до моего ареста. К счастью, ни хозяин, ни полиция до конца не узнали, кто жил под фамилией Викентьева. После моего ареста на нашей квартире даже не сделали обыска.

В Совете я выступал под фамилией Яновского, по имени деревни, в которой родился. В печати писал, как Троцкий. Работать приходилось в трех газетах. Вместе с Парвусом мы стали во главе маленькой «Русской Газеты», превратив ее в боевой орган для масс. В течение нескольких дней тираж поднялся

с 30 до 100.000. Через месяц заказы на газету доходили до полумиллиона. Но техника не могла поспевать за ростом газеты. Из этого противоречия нас вывел в конце концов только правительственный разгром. 13-го ноября мы поставили в блоке с меньшевиками большой политический орган «Начало». Тираж газеты рос не по дням, а по часам. Большевистская «Новая Жизнь» без Ленина была сероватой. «Начало», наоборот, пользовалось гигантским успехом. Думаю, что оно ближе, чем какое бы то ни было другое издание за полвека, подходило к своему классическому прототипу, «Новой Рейнской Газете» Маркса в 1848 году. Каменев, принадлежавший к редакции «Новой Жизни», рассказывал мне позже, как, проезжая по железной дороге, он наблюдал в вокзальных помещениях продажу свежих газет. К приходу петербургского поезда стояли бесконечные хвосты. Спрос был только на революционные издания. Начало! Начало! Начало! выкрикивали в хвостах. — Новая Жизнь! — опять: Начало! Начало! Начало! — «Тогда — признался Каменев — я с досадой сказал себе: да, они в Начале пишут лучше, чем мы».

Кроме «Русской Газеты» и «Начала», я писал еще передовицы в «Известиях», официальном органе Совета, а также многочисленные воззвания, манифесты и резолюции. Пятьдесят два дня существования первого Совета были насыщены работой до отказа: Совет, Исполнительный Комитет, непрерывные митинги и три газеты. Как мы в этом водовороте жили, мне самому не ясно. Но в прошлом многое кажется непостижимым, так как в воспоминаниях выпадает элемент активности: смотришь на себя со стороны. Мы же в те дни были достаточно активны. Мы не только вертелись в водовороте, но и создавали его. Все делалось впопыхах, но не так уж плохо, а кое-что делалось и очень хорошо. Наш ответственный редактор, старый демократ доктор Д. М. Герценштейн, заходил иногда в редакцию в безупречном

черном сюртуке, становился посреди комнаты и любовными глазами наблюдал наш хаос. Через год ему пришлось давать на суде ответ за революционное неистовство газеты, на которую он не имел никакого влияния. Старик не отрекался от нас. Наоборот, он со слезами на глазах рассказывал суду, как мы, редактируя самую популярную газету, питались между делом сухими пирожками, которые сторож приносил завернутыми в бумагу из ближайшей булочной. Старику пришлось отсидеть год в тюрьме — за революцию, которая не победила, за эмигрантскую братию и за сухие пирожки...

В своих воспоминаниях Витте писал впоследствии, что в 1905 году «громадное большинство России как бы сошло с ума». Революция кажется консерватору коллективным умопомешательством только потому, что «нормальное» безумие социальных противоречий она доводит до высшего напряжения. Так люди не хотят узнавать себя в смелой каррикатуре. Между тем все современное развитие сгущает, напрягает, обостряет противоречия, делает их невыносимыми, и следовательно подготовляет такое состояние, когда громадное большинство «сходит с ума». Но в таких случаях сумасшедшее большинство надевает смирительную рубашку на мудрое меньшинство. И благодаря этому история движется вперед.

Революционный хаос совсем не то, что землетрясение или наводнение. В беспорядке революции сейчас же начинает формироваться новый порядок, люди и идеи естественно распределяются по новым осям. Сплошным безумием революция кажется тем, кого она отметает и низвергает. Для нас революция была родной стихией, хоть и очень мятежной. Всему находился свой час и свое место. Некоторые успевали еще жить и личной жизнью влюбляться, заводить новые знакомства и даже посещать революционные театры. Парвусу так понравилась новая сатирическая пьеса, что он сразу закупил 50 билетов для друзей на следующее представление. Нужно пояснить,

что он получил накануне гонорар за свои книги. При аресте Парвуса у него в кармане нашли пятьдесят театральных билетов. Жандармы долго бились над этой революционной загадкой. Они не знали, что Парвус все делал с размахом.

Совет поднял на ноги огромные массы. Рабочие стояли за Советом целиком. В деревне шли волнения, как и в войсках, возвращавшихся после портсмутского мира с Дальнего Востока. Но гвардейские и казачьи полки были еще крепки. Все элементы победоносной революции были налицо, но эти элементы еще не созрели.

18 октября, на другой день после опубликования манифеста, перед петербургским университетом стояли многие десятки тысяч, не остывшие от борьбы и опъяненные восторгом первой победы. Я кричал им с балкона, что полупобеда ненадежна, что враг непримирим, что впереди западня, я рвал царский манифест и пускал его клочья по ветру. Но такого рода политические предупреждения оставляют только легкие царапины в сознании массы. Ей нужна школа больших событий.

Мне вспоминаются в связи с этим две сцены из жизни петербургского Совета. Одна — 29 октября, когда город был полон слухов о погроме, подготовляемом черной сотней. Депутаты, придя непосредственно со своих заводов на заседание Совета, показывали с трибуны образцы оружия, которое зготовлялось рабочими против черной сотни. Они потрясали в воздухе финскими ножами, кастетами, кинжалами, проволочными плетьями, но все это скорее весело, чем угрюмо, еще с шуткой и прибауткой. Они как будто думали, что одна их готовность дать отпор сама по себе разрешает задачу. В большинстве своем они еще не прониклись насквозь той мыслью, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. И вот этому научили их декабрьские дни.

Вечером 3-го декабря петербургский Совет был окружен войсками. Входы и выходы были заперты.

С хор, где заседал Исполнительный Комитет, я крикнул вниз, где толпились уже сотни депутатов: «сопротивления не оказывать, оружия врагу не сдавать». Оружие было ручное: револьверы. И вот в зале заседания, уже окруженном со всех сторон отрядами гвардейской пехоты, кавалерии и артиллерии, рабочие стали приводить в негодность свое оружие. Они били умелой рукой маузером по браунингу и браунингом по маузеру. И это уже не звучало шуткой и прибауткой, как 29-го октября. В звоне и лязге, в скрежете разрушаемого металла слышался зубовный скрежет пролетариата, который впервые почувствовал до конца, что нужно иное, более могучее и беспощадное усилие, чтоб опрокинуть и раздавить врага.

Полупобеда октябрьской стачки, помимо политического, имела для меня неизмеримое теоретическое значение. Не оппозиционное движение либеральной буржуазии, не стихийное восстание крестьян, не террористические акты интеллигенции, а рабочая стачка впервые поставила царизм на колени. Революционная гегемония пролетариата проявилась, как неоспоримый факт. Я считал, что теория перманентной революции выдержала первое большое испытание. Революция явно открывала перед пролетариатом перспективу завоевания власти. С этой позиции уже не могли меня сдвинуть наступившие вскоре годы реакции. Но отсюда же я делал выводы и для Запада. Если такова сила молодого пролетариата в России, то каково же будет его революционное могущество в передовых странах?

В свойственной ему неточной и неряшливой манере Луначарский следующим образом характеризовал впоследствии мою революционную концепцию: «Тов. Троцкий стоял (в 1905 г.) на той точке зрения, что обе революции (буржуазная и социалистическая), хотя и не совпадают, но связываются между собою так, что мы имеем перед собою перманентную революцию. Войдя в революционный период через буржуазный политический переворот русская часть

человечества, а рядом с нею и мир уже не сможет выйти из этого периода до завершения социальной революции. Нельзя отрицать, что формулируя эти взгляды, т. Троцкий выказал большую проницательность, хотя и ошибся на пятнадцать лет».

Замечание об ошибке на пятнадцать лет не становится глубокомысленнее от того, что его позже повторил Радек. Все наши переспективы и лозунги в 1905 году были рассчитаны на победу революции, а не на ее поражение. Мы не осуществили тогда ни республики, ни аграрного переворота, ни восьмичасового рабочего дня. Значит ли, что мы ошибались, выдвигая эти требования? Поражение революции перекрыло все перспективы, не только ту, которую я развивал. Вопрос шел не о сроках революции, а об анализе ее внутренних сил и о предвосхищении ее развития, взятого в целом.

Каковы были в революции 1905 г. взаимоотношения между мной и Лениным? После его смерти официальная история переделывалась заново, причем и для 1905 года установлена борьба двух начал, добра и зла. Как же обстояло на деле? В работе Совета Ленин непосредственного участия не принимал, в Совете не выступал. Незачем говорить, что он внимательно следил за каждым шагом Совета, влиял на его политику через представителей большевистской фракции и освещал деятельность Совета в своей газете. Ни по одному вопросу у Ленина разногласий с политикой Совета не было. Между тем, как свидетельствуют документы, все решения Совета, за исключением может быть некоторых случайных и маловажных, были формулированы мною и мною же вносились сперва в Исполнительный Комитет, а затем от его имени в Совет. Когда создалась федеративная комиссия из представителей большевиков и меньшевиков, опять-таки мне же приходилось выступать от ее имени в Исполнительном Комитете. Ни одного конфликта при этом не было.

Первым председателем Совета был выбран на-

кануне моего приезда из Финляндии молодой адвокат Хрусталев, случайная в революции фигура, промежуточная ступень от Гапона к социалдемократии. Хрусталев председательствовал, но политически не руководил. После его ареста был выбран президиум, возглавлявшийся мною. Сверчков, один из довольно видных участников Совета, пишет в своих воспоминаниях: «Идейным руководителем Совета был Л. Д. Троцкий. Председатель Совета — Носарь-Хрусталев — был скорее ширмой, ибо сам не был в состоянии решить ни одного принципиального вопроса. Человек с болезненным самолюбием, он возненавидел Л. Д. Троцкого именно за то, что ему приходилось обращаться постоянно к нему за советами и указаниями». Луначарский рассказывает в своих воспоминаниях: «Я помню, как кто-то сказал при Ленине: «Звезда Хрусталева закатывается и сейчас сильный человек в Совете — Троцкий». Ленин как-будто омрачился на мгновенье, а потом сказал: «Что-ж, Троцкий завоевал это своей неустанной и яркой работой».

Отношения обеих редакций были самые дружественные. Никакой полемики между ними не было. «Вышел первый номер «Начала», — писала большевистская «Новая Жизнь». Приветствуем товарища по борьбе. В первом номере обращает на себя внимание блестящее описание ноябрьской стачки, принадлежащее т. Троцкому». Так не пишут, когда находятся в борьбе. Но борьбы не было. Наоборот, газеты защищали друг друга против буржуазной критики. «Новая Жизнь» уже после приезда Ленина выступила в защиту моих статей о перманентной революции. Газеты, как и обе фракции, вели курс на слияние. Центральный комитет большевиков, с участием Ленина, вынес единодушно резолюцию в том духе, что раскол явился вообще лишь результатом эмигрантских условий, и что события революции вырывали из под фракционной борьбы всякую почву. Ту же линию, при пассивном сопротивлении Мартова, я отстаивал в «Начале».

Под влиянием напора масс меньшевики в Совете в первый период изо всех сил равнялись по левому флангу. Поворот у них наступил только после первого удара реакции. В феврале 1906 г. вождь меньшевиков Мартов жаловался в письме Аксельроду: «вот уже два месяца . . . не мог закончить ни одного начатого мною произведения . . .не то неврастения, не то психическая усталость — но я не мог справиться с мыслями». Мартов не знал, как назвать свою болезнь. Между тем имя ее было вполне определенное: меньшевизм. В эпоху революции оппортунизм означает прежде всего растерянность и неспособность «справиться с мыслями».

Когда меньшевики стали публично каяться и подвергать осуждению политику Совета, я защищал ее в русской печати, а затем в немецкой и в польском журнале Розы Люксембург. Из этой борьбы за методы и традиции 1905 года выросла моя книга, сперва называвшаяся «Россия в революции», а затем многократно переиздававшаяся в разных странах под заглавием «1905». После октябрьского переворота, эта книга приобрела характер официального учебника партии не только в России, но и у коммунистических партий запада. Только после смерти Ленина, когда началась тщательно подготовленная кампания против меня, в полосу обстрела была вовлечена и моя книга о 1905-м годе. Сперва дело ограничивалось отдельными замечаниями и придирками, жалкими и ничтожными. Но постепенно критика смелела, наростала, множилась, усложнялась, наглела и становилась тем более шумной, чем более ей приходилось заглушать голос собственной тревоги. Так создана была задним числом легенда о борьбе линий Ленина и Троцкого в революции 1905 года.

Революция 1905-го года создала перелом в жизни страны, в жизни партии и в моей личной жизни. Перелом был в сторону зрелости. Первая моя революционная работа в Николаеве была провинциальным опытом, проделанным ощупью. Этот

опыт не прошел, однако, бесследно. Никогда, может быть, во все дальнейшие годы мне не приходилось вступать в такое близкое соприкосновение с рядовыми рабочими, как в Николаеве. У меня не было тогда еще никакого «имени», и ничто не отделяло меня от них. Основные типы русского пролетария вошли в мое сознание навсегда. В дальнейшем я встречал уже почти только разновидности. В тюрьме пришлось начинать революционную учебу почти с азбуки. Два с половиной года тюрьмы, два года ссылки дали возможность заложить теоретические основы революционного миросозерцания. Первая эмиграция была большой школой политики. Под руководством выдающихся марксистов-революционеров я учился здесь подходить к событиям в большой исторической перспективе и в международной связи. К концу эмиграции я отделился от обеих руководящих групп: большевистской и меньшевистской. В Россию я приехал в феврале 1905 года, тогда как остальные руководящие эмигранты прибыли только в октябре и ноябре. Среди русских товарищей не было ни одного, у кого я мог бы учиться. Наоборот, я сам оказался в положении учителя. События бурного года надвигались одно на другое. Надо было занимать позицию тут же на месте. Прокламация из-под пера шла в подпольную типографию. Теоретические основы, заложенные в тюрьме и ссылке, политический метод, усвоенный в эмиграции, теперь впервые находили непосредственное боевое применение. Я себя чувствовал уверенно перед лицом событий. Я понимал их механику, — так мне, по крайней мере, казалось, — я представлял себе, как они должны действовать на сознание рабочих, и я предвидел в основных чертах завтрашний день. С февраля по октябрь мое участие в событиях имело, главным образом, литературный характер. В октябре я сразу окунулся в гигантский водоворот, который в личном смысле означал наивысшее испытание. Решения приходилось выносить под огнем. Я не могу здесь не отметить, что эти решения

давались мне, как нечто само собою разумеющееся. Я не оглядывался на то, что скажут другие, редко имел возможность с кем-нибудь советоваться, — все делалось в спешке. С недоумением и отчужденностью наблюдал я позже умнейшего из меньшевиков Мартова, которого каждое большое событие застигало врасплох и повергало в растерянность. Не размышляя о том, — слишком мало времени оставалось на то, чтоб экзаменовать себя, — я все же органически почувствовал, что ученические годы остались позади. Они закончились для меня не в том смысле, что я перестал учиться. Нет, потребность и готовность учиться я пронес во всей остроте и свежести через всю жизнь. Но в дальнейшем я уже учился, как учится учитель, а не ученик. В момент моего второго ареста мне было 26 лет. И от старика Дейча пришло признание зрелости: он в тюрьме торжественно отказался называть меня юношей и перешел на имя-отчество.

В уже цитированной книжке «Силуэты», состоящей ныне под запретом, Луначарский дает такую оценку роли руководителей первой революции: «Популярность его (Троцкого) среди петербургского пролетариата ко времени ареста была очень велика и еще увеличилась в результате его необыкновенно картинного (?) и героического (?) поведения на суде. Я должен сказать, что Троцкий из всех социалдемократических вождей 1905—1906 г. г., несомненно показал себя, несмотря на свою молодость, наиболее подготовленным, меньше всего на нем было печати некоторой эмигрантской узости, которая, как я уже сказал, мешала в то время даже Ленину; он больше других чувствовал, что такое государственная борьба. И вышел он из революции с наибольшим приобретением в смысле популярности: ни Ленин, ни Мартов не выиграли в сущности ничего. Плеханов очень много проиграл, вследствие проявившихся в нем полукадетских тенденций. Троцкий же с этих пор стал в первый ряд». Эти строки, написанные в 1923 году,

звучат тем более выразительно, что сегодня Луначарский — не очень «картинно» и не очень «героически» — пишет прямо противоположное.

Никакая большая работа немыслима без интуиции, т. е. без того подсознательного чутья, которое, благодаря теоретической и практической работе, может развиться и обогатиться, но которое должно быть заложено в самой природе. Ни теоретическое образование, ни практическая рутина, не могут заменить политического глазомера, который позволяет разобраться в обстановке, оценить ее в целом и предвидеть ее дальнейшее развитие. Решающее значение приобретает эта способность в периоды крутых сдвигов и переломов, т. е. в условиях революции. События 1905 года, как мне думается, обнаружили во мне эту революционную интуицию и позволили мне в дальнейшем уверенно опираться на нее. Отмечу здесь же, что ошибки, которые я делал, как бы важны они ни были, — а были ошибки громадной важности, — всегда касались производных вопросов, организационных или тактических, но не основных, не стратегических. В оценке политической обстановки в целом и ее революционных перспектив, я по чистой совести не могу себе поставить в вину серьезных ошибок.

В жизни России революция 1905-го года была генеральной репетицией революции 1917-го года. Такое же значение имела она и в моей личной жизни. В события 1917 года я вошел с полной решимостью и уверенностью, потому что они были для меня лишь продолжением и развитием той революционной работы, которую оборвал арест петроградского Совета 3-го декабря 1905 года.

Арест последовал на второй день после опубликования нами так называемого финансового манифеста, который провозглашал неизбежность финансового банкротства царизма и категорически предупреждал, что долговые обязательства Романовых не бу-

дут признаны победоносным народом. «Самодержавие никогда не пользовалось доверием народа, — гласил манифест совета рабочих депутатов, — и не имело от него полномочий. Посему мы решаем не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом». Французская биржа через несколько месяцев ответила на наш манифест новым займом царю в три четверти миллиарда франков. Пресса реакции и либерализма издевалась над бессильной угрозой Совета по адресу царских финансов и европейских банкиров. Потом о манифесте постарались забыть. Но он напомнил о себе. Финансовое банкротство царизма, подготовленное всем прошлым, разразилось одновременно с его военным крушением. А затем, после победы революции, декрет Совета Народных Комиссаров от 10 февраля 1918 года объявил начисто аннулированными все царские долги. Этот декрет остается в силе и сейчас. Неправы те, которые утверждают, будто октябрьская революция не признает никаких обязательств. Свои обязательства революция признает. Обязательство, которое она взяла на себя 2-го декабря 1905 года, она осуществила 10 февраля 1918 года. Кредиторам царизма революция имеет право напомнить: «Господа, вы были своевременно предупреждены!»

В этом отношении, как и во всех остальных, 1905 подготовил 1917.

ГЛАВА XV

Суд, ссылка, побег

Начался второй тюремный цикл. Я переносил его гораздо легче, чем первый, да и условия были несравненно благоприятнее, чем за восемь лет до

того. Я посидел некоторое время в «Крестах», затем в Петропавловской крепости, а под конец в Доме предварительного заключения. Перед отправкой в Сибирь нас перевели еще в пересыльную тюрьму. Все вместе заняло пятнадцать месяцев. Каждая из тюрем представляла свои особенности, к которым нужно было приспособиться. Но рассказывать об этом было бы слишком утомительно, ибо при всем своем разнообразии все тюрьмы похожи друг на друга. Снова наступило время систематической научной и литературной работы. Я занимался теорией земельной ренты и историей социальных отношений России. Большая, но не законченная работа о земельной ренте пропала уже в первые годы после октябрьского переворота. Это была самая тяжкая для меня потеря после гибели работы о франк-масонстве. Занятия над социальной историей России вылились в статью «Итоги и перспективы», которая представляет собой наиболее законченное для того периода обоснование теории перманентной революции.

После перевода в Дом предварительного заключения к нам получили доступ адвокаты. Первая Дума внесла оживление в политическую жизнь. Газеты опять заговорили смелее. Ожили марксистские издательства. Можно было вернуться к боевой публицистике. Я много писал в тюрьме, адвокаты в своих портфелях выносили рукописи на волю. К этому периоду относится мой памфлет «Петр Струве в политике». Я работал над ним с таким рвением, что тюремные прогулки казались мне досадной обузой. Направленный против либерализма, памфлет представлял по существу защиту Петербургского Совета, декабрьского вооруженного восстания в Москве и вообще революционной политики против критики оппортунизма. Большевистская печать встретила памфлет, более чем сочувственно. Меньшевистская набрала воды в рот. Памфлет разошелся в десятках тысяч экземпляров в течение нескольких недель.

Разделявший со мной заключение Д. Сверчков следующим образом описывал впоследствии тюремный период в своей книге «На заре революции»: «Л. Д. Троцкий залпом писал и передавал по частям для напечатания свою книгу «Россия и революция», в которой он впервые (неточно! Л. Т.) высказал с определенностью мысль о том, что революция, начавшаяся в России, не может закончиться до тех пор, пока не будет достигнут социалистический строй. Его теория «перманентной революции» — как называли эту мысль — не разделялась тогда почти никем, однако он твердо стоял на своей позиции и уже тогда усматривал в положении государств мира все признаки разложения буржуазно-капиталистического хозяйства и относительную близость социалистической революции . . .

«Тюремная камера Троцкого — продолжает Сверчков — превратилась вскоре в какую-то библиотеку. Ему передавали решительно все сколько-нибудь заслуживающие внимания новые книги; он прочитывал их и весь день с утра до поздней ночи был занят литературной работой. — Я чувствую себя великолепно, — говорил он нам. — Сижу, работаю, и твердо знаю, что меня ни в коем случае не могут арестовать . . . Согласитесь, что в границах царской России это довольно необычное ощущение . . .

Для отдыха я читал классиков европейской литературы. Лежа на тюремной койке, я упивался ими с таким же чувством физического наслаждения, с каким гурманы тянут тонкое вино или сосут благоуханную сигару. Это были лучшие часы. Следы моих занятий классиками, в виде эпиграфов и цитат, видны во всей моей публицистике того периода. Тогда я впервые близко познакомился в подлиннике с вельможами (grandsseigneurs) французского романа. Искусство рассказа есть прежде всего французское искусство. Хотя я немецкий язык знаю, пожалуй, несколько лучше французского, особенно в области научной терминологии, но французскую беллетристику

читаю легче немецкой. Любовь к французскому роману я пронес до сего дня. Даже в вагоне во время гражданской войны я находил часы для новинок французской литературы.

В конце концов я не могу жаловаться на свои тюрьмы. Они были для меня хорошей школой. Плотно закупоренную одиночку Петропавловской крепости я покидал с оттенком огорчения: там было тихо, так ровно, так бесшумно, так идеально хорошо для умственной работы. Предварилка, наоборот, была переполнена людьми и суетой. Не мало было смертников: террористические акты и вооруженные экспроприации шли в стране широкой волною. Режим в тюрьме, в виду первой Думы, был либеральный, камеры днем не запирались, прогулки были общие. Мы по часам с упоением играли в чехарду. Приговоренные к смерти прыгали и подставляли свои спины вместе с другими. Жена приходила ко мне дважды в неделю на свидание. Дежурные помощники смотрели сквозь пальцы, как мы обменивались письмами и рукописями. Один из них, уже пожилой, особенно благоволил к нам. Я подарил ему, по его просьбе, свою книгу и свою карточку с надписью. «У меня дочери курсистки», шептал он с восторгом и таинственно подмигивал глазом. Я встретился с ним при советской власти и сделал для него, что мог, в те голодные годы.

Парвус гулял со стариком Дейчем по двору. Нередко и я присоединялся к ним. Есть карточка, где мы втроем изображены на тюремной кухне. Неутомимый Дейч затевал групповой побег, легко завоевал для этого дела Парвуса и настойчиво приглашал меня. Я сопротивлялся, так как меня привлекало политическое значение предстоявшего процесса. В план, однако, было вовлечено слишком много народу. В тюремной библиотеке, игравшей роль операционного центра, надзиратель нашел подбор слесарных инструментов. Администрация, правда, замяла дело, заподозрив, что инструменты подброшены

жандармами, чтоб добиться изменения тюремного режима. Но свой четвертый побег Дейчу пришлось совершить все же не из тюрьмы, а из Сибири.

Фракционные расслоения в партии резко возобновились после декабрьского поражения. Разгон Думы поднял заново все проблемы революции. Я посвятил им тактическую брошюру, которую Ленин выпустил в большевистском издательстве. Меньшевики уже ударили отбой по всей линии. Фракционные отношения не достигли, однако, в тюрьме такого обострения, какое они уже успели приобрести на воле. Это дало нам возможность выпустить коллективную работу о петербургском Совете, в составлении которой принимали еще участие и меньшевики.

Судебный процесс Совета депутатов открылся 19 сентября, в медовые недели столыпинских военно-полевых судов. Двор судебного здания и прилегающие улицы были превращены в военный лагерь. Все полицейские силы Петербурга были поставлены на ноги. Но самый процесс велся довольно свободно: реакция хотела окончательно скомпрометировать Витте, вскрывши его «либерализм», его слабость по отношению к революции. Было вызвано около 400 свидетелей, из которых свыше 200 явились и дали показания. Рабочие, фабриканты, жандармы, инженеры, прислуга, обыватели, журналисты, почтово-телеграфные чиновники, полицмейстеры, гимназисты, гласные думы, дворники, сенаторы, хулиганы, депутаты, профессора, солдаты дефилировали в течение месяца перед судом, и под перекрестным огнем со скамей суда, прокуратуры, защиты и подсудимых — особенно подсудимых — они линия за линией, штрих за штрихом, восстановили эпоху деятельности рабочего Совета. Подсудимые дали объяснения. Я говорил о месте вооруженного восстания в революции. Главное было таким образом достигнуто. Когда суд отказал нам в вызове сенатора Лопухина, который осенью 1905 года открыл в департаменте полиции погромную типографию, мы сорвали процесс, заставив

удалить нас в тюрьму. Вслед за нами ушли защитники, свидетели и публика. Судьи остались с глазу на глаз с прокурором. В нашем отсутствии они вынесли свой приговор. Стенографический отчет об этом исключительном процессе, длившемся месяц, до сих пор не издан, и кажется даже не разыскан. Самое существенное о суде я рассказал в своей книге «1905».

И отец, и мать присутствовали на процессе. Их мысли и чувства двоились. Уже нельзя было объяснять мое поведение мальчишеской взбалмошностью, как в дни моей николаевской жизни в саду у Швиговского. Я был редактором газет, председателем Совета, имел имя, как писатель. Старикам импонировало это. Мать заговаривала с защитниками, стараясь от них услышать еще и еще что-нибудь приятное по моему адресу. Во время моей речи, смысл которой не мог быть ей вполне ясен, мать бесшумно плакала. Она заплакала сильнее, когда два десятка защитников подходили ко мне друг за другом с рукопожатиями. Один из адвокатов потребовал перед тем перерыва заседания, ссылаясь на общую взволнованность. Это был А. С. Зарудный. В правительстве Керенского он стал министром юстиции и держал меня в тюрьме по обвинению в государственной измене. Но это было через десять лет... В перерыве старики глядели на меня счастливыми глазами. Мать была уверена, что меня не только оправдают, но как-нибудь еще и отличат. Я убеждал ее, что надо готовиться к каторжным работам. Она испуганно и недоумевающе переводила глаза с меня на защитников, стараясь понять, как это может быть. Отец был бледен, молчалив, счастлив и убит в одно и то же время.

Нас лишили всех гражданских прав и приговорили к ссылке на поселение. Это был сравнительно мягкий приговор. Мы ждали каторги. Но ссылка на поселение это совсем не та административная ссылка, которой я был подвергнут в первый раз.

Ссылка на поселение была бессрочной, и всякая попытка побега каралась дополнительно тремя годами каторжных работ. Сорок пять плетей в добавление к каторжным работам были отменены за два-три года перед тем.

«Вот уже часа два-три, как мы в пересыльной тюрьме, — писал я жене 3 января 1907 года. — Признаюсь, я с нервным беспокойством расставался со своей камерой в «Предварилке». Я так привык к этой маленькой каюте, в которой была полная возможность работать. В пересыльной, как мы знали, нас должны поместить в общую камеру, — что может быть утомительнее этого? А далее — столь знакомые мне грязь, суматоха и бестолковщина этапного пути. Кто знает, сколько времени пройдет, пока мы доедем до места? И кто предскажет, когда мы вернемся обратно? Не лучше ли были бы попрежнему сидеть в № 462, читать, писать и — ждать...

Нас перевезли сюда сегодня внезапно, без предупреждений. В приемной заставили переодеться в арестантское платье. Мы проделали эту процедуру с любопытством школьников. Было интересно видеть друг друга в серых брюках, сером армяке и серой шапке. Классического бубного туза на спине, однако, нет. Нам разрешили сохранить свое белье и свою обувь. Большой взбудораженной компанией мы ввалились в наших новых нарядах в камеру...»

Сохранение своей обуви имело для меня не малое значение: в подметке у меня был прекрасный паспорт, а в высоких каблуках золотые червонцы. Всех нас высылали в село Обдорское, далеко за полярным кругом. До железной дороги от Обдорска полторы тысячи верст, до ближайшего телеграфного поста — 800. Почта приходит раз в две недели. Во время распутицы, весной и осенью, она вовсе не приходит от полутора до двух месяцев. Меры охраны были приняты в пути исключительные. Петербургский конвой считался ненадежным. И действительно, унтер, стоявший в нашем арестантском вагоне на часах,

с шашкой на-голо, декламировал нам свежие революционные стихи. В соседнем вагоне помещался взвод жандармов, который на каждой станции окружал наш вагон. В то же время тюремные власти относились к нам с величайшей предупредительностью. Весы революции и контр-революции еще колебались, и неизвестно было, чья возьмет. Конвойный офицер начал с того, что показал нам постановление своего начальства, предоставлявшее ему право не надевать на нас наручники, что полагалось по закону. 11-го января я писал с пути жене: «Если офицер предупредителен и вежлив, то о команде и говорить нечего: почти вся она читала отчет о нашем процессе и относится к нам с величайшим сочувствием... До последней минуты солдаты не знали, кого и куда повезут. По предосторожностям, с какими их внезапно доставили из Москвы в Петербург, они думали, что им придется вести в Шлиссельбург осужденных на казнь. В приемной «Пересылки» я заметил, что конвойные очень взволнованы и как-то странно услужливы, с оттенком виноватости. Только в вагоне я узнал причину. Как они обрадовались, когда узнали, что перед ними — «рабочие депутаты», осужденные только лишь на ссылку. Жандармы, образующие сверх-конвой, к нам в вагон совершенно не показываются. Они несут внешнюю охрану: окружают вагон на станциях, стоят на часах у наружной стороны двери, а, главным образом, повидимому, наблюдают за конвойными». Письма наши с пути тайно опускались в ящик конвойными солдатами.

До Тюмени мы ехали по железной дороге. Из Тюмени отправились на лошадях. На 14 ссыльных дали пятьдесят два конвойных солдата, не считая капитана, пристава и урядника. Шло под нами около 40 саней. Из Тюмени через Тобольск путь тянулся по Оби. «Каждый день, — писал я жене — мы за последнее время продвигаемся на 90—100 верст к северу, т. е. почти на градус. Благодаря такому непрерывному передвижению, убыль культуры — если

тут можно говорить о культуре — выступает перед нами с резкой наглядностью. Каждый день мы опускаемся еще на одну ступень в царство холода и дикости».

Пересекши сплошь зараженные тифом районы, мы 12 февраля, на 33-й день пути, доехали до Березова, куда некогда сослан был сподвижник Петра князь Меньшиков. В Березове нам дали остановку на два дня. Предстояло еще совершить около 500 верст до Обдорска. Мы гуляли на свободе. Побега власти отсюда не боялись. Назад была одна единственная дорога по Оби, вдоль телеграфной линии: всякий бежавший был бы настигнут. В Березове жил в ссылке землемер Рошковский. С ним я обсуждал вопрос о побеге. Он сказал мне, можно попытаться взять путь прямо на запад, по реке Сосьве, в сторону Урала, проехать на оленях до горных заводов, попасть у Богословского завода на узкоколейную железную дорогу и доехать по ней до Кушвы, где она смыкается с пермской линией. А там — Пермь, Вятка, Вологда, Петербург, Гельсингфорс . . .! Дорог по Сосьве, однако, нет. За Березовом сразу открывается дичь и глушь. Никакой полиции на протяжении тысячи верст, ни одного русского поселения, только редкие остяцкие юрты, о телеграфе нет и помину, нет на всем пути даже лошадей, тракт исключительно олений. Полиция не догонит. Зато можно затеряться в пустыне, погибнуть в снегах. Сейчас февраль, месяц метелей . . .

Доктор Фейт, старый революционер, один из нашей ссыльной группы, научил меня симмулировать ишиас, чтобы остаться на несколько лишних дней в Березове. Я с успехом выполнил эту скромную часть задуманного плана. Ишиас, как известно, не поддается проверке. Меня поместили в больницу. Режим в ней был совершенно свободный. Я уходил на целые часы, когда мне становилось «легче». Врач поощрял мои прогулки. Никто, как сказано, побега из Березова в это время года не опасался. Надо

было решиться. Я высказался за западное направление: напрямик к Уралу.

Рошковский привлек к совету местного крестьянина, по прозвищу «Козья Ножка». Этот маленький, сухой, рассудительный человечек стал организатором побега. Он действовал совершенно бескорыстно. Когда его роль вскрылась, он жестоко пострадал. После октябрьской революции Козья Ножка не скоро узнал, что это именно мне он помог бежать десять лет перед тем. Только в 1923 г. он приехал ко мне в Москву, и встреча наша была горяча. Его облачили в парадное красноармейское обмундирование, водили по театрам, снабдили граммофоном и другими подарками. Вскоре после того старик умер, на своем далеком севере.

Ехать из Березова надо было на оленях. Все дело было в том, чтобы найти проводника, который рискнул бы в это время года тронуться в ненадежный путь. Козья Ножка нашел зырянина, ловкого и бывалого, как большинство зырян. — А он не пьяница? — Как не пьяница? Пьяница лютый. Зато свободно говорит по-русски, по-зырянски и на двух остяцких наречиях: верховом и низовом, почти несхожих между собою. Другого такого ямщика не найти: пройдоша. — Вот этот то пройдоха и предал впоследствии Козью Ножку. Но меня он вывез с успехом.*)

Отъезд был назначен на воскресенье, в полночь. В этот день местные власти ставили любительский спектакль. Я показался в казарме, служивший театром, и, встретившись там с исправником, сказал ему, что чувствую себя гораздо лучше и могу в бли-

*) В книге моей «1905» эта часть побега нарочно рассказана в измененном виде. В те времена излагать все, как было, значило бы наводить царскую полицию на след моих соучастников. Сейчас я надеюсь все же, что Сталин не станет их преследовать, тем более, что преступлению их давно уже истекли все сроки. К тому же на последнем этапе побега, как видно будет дальше, помощь мне оказал и Ленин.

жайшее время отправиться в Обдорск. Это было очень коварно, но совершенно необходимо.

Когда на колокольне ударило 12, я крадучись отправился на двор к Козьей Ножке. Дровни были готовы. Я улегся на дно, подослав вторую шубу, Козья Ножка покрыл меня холодной, мерзлой соломой, перевязал ее накрест, и мы тронулись. Солома таяла и холодные струйки сползали по лицу. Отъехав несколько верст мы остановились. Козья Ножка развязал воз. Я выбрался из под соломы. Мой возница свистнул. В ответ раздались голоса, увы, нетрезвые. Зырянин был пьян, к тому же приехал с приятелями. Это было плохое начало. Но выбора не было. Я пересел на легкие нарты со своим небольшим багажем. На мне были две шубы, мехом внутрь и мехом наружу, меховые чулки и меховые сапоги, двойного меха шапка и такие же рукавицы, словом полное зимнее обмундирование остяка. В багаже у меня было несколько бутылок спирта, т. е. наиболее надежного эквивалента в снежной пустыне.

«С пожарной каланчи Березова — рассказывает Сверчков в своих воспоминаниях — было видно кругом по крайней мере на версту всякое движение по белой пелене снега в город или из города. Основательно предполагая, что полиция станет расспрашивать дежурного пожарного о том, не уехал ли кто-нибудь из города в эту ночь, Рошковский устроил так, что один из жителей повез в это время по тобольскому тракту тушу телятины. Движение это, как и ожидали, было замечено, и полиция, обнаружив через два дня побег Троцкого, прежде всего бросилась за телятиной, вследствие чего потеряла еще два дня бесполезно . .». Но об этом я узнал лишь много времени спустя.

Мы взяли путь по Сосьве. Оленей мой проводник купил на выбор из стада в несколько сот штук. Пьяный возница вначале часто засыпал, и олени останавливались. Нам обоим грозила беда. В конце концов он вовсе перестал откликаться на мои толчки.

Тогда я снял с его головы шапку, волосы его быстро прохватил иней, и хмель стал выходить из него. Мы двинулись дальше. Это было поистине прекрасное путешествие в девственной снежной пустыне, среди елей и звериных следов. Олени бежали бодро, свесив на бок языки и часто дыша: чу-чу-чу-чу... Дорога шла узкая, животные жались в кучу, и приходилось дивиться, как они не мешают друг другу бежать. Удивительные создания, — без голода и без усталости. Они не ели сутки до нашего выезда, да вот уже скоро сутки, как мы едем без кормежки. По объяснению ямщика, они теперь только «разошлись». Бегут ровно, неутомимо, верст 8—10 в час. Корм для себя олени добывали сами. Им на шею привязывали по полену и отпускали на волю. Они выбирали место, где под снегом чуяли мох, разрывали копытами глубокую яму, уходили в нее почти с головою и кормились. У меня было к этим животным примерно тоже чувство, какое должно быть у летчика к своему мотору на высоте нескольких сот метров над океаном. Главный из трех оленей, вожак, захромал. Какая тревога! Необходимо было сменить его. Мы искали остяцкого кочевья. Они раскиданы здесь на расстоянии многих десятков верст друг от друга. Мой проводник находил кочевье по самым неуловимым признакам. За несколько верст он чуял запах дыма. На смену оленей мы потеряли больше суток. Зато на рассвете я был свидетелем прекрасной картины: три остяка при помощи лассо вылавливали на полном ходу заранее намеченных оленей из стада в несколько сот голов, которых собаки гнали на ловцов. Мы снова ехали то лесом, то покрытыми снегом болотами, то огромными лесными пожарищами. На снегу кипятили воду, из снега же и пили чай. Мой проводник предпочитал, впрочем, спирт, но я зорко следил за тем, чтоб он не выходил из нормы.

Дорога как будто одна и та же, но всегда разная. Это видно по оленям. Сейчас мы едем открытым местом: между березовой рощей и руслом реки.

Дорога убийственная. Ветер заносит на наших глазах узкий след, который оставляют за собой нарты. Третий олень ежеминутно оступается с колеи. Он тонет в снегу по брюхо и глубже, делает несколько отчаянных прыжков, взбирается снова на дорогу, теснит среднего оленя и сбивает в сторону вожака. На одном из дальнейших участков пригретая солнцем дорога становится так тяжела, что на передних нартах дважды обрываются постромки: при каждой остановке полозья примерзают к дороге, и нарты трудно сдвинуть с места. После первых двух пробежек олени уже заметно устали... Но солнце скрылось, дорога подмерзла и становилась все лучше. Мягкая, но не топкая, — самая дельная дорога, как говорит ямщик. Олени ступали чуть слышно и тянули нарты шутя. В конце концов пришлось отпрячь третьего и привязать сзади, потому что от безделья олени шарахались в сторону и могли разбить кошеву. Нарты скользили ровно и бесшумно, как лодка по зеркальному пруду. В густых сумерках лес казался еще более гигантским. Дороги я совершенно не видел, передвижения нарт почти не ощущал. Заколдованные деревья быстро мчались на нас, кусты убегали в сторону, старые пни, покрытые снегом, рядом со стройными березками, проносились мимо нас. Все казалось полным тайны. Чу-чу-чу-чу... слышалось частое и ровное дыхание оленей в безмолвии лесной ночи.

Путешествие длилось неделю. Мы проделали 700 километров и приближались к Уралу. Навстречу все чаще попадались обозы. Я выдавал себя за инженера из полярной экспедиции барона Толя. Недалеко от Урала мы наткнулись на приказчика, который раньше служил в этой экспедиции и знал ее состав. Он закидал меня вопросами. К счастью, и он был нетрезв. Я торопился выйти из затруднения при помощи бутылки рома, которую захватил на всякий случай. Все сошло благополучно. По Уралу открывался путь на лошадях. Теперь уж я значился

чиновником и, вместе с акцизным ревизором, объезжавшим свой участок, я доехал до узкоколейки. Станционный жандарм безучастно глядел, как я освобождался из своих остяцких шуб.

На подъездном уральском пути положение мое было далеко еще не обеспеченным: по этой ветке, где замечают каждого «чужого» человека, меня на любой станции могли арестовать по телеграфному сообщению из Тобольска. Я ехал в тревоге. Но когда я через сутки оказался в удобном вагоне пермской дороги, я сразу почувствовал, что дело мое выиграно. Поезд проходил через те же станции, на которых недавно нас с такой торжественностью встречали жандармы, стражники и исправники. Но теперь мой путь лежал в другом направлении, и ехал я с другими чувствами. В первые минуты мне показалось тесно и душно в просторном и почти пустом вагоне. Я вышел на площадку, где дул ветер и было темно, и из груди моей непроизвольно вырвался громкий крик — радости и свободы!

На одной из ближайших остановок я по телеграфу вызвал жену на станцию, где скрещивались поезда. Она не ждала этой телеграммы, во всяком случае не ждала ее так скоро. И не мудренно. Путь наш до Березова длился более месяца. Петербургские газеты были полны описаний нашего продвижения на север. Корреспонденции еще только продолжали поступать. Все считали, что я на пути к Обдорску. Между тем весь обратный путь я проделал в 11 дней. Ясно, что встреча со мной под Петербургом должна была казаться жене невероятной. Тем лучше: встреча все же состоялась.

Вот как рассказано об этом в воспоминаниях Н. И. Седовой: «Получивши телеграмму в Териоках, финляндском селе под Петербургом, где я была совершенно одна с совсем маленьким сыном, я не находила себе места от радости и волнения. В тот же день я получила с пути от Л. Д. длинное письмо, в котором, кроме описания путешествия, заключалась

еще просьба привести ему книги, когда буду ехать в Обдорск, и ряд необходимых на севере вещей. Выходило, будто он сразу раздумал и каким то непостижимым путем мчится обратно и даже назначает свидание на станции, где скрещиваются поезда. Но удивительным образом в тексте телеграммы название станции выпало. На другой день утром выезжаю в Петербург и стараюсь по путеводителю выяснить, до какой именно станции я должна взять билет. Не решаюсь наводить справки и отправляюсь в путь, так и не выяснив название станции. Беру билет до Вятки, выезжаю вечером. Вагон полон помещиков, возвращающихся из Петербурга с покупками из гастрономических магазинов в свои имения — праздновать масляницу; беседы идут о блинах, икре, балыке, винах и пр. Я с трудом выносила эти разговоры, взволнованная предстоящим свиданием, терзаемая мыслью о возможных случайностях... И все же в душе жила уверенность, что свиданье состоится. Я едва дождалась утра, когда встречный поезд должен был притти на станцию Самино: только в дороге я узнала ее название и запомнила его на всю жизнь. Поезда остановились, и наш, и встречный. Я выбежала на станцию — никого нет. Вскочила во встречный поезд, пробежала в страшной тревоге по вагонам, нет и нет, — и вдруг увидела в одном из купе шубу Л. Д. — значит он здесь, здесь, но где? Я выпрыгнула из вагона и сейчас же наткнулась на выбежавшего из вокзала Л. Д., который меня искал. Он негодовал по поводу искажения телеграммы и хотел по этому поводу тут же затеять историю. Я еле отговорила его. Когда он отправил мне телеграмму, он отдавал себе, конечно, отчет в том, что вместо меня его могут встретить жандармы, но считал, что со мной легче ему будет в Петербурге и надеялся на счастливую звезду. Мы сели в купе и продолжали путь вместе. Меня поражала свобода и непринужденность, с которой держал себя Л. Д., смеясь, громко разговаривая в вагоне и на вокзале.

Мне хотелось его сделать совсем невидимым, хорошенько спрятать; ведь за побег ему грозили каторжные работы. А он был у всех на виду и говорил, что это-то и есть самая надежная защита».

С вокзала мы отправились прямо в артиллерийское училище, к нашим верным друзьям. Никогда я не видал людей, до такой степени пораженных, как семья доктора Литкенса. Я стоял, как призрак, в большой столовой, все глядели на меня, не переводя духу. После того, как мы перецеловались, все начали удивляться и не верить себе по второму разу. В конце концов убедились все же, что это я. И сейчас чувствую: это были счастливые часы. Но опасность еще далеко не миновала. Об этом первым напомнил доктор. В некотором смысле она только теперь начиналась. Из Березова уж пошли, конечно, телеграммы о моем исчезновении. В Петербурге меня слишком многие знали по совету депутатов. Мы решили с женой перебраться в Финляндию, где завоеванные революцией свободы держались значительно дольше, чем в Петербурге. Наиболее опасным пунктом был финляндский вокзал. Перед самым отходом поезда в наш вагон вошло несколько жандармских офицеров, ревизовавших поезд. По глазам жены, которая сидела лицом ко входной двери, я прочитал, какой опасности мы подвергаемся. Мы пережили минуту большой нервной нагрузки. Жандармы безучастно поглядели на нас и прошли мимо. Это было самое лучшее, что они могли сделать.

И Ленин, и Мартов уже задолго до этого времени покинули Петербург и жили в Финляндии. Объединение фракций, происшедшее на стокгольмском съезде в апреле 1906 года, уже снова дало глубокую трещину. Революционный отлив продолжался. Меньшевики каялись в безумствах 1905 года. Большевики ни в чем не каялись, а держали курс на новую революцию. Я посетил Ленина и Мартова, которые жили в соседних селениях. В комнате Мартова царил, как всегда, неистовый беспорядок. В углу были

навалены газеты в человеческий рост. Во время беседы Мартов время от времени нырял в эту кучу и доставал нужную ему статью. На столе лежали рукописи, покрытые пеплом. Непротертое пенснэ свисало на тонком носу. Как всегда, у Мартова было множество мыслей, тонких, блестящих, но не было одной мысли, самой главной. Он не знал, что предпринять. В комнате Ленина царил, как всегда, образцовый порядок. Ленин не курил. Нужные газеты с пометками лежали под рукой. А главное — была несокрушимая, хотя и выжидательная, уверенность в этом прозаическом, но необыкновенном лице. Еще неясно было, есть ли это окончательный отлив революции или только заминка перед новым подъемом. Но и в том и в другом случае одинаково необходимы были борьба со скептиками, теоретическая проверка опыта 1905 года, воспитание кадров для новой волны подъема или для следующей революции. Ленин одобрял в беседе мои тюремные работы, но укорял за то, что я не делаю необходимого организационного вывода, т. е. не перехожу на сторону большевиков. Он был прав. На прощанье он дал мне адреса в Гельсингфорсе, которые оказались для меня неоценимы. Указанные Лениным друзья помогли мне с семьей укромно устроиться в Оглбю, под Гельсингфорсом, где некоторое время после нас жил и Ленин. Гельсингфорский полицмейстер был активист, т. е. революционный финский националист. Он обещал предупредить меня в случае какой-либо опасности со стороны Петербурга. В Оглбю я прожил несколько недель с женой и маленьким сыном, который родился, когда я сидел в тюрьме. Здесь в уединении я описал свое путешествие в книжке «Туда и Обратно» и на полученный гонорар выехал заграницу через Стокгольм. Жена с сыном оставалась пока в России. До границы меня провожала молодая финская активистка. В тот период это были друзья. В 1917 году они стали фашистами и заклятыми врагами октябрьской революции.

На скандинавском пароходе я въезжал в новую эмиграцию, которая длилась десять лет.

ГЛАВА XVI

Вторая эмиграция и немецкий социализм

Партийный съезд 1907 г. заседал в лондонской социалистической церкви. Это был многолюдный, долгий, бурный и хаотический съезд. В Петербурге еще жива была вторая Дума. Революция шла на убыль, но интерес к ней, даже в английских политических кругах, был еще очень велик. Именитых делегатов съезда видные либералы приглашали к себе на дом, чтоб показать гостям. Начавшийся революционный отлив уже сказался, однако, в ослаблении партийной кассы. Не только на обратный путь, но и на доведение съезда до конца не хватало средств. Когда эта печальная весть прозвучала под сводами церкви, врезавшись в прения о вооруженном восстании, делегаты с тревожным недоумением глядели друг на друга. Что делать? Не оставаться же в лондонской церкви? Но выход нашелся, и совершенно неожиданный. Один из английских либералов согласился дать русской революции взаймы, помнится, три тысячи фунтов стерлингов. Но он потребовал, чтоб под векселем революции подписались все делегаты съезда. Англичанин получил в свои руки документ, на котором несколько сот подписей были начертаны знаками всех народов России. Уплаты по векселю пришлось, однако, ждать долго. В годы реакции и войны партия и думать не могла о таких суммах. Только советское правительство выкупило вексель лондонского съезда. Свои обязательства революции выполняет, хотя, обычно, с запозданием.

В первые дни съезда меня остановил в церковных кулуарах высокий угловатый, круглолицый и скуластый человек в круглой шляпе. «Я ваш почита-

тель», сказал он с приветливыми смешком. — Почитатель? спросил я недоумевая. — Оказалось, что речь шла о моих политических памфлетах, написанных из тюрьмы. Мой собеседник оказался Максимом Горьким. Я видел его живым впервые. — Мне, надеюсь, нет нужды говорить, что я ваш почитатель, ответил я приветом на привет. Горький был в тот период близок к большевикам. С ним находилась известная артистка Андреева. Мы вместе осматривали Лондон. «Понимаете — говорил Горький, с изумлением кивая на Андрееву: на всех языках говорит». Сам Горький говорил только на русском, но зато хорошо. Когда нищий захлопывал за нами дверцу кэба, Горький обращался просительно: «Надо бы ему дать эти самые пенсы». На что Андреева отвечала: «Дадено, Алешенька, дадено».

На лондонском съезде я ближе сошелся с Розой Люксембург, которую знал еще с 1904 года. Маленького роста, хрупкая, даже болезненная, с благородным очерком лица, с прекрасными глазами, излучавшими ум, она покоряла мужеством характера и мысли. Ее стиль — напряженный, точный, беспощадный — останется навсегда зеркалом ее героического духа. Это была разносторонная богатая оттенками натура. Революция и ее страсти, человек и его искусство, природа, ее птицы и травы одинаково способны были заставить звучать ее душу, где было много струн. «Мне нужно же иметь кого-нибудь, — писала она Луизе Каутской, — кто верит мне, что я только по недоразумению верчусь в водовороте мировой истории, в действительности же рождена для того, чтобы пасти гусей». (173). Сколько-нибудь близких личных отношений у меня с Розой не было: для этого мы слишком мало и редко встречались. Я любовался ею со стороны. И все же может быть я в то время недостаточно высоко ценил ее... По вопросу о так называемой перманентной революции Люксембург отстаивала ту же принципиальную позицию, что и я. В кулуарах у нас с Лени-

ным возник на эту тему полушутливый спор. Делегаты окружили нас тесным кольцом. — Это все потому, говорил Ленин про Розу, что она недостаточно хорошо говорит по русски. — Зато, отвечал я, она хорошо говорит по марксистски. — Делегаты смеялись, и мы вместе с ними.

На заседании съезда я имел снова изложить свой взгляд на роль пролетариата в буржуазной революции и, в частности, на его отношение к крестьянству. Ленин в совсем заключительном слове сказал по этому поводу: «Троцкий стоит на точке зрения общности интересов пролетариата и крестьянства в современной революции», поэтому «здесь налицо солидарность в основных пунктах вопроса об отношении к буржуазным партиям». Как это похоже на легенду о том, будто в 1905 году я «игнорировал» крестьянство! Остается еще прибавить, что моя программная лондонская речь 1907 г., которую я и сегодня считаю совершенно правильной, неоднократно перепечатывалась после октябрьской революции, как образец большевистского отношения к крестьянству и буржуазии.

Из Лондона я отправился в Берлин, навстречу жене, которая должна была приехать из Петербурга. К этому времени бежал уже из Сибири Парвус. В Дрездене в социалдемократическом издательстве Кадена он устроил издание моей книжки «Туда и обратно». Для брошюры, посвященной моему побегу, я взялся написать предисловие о самой революции. Из этого предисловия выросла в течение нескольких месяцев книга «Russland in der Revolution». Втроем — моя жена, Парвус и я — отправились пешком по саксонской Швейцарии. Стоял конец лета, дни были прекрасны, по утрам тянул холодок, мы пили молоко и воздух гор. Попытка наша с женой спуститься в долину без дороги едва не стоила нам обоим головы. Мы вышли в Богемию, в городишко Гиршберг, дачное место маленьких чиновников и прожили там ряд недель. Когда деньги оказывались на исходе — а

это бывало периодически — Парвус или я писали спешно статью в социалдемократическую печать. В Гиршберге я написал для большевистского издательства в Петербурге книжку о германской социалдемократии. Я здесь второй раз (впервые в 1905 г.) высказал ту мысль, что гигантская машина германской социалдемократии может в момент кризиса буржуазного общества оказаться главной силой консервативного порядка. В то время я сам не предвидел, однако, в какой мере это теоретическое допущение подтвердится на деле. Из Гиршберга мы разъехались в разные стороны. Я — на конгресс в Штутгарт, жена — в Россию за ребенком, Парвус — в Германию.

На конгрессе Интернационала чувствовалось еще дуновение русской революции 1905 года. Равнение шло по левому флангу. Но уже заметно было разочарование в революционных методах. К русским революционерам относились еще с интересом, но в нем был уже легкий оттенок иронии: опять, мол, к нам вернулись. Когда я проезжал в феврале 1905 г. через Вену в Россию, я спрашивал Виктора Адлера, что он думает об участии социалдемократии в будущем временном правительстве. Адлер ответил мне по адлеровски: у вас еще слишком много дела с существующим правительством, чтоб ломать себе голову над будущим. В Штутгарте я напомнил Адлеру эти слова. «Признаюсь, вы оказались ближе к временному правительству, чем я ожидал». Адлер был вообще очень расположен ко мне: ведь всеобщее избирательное право для Австрии было по существу дела завоевано Петербургским Советом Рабочих Депутатов.

Английский делегат Квелч, открывший мне в 1902 г. доступ в Британский музей, непочтительно назвал во время штутгартского конгресса дипломатическую конференцию собранием разбойников. Это не могло понравиться князю Бюлову. Вюртембергское правительство под нажимом из Берлина выслало

Квелча. Бебелю сразу стало не по себе. Партия не решалась что бы то ни было предпринимать против высылки. Не было даже демонстрации протеста. Международный конгресс стал похож на школьную комнату: дерзкого ученика высылают из класса, остальные молчат. За мощными цифрами германской социалдемократии явственно почуялась тень бессилия.

В октябре (1907 г.) я был уже в Вене. Скоро приехала и жена с ребенком. В ожидании новой революционной волны мы поселились за городом в Hütteldorf'е. Ждать пришлось долго. Из Вены нас вынесла через семь лет не революционная, а совсем другая волна, та, что кровью пропитала почву Европы. Почему мы выбрали Вену, в то время, как вся остальная эмиграция сосредоточивалась в Швейцарии и Париже? В этот период я стоял ближе всего к немецкой политической жизни. В Берлине поселиться нельзя было по полицейским причинам. Мы остановились на Вене. Но в течение всех этих семи лет я гораздо внимательнее следил за германской жизнью, чем за австрийской, которая слишком напоминала возню белки в колесе.

Виктора Адлера, общепризнанного вождя партии, я знал с 1902 года. Теперь настало время знакомства с его ближайшим окружением и с партией в целом.

С Гильфердингом я познакомился летом 1907 года в доме Каутского. Гильфердинг проходил тогда через высшую точку своей революционности, что не мешало ему питать ненависть к Розе Люксембург и пренебрежение к Карлу Либкнехту. Но для России он готов был в те времена, как и многие другие, принять самые крайние выводы. Он хвалил мои статьи, которые «Neue Zeit» успела еще до моего побега заграницу перевести из русских изданий, и, неожиданно для меня, с первых же слов предложил мне перейти на «ты». Наши отношения приняли, вследствие этого, внешнюю форму близости. Никакой мо-

рально-политической основы под этой близостью не было.

Гильфердинг в тот период с великим презрением третировал неподвижную и пассивную германскую социалдемократию, противопоставляя ей австрийскую активность. Критика эта, однако, сохраняла комнатный характер. Официально Гильфердинг оставался литературным чиновником на службе германской партии и — только. Приезжая в Вену, Гильфердинг бывал у меня и сводил меня вечером в кафэ со своими австро-марксистскими друзьями. Во время наездов в Берлин я посещал Гильфердинга. Вместе с ним мы имели в одном из берлинских кафэ свидание с Макдональдом. Переводчиком служил Эдуард Бернштейн. Гильфердинг ставил вопросы, Макдональд отвечал. Сейчас я не помню ни вопросов, ни ответов, так как они не были замечательны ничем, кроме своей банальности. Я мысленно спрашивал себя: кто из этих трех людей дальше отстоит от того, что я привык понимать под социализмом? — и затруднялся ответом.

Во время брестских переговоров я получил от Гильфердинга письмо. Ничего значительного я ждать не мог, но все же я не без интереса вскрыл конверт: после октябрьского переворота это был первый непосредственный голос с социалистического Запада. И что же? В этом письме Гильфердинг просил меня об освобождении какого-то пленного из распространенной породы венских «докторов». О революции в письме не было ни слова. Между тем, письмо было написано на «ты». Я достаточно хорошо знал фигуру Гильфердинга. Мне казалось, что я не делал себе на его счет никаких иллюзий. И все же я не верил своим глазам. Помню, с какой живостью Ленин спросил меня: вы, говорят, от Гильфординга письмо получили? — Получил. — Ну, что? — Хлопочет за пленного свояка. — А что говорит о революции? — О революции ничего. — Ни-че-го? — Ничего! — Не может быть! — Ленин смотрел на

меня во все глаза. Я имел над ним преимущество: я уже успел усвоить ту мысль, что для Гильфердинга октябрьская революция и брестская трагедия были только окказией, чтоб похлопотать за свояка. Я избавляю читателя от воспроизведения тех двух-трех эпитетов, в которые разрешилось недоумение Ленина.

Гильфердинг свел меня впервые со своими венскими друзьями: Отто Бауэром, Максом Адлером и Карлом Реннером. Это были очень образованные люди, которые в разных областях знали больше меня. Я с живейшим, можно бы почти сказать, почтительным вниманием, слушал их первую беседу в кафе «Централь». Но уже очень скоро к моему вниманию стало примешиваться недоумение. Эти люди не были революционерами. Более того: они представляли собою человеческий тип, противоположный типу революционера. Это выражалось во всем: в их подходе к вопросам, в их политических замечаниях и психологических оценках, в их самодовольстве, — не самоуверенности, а самодовольстве, — мне даже казалось, что я чувствовал филистерство в тембре их голосов.

Поразительным показалось мне то, что эти образованные марксисты оказывались совершенно неспособными владеть методом Маркса, как только подходили к большим проблемам политики, особенно ее революционным поворотам. Прежде всего я убедился в этом на Реннере. Мы поздно засиделись в кафе, трамваев в Хюттельдорф, где я жил, уже не было, и Реннер предложил мне переночевать у него. Тогда этот образованный и талантливый габсбургский чиновник был очень далек от мысли, что злополучная судьба Австро-Венгрии, историческим адвокатом которой он состоял, сделает его через десяток лет канцлером австрийской республики. На пути из кафе мы говорили о перспективах развития России, где к тому моменту уже утвердилась контр-революция. Реннер рассуждал об этих вопросах с учтивостью и безразличием образованного иностранца. Очередное австрийское министерство барона Бекка интересовало

его гораздо более. Суть его воззрений на Россию сводилась к тому, что союз помещиков и буржуазии, нашедший свое выражение в конституции Столыпина после государственного переворота 3-го июня 1917 года, вполне соответствует развитию производительных сил страны и, следовательно, имеет все шансы удержаться. Я возразил ему, что на мой взгляд правящий блок помещиков и буржуазии подготовляет вторую революцию, которая вероятнее всего поставит у власти русский пролетариат. Помню беглый, недоумевающий и снисходительный взгляд Реннера под ночным фонарем. Он, вероятно, считал мой прогноз невежественными бреднями, вроде апокалиптических предсказаний одного австрийца-мистика, который на международном социалистическом конгрессе в Штутгарте, за несколько месяцев перед тем, предсказывал день и час будущей мировой революции. — Вы так думаете? — спросил Реннер. Конечно, может быть, я недостаточно хорошо знаю условия России, — прибавил он с убийственной вежливостью. У нас не оказывалось под ногами общей почвы для продолжения разговора. Мне стало ясно, что этот человек так же далек от революционной диалектики, как и самый консервативный из египетских фараонов.

Первые впечатления в дальнейшем только углублялись. Эти люди много знали и способны были — в рамках политической рутины — писать хорошие марксистские статьи. Но это были чужие для меня люди. В этом я убеждался тем тверже, чем больше расширялся круг моих связей и наблюдений. В непринужденной беседе между собою они гораздо откровеннее, чем в статьях и речах, обнаруживали то неприкрытый шовинизм, то хвастовство мелкого приобретателя, то священный трепет перед полицией, то пошлость в отношении к женщине. И я изумленно восклицал про себя: «Вот так революционеры!» Я имею в виду не рабочих, у которых тоже можно, конечно, найти немало мещанских черт, только более простых и наивных. Нет, я встречался с цветом до-

военного австрийского марксизма, с депутатами, писателями и журналистами. В этих встречах я научился понимать, какие разнородные элементы способна вмещать психика одного и того же человека, и как далеко от пассивного восприятия известных частей системы до ее психологического претворения в целом, до перевоспитания себя в духе системы. Психологический тип марксиста может сложиться только в эпоху социальных потрясений, революционного разрыва традиций и привычек. Австро-марксист же слишком часто оказывался филистером, изучившим те или другие части теории Маркса, как другой изучил право (jus), и живущим процентами с «Капитала». В старой императорской иерархической, суетной и тщеславной Вене марксисты академики сладостно именовали друг друга «Herr Doctor». Рабочие нередко называли академиков «Genosse Herr Doctor». За все семь лет проживания в Вене я ни с одним из этой верхушки не мог поговорить по душам, хотя состоял членом австрийской социалдемократии, посещал ее собрания, участвовал в ее демонстрациях, сотрудничал в ее изданиях и делал иногда небольшие доклады на немецком языке. Я ощущал социалдемократических лидеров чужими людьми и в то же время без труда находил общий язык с социалдемократическим рабочим на собрании или на первомайской манифестации.

Переписка Маркса и Энгельса была для меня в этих условиях самой нужной и самой близкой из книг, — величайшей и надежнейшей проверкой не столько своих взглядов, сколько всего мироощущения. Венские лидеры социалдемократии употребляли те же формулы, которые употреблял я. Но стоило любую из этих формул повернуть на 5 градусов вокруг оси, как оказывалось, что мы вкладываем совсем не то содержание в одни и те же понятия. Наша солидарность была временной, поверхностной и мнимой. Переписка Маркса и Энгельса была для меня не теоретическим, но психологическим откровением. Toutes

proportions gardées я убеждался на каждой странице, что с этими двумя меня связывает непосредственное психологическое сродство. Их отношение к людям и было мне близко. Я догадывался о том, чего они не досказывали, разделял их симпатии, негодовал и ненавидел вместе с ними. Маркс и Энгельс были революционеры насквозь. У них не было при этом и тени сектантства или аскетизма. Оба они, Энгельс особенно, могли в любой момент сказать о себе, что ничто человеческое им не чуждо. Но революционный кругозор, перешедший в нервы, возвышал их всегда над случайностями судьбы и над делами рук человеческих. Мелочность была несовместима не только с ними, но и с их присутствием. Пошлость не могла прилипнуть даже к их подошвам. Их оценки, их симпатии, их шутки, даже самые обыденные, всегда овеяны горным воздухом духовного благородства. Они могут отозваться о человеке убийственно, но они не будут сплетничать. Они могут быть беспощадны, но не вероломны. Для внешнего блеска, титулов, чинов, званий у них есть только спокойное презренье. То, что филистеры и пошляки считали их аристократизмом, было на самом деле только их революционным превосходством. Главная его черта — полная органическая независимость от официального общественного мнения, всегда и при всяких условиях. При чтении их писем я чувствовал еще ярче, чем при чтении их произведений: то самое, что интимно связывало меня с миром Маркса — Энгельса, непримиримо противопоставляло меня австро-марксистам.

Эти люди кичились реализмом и деловитостью. Но и здесь они мелко плавали. В 1907 г. партия, с целью увеличения доходов, затеяла создать свою собственную хлебную фабрику. Это было грубейшей авантюрой, принципиально опасной, практически безнадежной. Я повел против этой затеи с самого начала борьбу, но встречал у венских марксистов только снисходительную улыбку превосходства. Почти через два десятка лет австрийской партии пришлось

после всяких мытарств передать с ущербом и срамом свое предприятие в частные руки. Защищаясь от недовольства рабочих, принесших бесцельно столько жертв, Отто Бауэр в доказательство необходимости отказаться от фабрики, сослался задним числом и на те предупреждения, какие я делал в самый момент зарождения дела. Но он не объяснил рабочим, почему он не видел того, что видел я, и почему не внял моим предостережениям, которые вовсе не были плодом личной проницательности. Я исходил не из коньюнктуры хлебного рынка и не из состояния партийной массы, а из положения партии пролетариата в капиталистическом обществе. Это казалось доктринерством, но оказалось наиболее реалистическим критерием. Подтверждение моих предупреждений означало только превосходство марксистского метода над его австрийской подделкой.

Виктор Адлер был во всех отношениях неизмеримо выше своих сотрудников. Но он давно стал скептиком. Его темперамент борца расходовался в австрийской сутолоке по мелочам. Перспектив не видно было, и Адлер иногда демонстративно поворачивался к ним спиною. «Ремесло пророка — неблагодарное ремесло, а в Австрии особенно». Это постоянный припев адлеровских речей. «Как угодно, — говорил он в кулуарах штутгартского конгресса по поводу упомянутого уже австрийского пророчества, — мне лично политические предсказания на основе апокалипсиса приятнее, чем пророчества на основе материалистического понимания истории». Это была, разумеется, шутка. Однако же, не только шутка. И это меня противопоставляло Адлеру в самом для меня жизненном пункте: без широкого исторического прогноза я не представляю себе не только политической деятельности, но и духовной жизни вообще. Виктор Адлер стал скептиком и, в этом качестве, терпел все и приспособлялся ко всему, особенно же к национализму, разъедавшему австрийскую социалдемократию насквозь.

Отношения мои с верхами партии еще более испортились, когда я открыто выступил против шовинизма австро-немецкой социалдемократии. Это произошло в 1909 г. Во время встреч с балканскими, особенно сербскими социалистами, в частности, с Дмитрием Туцовичем, убитым впоследствии в качестве офицера, во время балканской войны, мне приходилось не раз слышать возмущенные жалобы на то, что вся сербская буржуазная пресса злорадно цитирует шовинистические выпады «Arbeiter Zeitung» против сербов, как доказательство того, что международная солидарность рабочих не более, как лживая сказка. Я написал для «Neue Zeit» очень осторожную и умеренную статью против шовинизма «Arbeiter Zeitung». После больших колебаний Каутский напечатал мою статью. Старый русский эмигрант С. Л. Клячко, с которым я был очень дружен, передал мне на другой же день, что в руководящих кругах партии царит против меня величайшее возмущение. «Как он смел!» . . . Отто Бауэр и другие австро-марксисты в частных беседах соглашались, что Лейтнер, редактор иностранного отдела, заходит слишком далеко. Они отражали при этом мнение самого Адлера, который, мирясь с шовинистическими крайностями, не одобрял их. Но пред лицом дерзкого вмешательства со стороны все руководители почувствовали себя единодушными. Отто Бауэр подошел в одну из ближайших суббот к столику в кафе, где мы сидели с Клячко, и стал сурово отчитывать меня. Признаюсь, я даже растерялся под потоком его слов. Меня поразил не столько наставнический тон Бауэра, сколько характер его доводов. «Какое значение имеют статьи Лейтнера? — говорил он с комичным высокомерием. — Внешняя политика для Австро-Венгрии не существует. Ни один рабочий этого не читает. Это не имеет ни малейшего значения» . . . Я слушал, широко раскрыв глаза. Эти люди, оказывается, не верили не только в революцию, но и в войну. Они писали в первомайских манифестах о войне и революции, но

никогда не брали этого в серьез и совершенно не замечали, что над той муравьиной кучей, в которой они с таким самозабвением возились, история уже занесла гигантский солдатский сапог. Через шесть лет им пришлось убедиться, что внешняя политика существует и для Австро-Венгрии. Сами же они с начала войны заговорили тем самым бесстыдным языком, которому их обучали Лейтнер и ему подобные шовинисты.

В Берлине царил другой дух, может быть немногим лучший по существу, но другой. Смешного венского мандаринства академиков там почти не чувствовалось. Отношения были проще. Меньше было национализма, по крайней мере, он не имел повода проявляться так часто и крикливо, как в разноплеменной Австрии. Национальное чувство как бы растворялось до поры до времени в партийной гордости: самая мощная социалдемократия, первая скрипка Интернационала!

Для нас, русских, немецкая социалдемократия была матерью, наставницей, живым образцом. Мы идеализировали ее на расстоянии. Имена Бебеля и Каутского произносились с благоговением. Несмотря на упомянутые выше тревожные теоретические предчувствия мои в отношении немецкой социалдемократии, я находился в тот период под ее несомненным обаянием. Этому содействовал в значительной мере и тот факт, что я жил в Вене и, наезжая время от времени в Берлин, сравнивал две социалдемократические столицы и говорил себе в утешение: нет, Берлин не Вена.

В Берлине мне пришлось раза два посетить еженедельные свидания левых. Они происходили по пятницам в ресторане Rheingold. Главной фигурой на этих встречах был Франц Меринг. Бывал здесь и Карл Либкнехт, который всегда приходил с опозданием и уходил раньше других. Меня привел первый раз Гильфердинг. Он в то время еще считал себя левым, хотя уже тогда ненавидел Розу Люксембург той ненавистью, которую насаждал в Австрии Дашин-

ский. Из бесед у меня не осталось в памяти ничего значительного. Поддергивая щекою — у него был тик — Меринг спрашивал меня иронически, какие из его «бессмертных произведений» переведены на русский язык? Гильфердинг в беседе упомянул о немецких левых, как о революционерах. «Какие мы — революционеры? — перебил его Меринг, — революционеры — это они!» — и он кивнул в мою сторону. Я слишком мало знал Меринга, слишком часто встречался с насмешливым отношением филистеров к русской революции и потому не знал, шутит ли Меринг или говорит серьезно. Но он говорил серьезно и показал это дальнейшей своей жизнью.

Впервые я увидел Каутского в 1907 г. Привел меня к нему Парвус. Не без волнения поднимался я по лестнице чистенького домика во Фриденау, под Берлином. Беленький, веселый старичок с ясными голубыми глазами приветствовал меня по-русски: «здравствуйте». В совокупности с тем, что я знал о Каутском из его книг, это создавало очень привлекательный образ. Особенно подкупало отсутствие суетности, что, как я понял впоследствии, было результатом бесспорности в то время его авторитета и вытекавшего отсюда внутреннего спокойствия. Противники называли Каутского «папой» Интернационала. Нередко величали его так и друзья, но с лаской. Старуха-мать Каутского, писательница тенденциозных романов, которые она посвящала «своему сыну и своему учителю», получила ко дню своего семидесятипятилетия от итальянских социалистов приветствие: alla mamma del papa («папиной маме»).

Главную свою теоретическую миссию Каутский видел в примирении реформы и революции. Но сам он идейно сложился в эпоху реформы. Реальностью для него была только реформа. Революция — туманной исторической перспективой. Приняв марксизм, как готовую систему, Каутский популяризовал ее, как школьный учитель. Большие события оказались ему не по плечу. Его закат начался уже с революции

1905 года. Личная беседа с Каутским давала мало. Его ум угловат, сух, лишен находчивости, не психологичен, оценки схематичны, шутки банальны. По этим же причинам Каутский крайне слаб, как оратор.

Дружба с Розой Люксембург совпала с лучшим периодом в духовном творчестве Каутского. Но уже вскоре после революции 1905 года в отношениях между ними появились первые признаки охлаждения. Каутский весьма сочувствовал русской революции и не плохо комментировал ее — издалека. Но он был органически враждебен перенесению революционных методов на германскую почву. Перед уличной демонстрацией в трептовском парке, я застал на квартире у Каутского Розу в жестоком споре с Каутским. Хотя они говорили еще на «ты» и в тоне близкой дружбы, но в репликах Розы явственно слышалось сдерживаемое негодование, а в репликах Каутского — глубокое внутреннее смущение, прикрываемое растерянной шуткой. На демонстрацию мы пошли вместе: Роза, Каутский, жена его, Гильфердинг, покойный Густав Экштейн и я. Острые стычки были и в пути: Каутский хотел быть только зрителем, Роза Люксембург — участницей.

Антагонизм между ними открыто прорвался наружу в 1910 г. по вопросу о борьбе за прусское избирательное право. Каутский развил тогда стратегическую философию strategie d'usure, истощения врага (Ermattungsstrategie) в противовес стратегии низвержения врага (Niederwerfungsstrategie). Дело шло о двух непримиримых тенденциях. Линия Каутского была линией все более глубокого приспособления к существующему строю. «Истощалось» при этом не буржуазное общество, а революционный идеализм рабочих масс. Все филистеры, все чиновники, все карьеристы были на стороне Каутского, который ткал для них идейные покровы, чтобы прикрыть их натуральную наготу.

Пришла война, политическая стратегия истощения была вытеснена окопной. Каутский также при-

способлялся к войне, как раньше к миру. А Роза показала, как она понимала верность своим идеям...

Мне вспоминается, как на квартире у Каутского чествовали 60-летие Ледебура. Среди десятка гостей присутствовал и Август Бебель, который вступил уже тогда в восьмой десяток. Это был период, когда партия достигла своей кульминации. Тактическое единство казалось полным. Старики регистрировали успехи и уверенно глядели в будущее. Виновник торжества, Ледебур, рисовал за ужином забавные карикатуры. На этом тесном празднике я и познакомился с Бебелем, и его Юлией. Присутствовавшие, в том числе и Каутский, ловили каждое слово старого Августа. Обо мне нечего и говорить.

В личности Бебеля воплощалось медленное и упорное движение нового класса снизу вверх. Этот сухощавый старик казался весь созданным из терпеливой, но несокрушимой воли, устремленной к единой цели. В своем мышлении, в своем красноречии, в своих статьях и книгах, Бебель совершенно не знал таких затрат духовной энергии, которые не служат непосредственно практической задаче. В этом и состояла особая красота его политического пафоса. Он отражал собою класс, который учится в немногие свободные часы, дорожит каждой минутой и жадно поглощает то, что строго необходимо. Какой несравненный человеческий образ! Бебель умер в период бухарестской мирной конференции, между балканской войной и мировой. На вокзале в Плоэштах, в Румынии, я узнал эту весть. Она казалась невероятной: «Бебель умер. Как же социалдемократия?» Сразу пришли на ум слова Ледебура о внутренней жизни германской партии: 20 проц. радикалов, 30 проц. оппортунистов, остальные идут за Бебелем.

В преемники себе Бебель облюбовал Гаазе. Старика привлекал, несомненно, идеализм Гаазе — не широкий революционный идеализм, которого у Гаазе не было, а более узкий, более личный и житейский, вроде готовности во имя партийных интересов отка-

заться от богатой адвокатской практики в Кенигсберге. Об этом, не бог весть каком, героическом самопожертвовании Бебель — к великому смущению русских революционеров — говорил даже в своей речи на партийном съезде, кажется в Иене, настойчиво рекомендуя Гаазе на пост второго председателя центрального комитета партии. Я довольно хорошо знал Гаазе. После одного из партейтагов мы совершили вместе небольшое путешествие по Германии, вместе осматривали Нюрнберг. Мягкий и внимательный в личных отношениях, Гаазе в политике оставался до конца тем, чем только и мог быть по всей своей природе: честной посредственностью, провинциальным демократом без революционного темперамента и теоретического кругозора. В философской области он с некоторой застенчивостью называл себя кантианцем. Во всяком критическом положении он склонен был воздерживаться от бесповоротных решений, прибегая к полумерам и выжиданию. Немудрено, если партия независимых избрала его впоследствии в свои вожди.

Совсем иного типа был Карл Либкнехт. Я знал его в течение многих лет, но встречался с ним с большими перерывами. Берлинская квартира Либкнехта была штаб-квартирой русских эмигрантов. Когда надо было поднять голос протеста против услуг германской полиции царизму, мы обращались прежде всего к Либкнехту, и он стучался во все двери и во все черепа. Образованный марксист, Либкнехт не был, однако, теоретиком. Это был человек действия. Натура импульсивная, страстная, самоотверженная, он обладал политической интуицией, чутьем массы и обстановки, несравненным мужеством инициативы. Это был революционер. Именно поэтому он всегда оставался наполовину чужаком в доме германской социалдемократии, с ее чиновничьей размеренностью и всегдашней готовностью отступить. Сколько филистеров и пошляков на моих глазах иронически поглядывали на Либкнехта сверху вниз!

На социалдемократическом съезде в Иене, в начале сентября 1911 г., мне, по инициативе Либкнехта, предложено было выступить по поводу насилий царского правительства над Финляндией. Прежде, однако, чем дело дошло до моего выступления, получилось телеграфное сообщение об убийстве Столыпина в Киеве. Бебель сейчас же подверг меня расспросам: что означает покушение? какая партия за него может быть ответственна? не обращу ли я своим выступлением на себя нежелательное внимание немецкой полиции? — Вы опасаетесь, — спросил я осторожно старика, вспомнив историю с Квелчем, в Штутгарте, — что мое выступление может вызвать известные затруднения? — Да, ответил мне Бебель, — признаюсь, я предпочел бы, чтобы вы не выступали. — В таком случае, не может быть и речи о моем выступлении. Бебель вздохнул с облегчением. Через минуту ко мне в тревоге подбежал Либкнехт. — Верно ли, что они вам предложили не выступать? И вы согласились? — Как же я мог не согласиться? ответил я, оправдываясь, — ведь Бебель здесь хозяин, а не я. — Своему негодованию Либкнехт дал исход в речи, где он нещадно громил царское правительство, не взирая на сигналы президиума, не желавшего создавать осложнения в виде оскорбления величества. Все дальнейшее развитие было заложено в этих небольших эпизодах . . .

* * *

Когда чешские профессиональные организации встали в оппозицию к немецкому руководству, австро-марксисты выдвинули против раскола профессиональных союзов аргументацию, довольно искусно подделанную под интернационализм. На международном конгрессе в Копенгагене доклад по этому вопросу делал Плеханов. Как и все русские, он полностью и без ограничений поддерживал немецкую позицию против чешской. Кандидатуру Плеханова выдвинул старик Адлер, которому удобнее было иметь

в таком деликатном деле русского, в качестве главного обвинителя против славянского шовинизма. Я, разумеется, не мог иметь ничего общего с жалкой национальной ограниченностью таких людей, как Немец, Соукуп или Шмераль, который настойчиво убеждал меня в правоте чехов. Но в то же время, я слишком близко наблюдал внутреннюю жизнь австрийского рабочего движения, чтобы валить всю или хотя бы главную вину на чехов. Многое говорило за то, что в массе чешская партия была более радикальна, чем австро-немецкая, и что законное недовольство массы чешских рабочих оппортунистическим руководством Вены использовывается ловко чешскими шовинистами, типа Немеца.

По дороге на копенгагенский конгресс из Вены, я на одном из вокзалов, где приходилось пересаживаться, столкнулся неожиданно с Лениным, ехавшим из Парижа. Нам пришлось дожидаться около часу, и у нас вышел большой разговор, очень дружелюбный в первой части и мало дружелюбный во второй. Я доказывал, что в отколе чешских профессиональных союзов виновато в первую голову венское руководство, которое превыспренне призывает рабочих всех стран, в том числе и Чехии, к борьбе, а кончает всегда закулисной сделкой с монархией. Ленин слушал с огромным интересом. У него была особая способность внимания, когда он требовательно выискивал в речи собеседника то, что ему было нужно, глядя мимо собеседника, далеко в пространство. Разговор наш принял, однако, совсем другой характер, когда я рассказал Ленину о своей последней статье в «Форвертсе» по поводу русской социалдемократии. Статья была написана к конгрессу, и подвергала резкой критике как меньшевиков так и большевиков. Особенно острым моментом в статье был вопрос о так называемых «экспроприациях». После разбитой революции вооруженные экспроприации и террористические нападения становятся орудием дезорганизации самой революционной партии. Лондонский съезд голосами

меньшевиков, поляков и части большевиков запретил экспроприации. На крики с мест: «А Ленин? а Ленин?» — он загадочно усмехался. Экспроприации после лондонского съезда продолжались, причиняя вред партии. На этом пункте я сосредоточил в «Форвертсе» удар. Неужели так и написали? — спрашивал Ленин укорительно, когда я, по его же настоянию, передавал ему на память главные мысли и формулировки статьи. — А нельзя ли ее по телеграфу задержать? — Нет, ответил я, статья должна была появиться сегодня утром, да и зачем же ее задерживать? статья правильная.

На самом деле статья не была правильна, ибо рассчитывала, что партия сложится путем слияния большевиков и меньшевиков, с отсечением крайностей, тогда как на самом деле партия сложилась путем беспощадной борьбы большевиков против меньшевиков. Ленин пытался добиться в российской делегации осуждения моей статьи. Это был момент наиболее острого нашего столкновения за всю жизнь. Ленин был к тому же нездоров, страдал от острой зубной боли, вся голова у него была перевязана. В делегации создалось достаточно враждебное отношение к статье и ее автору, так как меньшевики были не менее недовольны статьей, которая принципиально была направлена, главным образом, против них. — «А какая возмутительная статья его в «Neue Zeit» — писал Аксельрод Мартову в октябре 1910 г. — еще, пожалуй, более возмутительная, чем в «Vorwaerts». «Плеханов, определенно не терпевший Троцкого, — рассказывает Луначарский, — воспользовался таким обстоятельством и устроил нечто вроде суда над ним. Мне казалось это несправедливым, я довольно энергично высказался за Троцкого и вообще способствовал вместе с Рязановым тому, что план Плеханова совершенно расстроился» . . . Большинство делегации знало о статье только из чужих уст. Я потребовал оглашения статьи. Зиновьев доказывал, что нет никакой надобности знать статью, для того, чтоб осудить ее. Большинство не согласилось с ним. Читал

статью вслух и переводил, помнится, Рязанов. По предварительной кулуарной передаче, статья казалась всем настолько ужасной, что чтение ее вызвало прямо противоположное впечатление: статья показалась невинной. Подавляющим большинством делегация отклонила осуждение. Это не мешает мне сейчас самому осудить эту статью, как неправильную в оценке фракции большевиков.

По вопросу о чешских профессиональных союзах русская делегация голосовала на конгрессе за венскую резолюцию против пражской. Я пытался внести поправку, но успеха не имел. В конце концов мне самому еще далеко неясна была та «поправка», которую нужно было сделать ко всей политике социалдемократии. Поправка должна была состоять в объявлении ей священной войны. Но на этот путь мы встали только в 1914 году.

ГЛАВА XVII

Подготовка к новой революции

Работа моя за годы реакции состояла на добрую долю в истолковании революции 1905 года и в теоретическом прокладывании путей для второй революции.

Уже вскоре после приезда заграницу я совершил объезд русских эмигрантских и студенческих колоний с двумя рефератами: «Судьба русской революции (к временному политическому моменту)» и «Капитализм и социализм (социально-революционные перспективы)». Первый реферат доказывал, что перспектива русской революции, как перманентной, подтверждена опытом 1905 года. Второй связывал русскую революцию с мировой.

В октябре 1908 года я начал издавать в Вене русскую газету «Правда», предназначенную для широких рабочих кругов. В Россию она доставлялась контрабандными путями, либо через галицийскую границу, либо по Черному морю. Газета выходила

в течение трех с половиной лет, не чаще двух раз в месяц, но издание ее требовало большого и кропотливого труда. Конспиративная переписка с Россией поглощала много времени. Я находился, кроме того, в тесной связи с нелегальным союзом черноморских моряков, которым помогал издавать их орган.

Главным моим сотрудником в «Правде» был А. А. Иоффе, впоследствии известный советский дипломат. С венских дней началась наша дружба. Иоффе был человеком высокой идейности, большой личной мягкости и несокрушимой преданности делу. Он отдавал «Правде» и свои силы и свои средства. От нервной болезни Иоффе лечился психоанализом у известного венского врача Альфреда Адлера, который начал, как ученик профессора Фрейда, но стал в оппозицию к учителю и основал собственную школу индивидуальной психологии. Через Иоффе я познакомился с проблемами психоанализа, которые показались мне чрезвычайно увлекательными, хотя многое в этой области еще зыбко и шатко и открывает почву для фантастики и произвола. Другим моим сотрудником был студент Скобелев, впоследствии министр труда в правительстве Керенского: с ним, в 1917 году мы встретились врагами. Секретарем «Правды» работал одно время Виктор Копп, нынешний советский посланник в Швеции.

По делу венской «Правды» Иоффе выехал на работу в Россию. Он был арестован в Одессе, долго сидел в тюрьме, потом был сослан в Сибирь. Только февральская революция 1917 года освободила его. Иоффе был одним из самых активных участников октябрьского переворота. Личное мужество этого тяжко больного человека было поистине великолепно. Я как сейчас вижу его тяжеловатую фигуру на осеннем, изрытом снарядами поле под Петербургом осенью 1919 г. В изысканной одежде дипломата, с мягкой улыбкой на спокойном лице, с палочкой точно на Unter den Linden, Иоффе с любопытством поглядывал на близкие разрывы снарядов, не прибавляя и

не убавляя шагу. Он был хороший, вдумчивый и задушевный оратор и такой же писатель. Во всякой работе Иоффе был внимателен к мелочам, чего так не хватает многим революционерам. Ленин высоко ценил дипломатическую работу Иоффе. Я теснее, чем кто-либо, был связан с этим человеком в течение долгого ряда лет. Его преданность в дружбе, как и его идейная верность, были несравненны. Жизнь свою Иоффе закончил трагически. Тяжкие наследственные болезни подтачивали его. Не менее тяжко подтачивала его разнузданная травля эпигонов против марксистов. Лишенный возможности борьбы с болезнью, а тем самым и политической борьбы, Иоффе покончил с собой осенью 1927 г. Предсмертное письмо, написанное мне, было украдено с его ночного столика агентами Сталина. Строки, рассчитанные на дружеское внимание, были вырваны из текста, искажены и оболганы Ярославским и другими внутренне-деморализованными субъектами. Это не помешает тому, что имя Иоффе навсегда войдет в книгу революции, как одно из лучших ее имен.

В самые глухие и беспросветные дни реакции мы с Иоффе уверенно ждали новой революции, и именно в той ее форме, которая развернулась в 1917 г. Сверчков, который был в те годы меньшевиком, а сейчас является сталинцем, пишет в своих воспоминаниях о венской «Правде»: «В этой газете он (Троцкий) по-прежнему настойчиво и упорно проводил мысль о «перманентности» русской революции, т. е. доказывал, что раз начавшись, она не может закончиться до тех пор, пока не приведет к ниспровержению капитализма и водворению социалистического строя во всем мире. Над ним смеялись, его обвиняли в романтизме и в семи смертных грехах, как большевики, так и меньшевики, но он упорно и твердо проводил свою точку зрения, не смущаясь нападками».

В 1909 г. я следующим образом характеризовал революционное взаимоотношение пролетариата и крестьянства в польском журнале Розы Люксембург:

«Локальный кретинизм — историческое проклятие крестьянских движений. О политическую ограниченность мужика, который у себя в деревне громил барина, чтоб овладеть его землей, а напялив солдатскую куртку, расстреливал рабочих, — разбился первый вал российской революции (1905). Все события ее можно рассматривать, как ряд беспощадных предметных уроков, посредством которых история вбивает крестьянину сознание связи между его местными земельными нуждами и центральной проблемой государственной власти».

Ссылаясь на пример Финляндии, где социалдемократия на почве торпарного вопроса завоевала огромное влияние в деревне, я заключал: «Какое же влияние на крестьянство завоюет наша партия в процессе и в результате руководства новым, несравненно более широким движением масс города и деревни! Разумеется, если мы сами не сложим оружия, испугавшись соблазнов политической власти, навстречу которой нас неизбежно понесет новая волна». Как все это похоже на «игнорирование крестьянства» или перепрыгивание «через аграрный вопрос!»

4 декабря 1909 г., когда революция казалась навсегда и безнадежно растоптанной, я писал в «Правде»: «уже сегодня, сквозь обложившие нас черные тучи реакции, мы прозреваем победоносный отблеск нового Октября». Не только либералы, но и меньшевики издевались тогда над этими словами, которые казались им голым агитационным возгласом, фразой без содержания. Профессор Милюков, которому принадлежит честь изобретения термина «троцкизм», возражал мне: «Идея диктатуры пролетариата — ведь это идея чисто детская, и серьезно ни один человек в Европе ее не будет поддерживать». Тем не менее в 1917 г. произошли события, которые должны были сильно потревожить великолепную уверенность либерального профессора.

В годы реакции я занимался вопросами торгово-промышленной коньюнктуры, как в мировом, так и в

национальном масштабе. Мною руководил революционный интерес: я хотел выяснить взаимозависимость между торгово-промышленными колебаниями, с одной стороны, стадиями рабочего движения и революционной борьбы с другой. И здесь, как во всех такого рода вопросах я больше всего остерегался устанавливать автоматическую зависимость политики от экономики. Взаимодействие надо было вывести из всего процесса, взятого в целом. Я находился еще в богемском городишке Гиршберге, когда на нью-иоркской бирже разразилась черная пятница. Она стала предвестницей мирового кризиса, который неизбежно должен был захватить и Россию, потрясенную русской-японской войной, а затем революцией. Каковы будут последствия кризиса? Господствовавшая в партии, притом в обеих фракциях, точка зрения была такова, что кризис повлечет за собою обострение революционной борьбы. Я занял другую позицию. После периода больших боев и больших поражений кризис действует на рабочий класс не возбуждающе, а угнетающе, лишает его уверенности в своих силах и политически разлагает его. Только новое промышленное оживление способно в таких условиях сплотить пролетариат, возродить его, вернуть ему уверенность, сделать его способным к дальнейшей борьбе. Эта перспектива встретила критику и недоверие. Официальные экономисты партии развивали сверх того ту мысль, что при режиме контр-революции промышленный подъем вообще не возможен. В противовес им я исходил из того, что экономическое оживление неизбежно; что оно должно вызвать новую полосу стачечного движения, после чего новый экономический кризис может послужить толчком к революционной борьбе. Этот прогноз целиком подтвердился. Промышленный подъем наступил в 1910 г., несмотря на контр-революцию. Вместе с ним пришла стачечная борьба. Расстрел рабочих на золотых приисках Лены в 1912 году вызвал гигантский отклик во всей стране. В 1914 году, когда

кризис был уже несомненен, Петербург снова стал ареной рабочих баррикад. Их свидетелем был Пуанкаре, посетивший царя накануне войны.

Этот теоретический и политический опыт имел для меня неоценимое значение в дальнейшем. На 3-м конгрессе Коминтерна я имел против себя подавляющее большинство делегатов, когда настаивал на неизбежности экономического подъема послевоенной Европы, как предпосылки дальнейших революционных кризисов. В самое последнее время мне снова пришлось выдвинуть против VI-го конгресса Коминтерна то обвинение, что он совершенно не понял происшедшего в Китае перелома экономической и политической обстановки, ошибочно ожидая, после жестоких поражений революции, ее дальнейшего развития в результате обострения экономического кризиса в стране.

Диалектика процесса сама по себе не так уж сложна. Но ее легче формулировать в общих чертах, чем открывать каждый раз заново в живых фактах. По крайней мере я наталкиваюсь в этом вопросе по сей день на самые упорные предрассудки, которые в политике ведут к грубым ошибкам и тяжким последствиям.

В оценке дальнейшей судьбы меньшевизма и организационных задач партии «Правда» далеко не достигала ленинской ясности. Я все еще надеялся, что новая революция вынудит меньшевиков, как и в 1905 г., встать на революционный путь. Я не дооценивал значение подготовительного идейного отбора и политического закала. В вопросах внутри-партийного развития я был повинен в своего рода социально-революционном фатализме. Это была ошибочная позиция. Но она была неизмеримо выше того безыдейного бюрократического фатализма, который составляет отличительную черту большинства моих сегодняшних критиков в лагере Коминтерна.

В 1912 году, когда с несомненностью обнаружился новый политический подъем, я сделал попытку созвать объединительную конференцию из предста-

вителей всех социал-демократических фракций. Что в тот период надежды на восстановление единства русской социалдемократии были свойственны не только мне, показывает пример Розы Люксембург. Летом 1911 г. она писала: «Несмотря на все, единство партии может быть еще спасено, если заставить обе стороны совместно созвать конференцию» (стр. 160). В августе 1911 года она повторяет: «Единственный путь спасти единство — это осуществить общую конференцию из людей, посланных из России, ибо люди в России все хотят мира и единства, и они представляют единственную силу, которая может привести в разум заграничных петухов» (стр. 163).

В среде самих большевиков примиренческие тенденции в тот период были очень сильны, и я не терял надежды, что это побудит и Ленина принять участие в общей конференции. Однако, Ленин воспротивился объединению со всей силой. Весь дальнейший ход событий показал, что Ленин был прав. Конференция в Вене собралась в августе 1912 г. без большевиков, и я оказался формально в «блоке» с меньшевиками и отдельными группами большевиков-диссидентов. Политической базы у этого блока не было, по всем основным вопросам я расходился с меньшевиками. Борьба с ними возобновилась на второй же день после конференции. Острые конфликты выростали повседневно из глубокой противоположности двух тенденций: социально-революционной и демократически-реформистской.

«Из письма Троцкого — пишет Аксельрод 4 мая, незадолго до конференции, — я вынес весьма тяжелое для меня впечатление, что у него и желания нет действительно, серьезно сблизиться с нами и нашими друзьями в России... для совместной борьбы против врага». Такого намерения: объединиться с меньшевиками для борьбы с большевиками у меня действительно не было, и быть не могло. После конференции Мартов жалуется в письме к Аксельроду на то, что Троцкий возрождает «худшие нравы ле-

нинско-плехановского литераторского индивидуализма». Опубликованная несколько лет тому назад переписка Аксельрода и Мартова свидетельствует об их совершенно неподдельной ненависти ко мне. Несмотря на отделявшую меня от них пропасть, у меня к ним этого чувства не было никогда. И сейчас я с благодарностью вспоминаю, что в молодые свои годы многим был им обязан.

Эпизод августовского блока вошел во все «антитроцкистские» учебники эпохи эпигонства. Для новичков и невежд прошлое изображается при этом так, будто большевизм сразу вышел из исторической лаборатории во всеоружии. Между тем история борьбы большевиков с меньшевиками есть в то же время история непрерывных объединительных попыток. Вернувшись в Россию в 17 году, Ленин делает последнюю попытку договориться с меньшевиками-интернационалистами. Когда я в мае прибыл из Америки, большинство социалдемократических организаций в провинции состояло из объединенных большевиков и меньшевиков. На партийном совещании в марте 1917 года, за несколько дней до приезда Ленина, Сталин проповедывал объединение с партией Церетели. Уже после октябрьской революции Зиновьев, Каменев, Рыков, Луначарский и десятки других бешенно боролись за коалицию с эсерами и меньшевиками. И эти люди пытаются ныне поддерживать свое идейное существование страшными сказками о венской объединительной конференции 1912 года!

«Киевская мысль» предложила мне отправиться военным корреспондентом на Балканы. Предложение явилось тем более своевременным, что августовская конференция уже успела обнаружить себя, как выкидыш. Я чувствовал потребность хоть на короткий срок оторваться от русских эмигрантских дел. Немногие месяцы, проведенные мною на балканском полуострове, были месяцами войны, и они многому научили меня.

Я ехал в сентябре 1912 года на юговосток, заранее считая войну не только вероятной, но неизбежной. Но когда я очутился на мостовой Белграда, увидел длинные ряды резервистов, когда своими глазами убедился, что отступления нет, что война будет, что она будет на-днях, когда узнал, что несколько хорошо знакомых мне человек стоят уж под ружьем, на границе, и что им первым придется убивать и умирать, — тогда война, с которой я так легко обращался в мыслях и статьях, показалась мне невероятной и невозможной. Точно на призрак глядел я на полк, идущий на войну, — 18-й пехотный — в защитного цвета форме, в опанках (лаптях), с зелеными ветками на шапочках. Лапти на ногах и веточка на шапке — при полном боевом снаряжении — придавали солдатам вид жертвенной обреченности. И ничто в тот момент не жгло так невыносимо сознание безумием войны, как эта веточка и эти мужицкие лапти. Как далеко отошло нынешнее поколение от привычек и настроений 1912 года! Я хорошо понимал и тогда, что гуманитарно-моралистическая точка зрения на исторический процесс есть самая бесплодная точка зрения. Но дело шло не об объяснении, а о переживании. В душу проникало непосредственное, непередаваемое чувство исторического трагизма: бессилие перед фатумом, жгучая боль за человеческую саранчу.

Война была через два-три дня объявлена. «Вы в России знаете это и верите этому, — писал я, — а я здесь, на месте, не верю. Это сочетание житейски-обычного повседневно-человеческого: кур, цыгарок, босоногих сопливых мальчишек — с невероятно- трагическим фактом войны не вмещается в моей голове. Я знаю, что война объявлена, уже началась, но я еще не научился верить в нее». Но пришлось поверить крепко и надолго.

1912—13 годы дали мне близкое знакомство с Сербией, Болгарией, Румынией и — с войной. Это была во многих отношениях важная подготовка не

только к 1914, но и к 1917 году. Я открыл в своих статьях борьбу против лжи славянофильства, против шовинизма вообще, против иллюзий войны, против научно-организованной системы одурачивания общественного мнения. Редакция «Киевской Мысли» нашла в себе достаточно решимости, чтобы напечатать мою статью, рассказывавшую о болгарских зверствах над ранеными и пленными турками и изобличавшую заговор молчания русской печати. Это вызвало бурю возмущения со стороны либеральных газет. 30 января 1913 г. я предъявил Милюкову в печати «внепарламентский запрос» по поводу «славянских» зверств над турками. Припертый к стене Милюков, присяжный защитник официальной Болгарии, отвечал беспомощным косноязычием. Полемика длилась несколько недель с неизбежными намеками правительственных газет на то, что под псевдонимом Антид Ото скрывается не только эмигрант, но и австро-венгерский агент.

Месяц, проведенный в Румынии, сблизил меня с Добруджану-Гереа (Gherea) и навсегда закрепил мою дружбу с Раковским, которого я знал с 1903 г.

Русский революционер-семидесятник «мимоходом» остановился в Румынии накануне русско-турецкой войны, случайно задержался там, — и уже через несколько лет наш соотечественник, под именем Гереа, завоевал большое влияние сперва на румынскую интеллигенцию, а затем и на передовых рабочих. Литературная критика на социальной основе была главной областью, в которой Гереа формировал сознание передовых групп румынской интеллигенции. От вопросов эстетики и личной морали он вел к научному социализму. Большинство политиков Румынии почти всех партий прошли в молодости беглую школу марксизма под руководством Гереа. Это нисколько не мешало им, впрочем, вести в более зрелом возрасте политику реакционного бандитизма.

Х. Г. Раковский — одна из наиболее интернациональных фигур в европейском движении. Бол-

гарин по происхождению, из города Котел, самого сердца Болгарии, но румынский подданный силою балканской карты, французский врач по образованию, русский по связям, симпатиям и литературной работе, Раковский владеет всеми балканскими языками и четырьмя европейскими, активно участвовал в разные периоды во внутренней жизни четырех социалистических партий — болгарской, русской, французской и румынской, — чтобы впоследствии стать одним из вождей советской федерации, одним из основателей Коминтерна, председателем украинского совета народных комиссаров, дипломатическим представителем Союза в Англии и во Франции, и чтобы разделить затем судьбу левой оппозиции. Личные черты Раковского: широкий интернациональный кругозор и глубокое благородство характера сделали его особенно ненавистным для Сталина, воплощающего прямо противоположные черты.

В 1913 году Раковский был организатором и вождем румынской социалистической партии, которая впоследствии примкнула к Коммунистическому Интернационалу. Партия поднималась вверх. Раковский редактировал ежедневную газету, и он же финансировал ее. На берегу Черного моря, недалеко от Мангалии, у Раковского было небольшое наследственное имение, доход с которого и шел на поддержку румынской социалистической партии и ряда революционных групп и лиц в других странах. Три дня в неделю Раковский проводил в Бухаресте, писал статьи, руководил заседаниями центрального комитета, выступал на митингах и на уличных манифестациях. Затем переносился в поезде на побережье Черного моря, доставляя в свое поместье шпагат, гвозди и другие предметы обихода, выезжал в поле, проверял работу нового трактора, бегая за ним по борозде в своем городском сюртуке, а через день снова мчался назад, чтоб не опоздать к митингу или заседанию. Я сопровождал Раковского в его поездке и любовался этой кипучей энергией, неутоми-

мостью, постоянной духовной свежестью и ласковым вниманием к маленьким людям. На улице в Мангалии в течение пятнадцати минут он переходил с румынского языка на турецкий, с турецкого на болгарский, потом на немецкий и французский — с колонистами, с торговыми агентами и, наконец, на русский, с многочисленными в окрестности русскими скопцами. Он вел разговоры, как владелец поместья, как доктор, как болгарин, как румынский подданный и больше всего, как социалист. Так он проходил на моих глазах, как живое чудо, по улицам этого захолустного, беспечного и ленивого приморского городка. А в ночь он уже снова мчался в поезде к полю битвы. И он одинаково хорошо и уверенно себя чувствовал в Бухаресте, Софии, Париже, Петербурге или Харькове.

* * *

Годы второй эмиграции были для меня годами сотрудничества в русской демократической печати. Я дебютировал в «Киевской Мысли» большой статьей о мюнхенском журнале «Симплициссимус», который одно время настолько заинтересовал меня, что я внимательно просмотрел все его выпуски, начиная с основания журнала, когда рисунки Т. Т. Гейне еще были проникнуты острым социальным чувством. К тому же времени относится мое более близкое знакомство с новой немецкой беллетристикой. О Ведекинде я написал даже большую социально-критическую статью, так как интерес к нему в России повышался параллельно с упадком революционных настроений.

«Киевская Мысль» была самой распространенной на юге радикальной газетой с марксисткой окраской. Такая газета могла существовать только в Киеве, с его слабой промышленной жизнью, неразвитыми классовыми противоречиями и большими тра-

дициями интеллигентского радикализма. Mutatis mutandis можно сказать, что радикальная газета по той же причине возникла в Киеве, по которой «Симплициссимус» возник в Мюнхене. Я писал в газете на самые разнообразные, иногда очень рискованные в цензурном смысле темы. Небольшие статьи являлись нередко результатом большой предварительной работы. Разумеется, я не мог сказать в легальной непартийной газете всего, что хотел сказать. Но я никогда не писал того, чего не хотел сказать. Статьи мои из «Киевской Мысли» переизданы советским издательством в нескольких томах. Мне не пришлось от чего бы то ни было отказываться. Может быть не лишним будет сейчас напомнить и то, что в буржуазной печати я сотрудничал с формального согласия центрального комитета, в котором Ленин имел большинство.

Я упомянул уже, что сразу по приезде мы поселились за городом. «Huetteldorf мне понравился, — писала жена. Квартира была лучше, чем мы могли иметь, так как виллы здесь обыкновенно сдавались весною, а мы сняли на осень и зиму. Из окон были видны горы, все в темно-красном осеннем цвете. На простор можно было пройти через калитку, минуя улицу. Зимой по воскресеньям венцы с салазками и лыжами, в цветных шапочках и светерах приезжали сюда по пути в горы. В апреле, когда мы должны были покинуть нашу квартиру, так как плата за нее удваивалась, уже цвели в саду и за садом фиалки, аромат их заполнял комнаты через открытые окна. Здесь родился Сережа. Пришлось переселиться в более демократический Sievering.

«Дети говорили на русском и параллельно на немецком языке. В детском саду и школе они объяснялись по немецки, поэтому, играя дома, они продолжали немецкую речь, но стоило мне или отцу заговорить с ними, они тотчас переходили на русский. Если мы к ним обращались по немецки, они смущались и отвечали по русски. В последние годы они

усвоили еще венское наречие и говорили на нем великолепно.

«Они любили бывать в семье Клячко, где все, и глава семьи, и хозяйка дома, и взрослые дети были к ним очень внимательны, показывали им много интересного и к тому же угощали их прекрасными вещами.

«Любили дети и Рязанова, известного исследователя Маркса. Рязанов, живший тогда в Вене, поражал воображенье мальчиков своими гимнастическими подвигами и нравился им своей шумливостью. Как-то младшего мальчика стриг парикмахер, я сидела тут же. Сережа пальцем подозвал меня к себе и тихо на ухо сказал: ««я хочу, чтоб он мне сделал прическу, как у Рязанова». Его восхитила большая гладкая лысина Рязанова, — это было не так, как у всех, а гораздо лучше.

«Когда Левик поступил в школу, встал вопрос о законе божием. По тогдашнему австрийскому закону дети обязаны были до 14 лет воспитываться в религии своих отцов. Так как в наших документах никакой религии не было указано, то мы выбрали для детей лютеранство, как такую религию, которая казалась нам все же более портативной для детских плеч и для детских душ. Преподавала закон Лютера учительница во внешкольные часы, хотя и в школе. Левику нравился этот урок, это было видно по его рожице, но он не находил нужным дома распространяться по этому поводу. Как-то вечером слышала, как он, лежа уже в постели, что-то шептал. На мой вопрос, он ответил: «это молитва, знаешь, молитвы бывают очень хорошенькие, как стихи».

Еще со времени моей первой эмиграции родители начали выезжать заграницу. Они были у меня в Париже, затем приезжали в Вену с моей старшей девочкой, которая жила у них в деревне. В 1910 году они прибыли в Берлин. К этому времени они уже окончательно примирились с моей судьбой. Последним тяжеловесным доводом была, пожалуй, моя пер-

вая книга на немецком языке. Мать была тяжко больна (actinomicosis). Последние десять лет своей жизни она несла свою болезнь, как дополнительный груз, не переставая работать. Ей удалили в Берлине почку. Матери было 60 лет. В первые месяцы после операции она расцвела. Случай этот приобрел довольно широкую известность в медицинском мире. Но болезнь скоро вернулась и в несколько месяцев унесла ее. Она умерла в Яновке, где провела свою трудовую жизнь и где вырастила детей.

Большая венская глава моей жизни была бы не полна, если бы я не сказал, что ближайшими нашими друзьями в Вене была семья старого эмигранта С. Л. Клячко. Вся история моей второй эмиграции тесно переплетается с этой семьей, которая была подлинным очагом широких политических и вообще умственных интересов, музыки, четырех европейских языков и разнообразных европейских связей. Смерть главы семьи, Семена Львовича, в апреле 1914 года была для меня и моей жены большим горем. Лев Толстой писал о своем богато одаренном брате Сергее, что тому не хватало только некоторых мелких недостатков, чтобы стать большим художником. Это можно сказать о Семене Львовиче: у него были все данные для выдающегося политического деятеля, кроме необходимых для этого недостатков. В семье Клячко мы всегда находили и помощь, и дружбу, а мы часто нуждались и в том и в другом.

Мой заработок в «Киевской Мысли» был бы вполне достаточен для нашего скромного существования. Но бывали месяцы, когда работа для «Правды» не давала мне возможности написать ни одной платной строки. Тогда наступал кризис. Жена хорошо знала дорогу в ломбард, а я не раз распродавал букинистам книги, купленные в более обильные дни. Случалось, что наша скромная обстановка описывалась на покрытие квартирной платы. У нас было двое маленьких детей и не было няни. Наша жизнь ложилась двойной тяжестью на мою жену.

Но она еще находила время и силы помогать мне в революционной работе.

ГЛАВА XVIII

Начало войны

На венских заборах появились надписи: Alle Serben muessen sterben. Это стало кличем уличных мальчишек. Наш младший мальчик, Сережа, движимый, как всегда, чувством противоречия, возгласил на зиверингской лужайке: «Hoch Serbien!» Он вернулся домой с синяками и с опытом международной политики.

Бьюкенен, бывший британский посол в Петербурге, с восторгом говорит в своих мемуарах о «чудесных первых днях августа», когда «Россия казалась совершенно преображенной». Подобный же восторг можно найти в мемуарах и других государственных мужей, хотя бы они и не с такой полнотой, как Бьюкенен, воплощали самодовольную ограниченность правящих классов. Во всех европейских центрах стояли одинаково «чудесные» дни августа, все страны вступали «преображенными» в работу своего взаимоистребления.

Особенно неожиданным казался патриотический подъем масс в Австро-Венгрии. Что толкало венского сапожного подмастерья, полунемца-получеха Поспешиля, или нашу зеленщицу фрау Мареш, или извозчика Франкля на площадь перед военным министерством? Национальная идея? Какая? Австро-Венгрия была отрицанием национальной идеи. Нет, движущая сила была иная.

Таких людей, вся жизнь которых день за днем проходит в монотонной безнадежности, очень много на свете. Ими держится современное общество. Набат мобилизации врывается в их жизнь, как обещание. Все привычное и осточертевшее опрокидывается,

воцаряется новое и необычное. Впереди должны произойти еще более необозримые перемены. К лучшему или к худшему? Разумеется, к лучшему: разве Поспишилю может стать хуже, чем в «нормальное» время?

Я бродил по центральным улицам столь знакомой мне Вены и наблюдал эту совершенно необычную для шикарного Ринга толпу, в которой пробудились надежды. И разве частица этих надежд не осуществляется уже сегодня? Разве в иное время носильщики, прачки, сапожники, подмастерья и подростки предместий могли бы себя чувствовать господами положения на Ринге? Война захватывает всех, и, следовательно, угнетенные, обманутые жизнью чувствуют себя как бы на равной ноге с богатыми и сильными. Пусть не покажется парадоксом, но в настроениях венской толпы, демонстрировавшей во славу габсбургского оружия, я улавливал черты, знакомые мне по октябрьским дням 1905 г. в тогдашнем Петербурге. Не даром же война часто являлась в истории матерью революции.

И однако-же насколько различно, правильнее сказать, противоположно отношение к той и другой со стороны господствующих классов. Бьюкенену те дни казались чудесными, а Россия — пробужденной. Наоборот, о самых патетических днях революции 1905 года граф Витте писал: «громадное большинство России как бы сошло с ума».

Подобно революции, война выбивает всю жизнь, сверху до низу, из наезженной колеи. Но революция удары свои направляет против существующей власти. Война же, наоборот, на первых порах укрепляет государственную власть, которая в порожденном войною хаосе выступает, как единственная твердая опора... пока та же война не подкопает ее. Надежды на бурные социальные и национальные движения, в Праге или Триесте, как и в Варшаве или Тифлисе, совершенно неосновательны в начале войны. В сентябре 1914 г. я писал в Россию: «Мобилизация и

объявление войны как бы стерли с лица земли все национальные и социальные противоречия в стране. Но это только историческая отсрочка, своего рода политический мораториум. Векселя переписаны на новый срок, но платить по ним придется». В этих подцензурных строках я имел в виду, разумеется, не только Австро-Венгрию, но и Россию, Россию прежде всего.

События нагромождались одно на другое. Пришла телеграмма об убийстве Жореса. В газетах было так много злостной лжи, что оставалась еще, по крайней мере в течение нескольких часов, возможность сомнения и надежды. Но вскоре эта возможность исчезла. Жорес был убит врагами и предан собственной партией.

Какое отношение к войне нашел я в руководящих кругах австрийской социалдемократии? Одни открыто радовались ей, сквернословили по адресу сербов и русских, не очень отличая правительства от народов: это были органические националисты, чуть-чуть покрытые лаком социалистической культуры, который теперь сползал с них не по дням, а по часам. Помню, как Ганс Дейч, впоследствии что то вроде военного министра, откровенно говорил о неизбежности и спасительности этой войны, которая, наконец, избавит Австрию от сербского «кошмара». Другие — и во главе их стоял Виктор Адлер — относились к войне, как к внешней катастрофе, которую нужно перетерпеть. Выжидательная пассивность служила, однако, только прикрытием для активно-националистического крыла. Кое-кто глубокомысленно вспоминал о немецкой победе 1871 года, которая двинула вперед немецкую промышленность, а с нею вместе и социалдемократию.

2 августа Германия объявила войну России. Уже до этого начался отъезд русских из Вены. 3-го августа утром я отправился на Wienzeile, чтобы посоветоваться там с социалистами-депутатами, как быть нам, русским эмигрантам. Фридрих Адлер по инер-

ции продолжал еще в своем кабинете возиться с какими то книжками, бумажками, марками для международного социалистического конгресса, который должен был вскоре состояться в Вене. Но конгресс был уже отброшен в прошлое. На арену выступали другие силы... Старик Адлер предложил мне немедленно отправиться с ним вместе к первоисточнику, именно к шефу политической полиции Гейеру. В автомобиле, по пути в префектуру, я обратил внимание Адлера на то, что война вызвала наружу какое-то праздничное настроение. «Это радуются те, которым не нужно итти на войну, — ответил он сразу. Кроме того, на улицу сейчас выходят все неуравновешенные, все сумасшедшие: это их время. Убийство Жореса — только начало. Война открывает простор всем инстинктам, всем видам безумия»...

Психиатр по своей старой медицинской специальности, Адлер часто подходил к политическим событиям, — «особенно австрийским», говорил он иронически, — с психопатологической точки зрения. Как далек он был в тот момент от мысли, что его собственный сын совершит политическое убийство. В журнале «Kampf», который редактировался Адлером-сыном, я поместил как раз накануне войны статью, освещающую несостоятельность индивидуального террора. Замечательно, что редактор очень одобрял эту статью. Террористический акт Фридриха Адлера был вспышкой отчаявшегося оппортунизма, не более того. Дав выход своему отчаянию, Адлер вернулся на старую колею.

Гейер выразил осторожное предположение, что завтра утром может выйти приказ о заключении под стражу русских и сербов.

— Следовательно, вы рекомендуете уехать?

— И чем скорее, тем лучше.

— Хорошо, завтра я еду с семьей в Швейцарию.

— Гм... я бы предпочел, чтобы вы это сделали сегодня.

Этот разговор происходил в 3 часа дня, а в 6 часов 10 минут я уже сидел с семьей в вагоне поезда, направляющегося в Цюрих. Позади оставались семилетние связи, книги, архив и начатые работы, в том числе полемика с профессором Масариком о судьбах русской культуры.

Телеграмма о капитуляции германской социалдемократии потрясла меня больше, чем само объявление войны, несмотря на то, что я был достаточно далек от наивной идеализации германского социализма. «Европейские социалистические партии — писал я еще в 1905 году и затем не раз повторял, — выработали свой консерватизм, который тем сильнее, чем большие массы захватывает социализм... В силу этого, социалдемократия может стать в известный момент непосредственным препятствием на пути открытого столкновения рабочих с буржуазной реакцией. Другими словами, пропагандистско-социалистический консерватизм пролетарской партии может в известный момент задержать прямую борьбу пролетариата за власть». Я не ждал, что в случае войны оффициальные вожди Интернационала окажутся способны на серьезную революционную инициативу. Но в то же время я не допускал и мысли, что социалдемократия станет просто ползать на брюхе перед национальным милитаризмом.

Когда в Швейцарии появился номер Vorwaerts'a с отчетом о заседании рейхстага 4-го августа, Ленин твердо решил, что это поддельный номер, выпущенный германским генеральным штабом для обмана и устрашения врагов. Так велика была еще, несмотря на весь критицизм Ленина, вера в немецкую социалдемократию. Между тем в то же самое время, венская Arbeiter-Zeitung провозгласила день капитуляции немецкого социализма «великим днем немецкой нации». Это была кульминация Аустерлица. Его «Аустерлиц!»... Я не считал Vorwaerts подложным: первые непосредственные впечатления в Вене уже успели подготовить меня ко всему худшему. Но все

же голосование 4-го августа осталось одним из самых трагических переживаний моей жизни. Что сказал бы Энгельс? — спрашивал я себя. Ответ был для меня ясен. А как поступил бы Бебель? Тут полной ясности я не находил. Но Бебеля не было. Был только Гаазе, честный провинциальный демократ, без теоретического кругозора и революционного темперамента. Во всяком критическом положении он склонен был воздерживаться от бесповоротных решений, прибегая к полумерам и выжиданию. События были ему не по плечу. А дальше уже шли Шейдеманы, Эберты, Вельсы...

Швейцария отражала Германию и Францию, только в нейтральном, т. е. смягченном, и притом крайне уменьшенном виде. Для вящей наглядности в швейцарском парламенте заседали два социалистических депутата с одинаковыми именами и фамилиями: Иоанн Сигг от Цюриха и Жан Сигг от Женевы. Иоанн — ярый германофил, а Жан — еще более ярый франкофил. Таково было швейцарское зеркало Интернационала.

На втором, примерно, месяце войны, я встретился на цюрихской улице со стариком Молькенбуром, прибывшим сюда для обработки общественного мнения. На мой вопрос, как его партия представляет себе ход мировой войны, старый член форштанда ответил мне: «В течение ближайших двух месяцев мы покончим с Францией, затем повернемся на восток, покончим с войсками царя и через три, максимум четыре месяца дадим крепкий мир Европе». Ответ этот записан у меня в дневнике дословно. Молькенбур выражал, конечно, не свою личную оценку. Он просто передавал оффициальное мнение социалдемократии. В это самое время французский посол в Петербурге держал на 5 фунтов стерлингов с Бьюкененом пари, что война будет закончена до Рождества. Нет, мы, «утописты», предвидели все же коечто получше этих реалистических господ — из социалдемократии и из дипломатии.

Швейцария, в которой приходилось отсиживаться от войны, напоминала мне мой финский пансион Rauha, где меня осенью 1905 года застала весть о революционном прибое. Конечно, и в Швейцарии армия мобилизована, а в Базеле слышен даже шум канонады. Но все же обширный гельветический пансион, озабоченный, главным образом, избытком сыра и недостатком картофеля, напоминал спокойный оазис, охваченный огненным кольцом войны. Может быть не так уж далек тот час, спрашивал я себя, когда можно будет покинуть швейцарский оазис Rauha (покой), чтобы снова встретиться с петербургскими рабочими в зале Технологического Института? Но этот час наступил только через тридцать три месяца.

Потребность отдать самому себе отчет в том, что происходит, заставил меня обратиться к дневнику. Уже 9 августа я писал в нем: «Совершенно очевидно: здесь дело идет не о промахах, не об отдельных оппортунистических шагах, не о неловких заявлениях с парламентской трибуны, не о голосовании баденских великогерцогских социалдемократов за бюджет, не об экспериментах французского министериализма, не о ренегатстве нескольких вождей, — дело идет о крушении Интернационала в самую ответственную эпоху, по отношению к которой вся предшествующая работа была только подготовкой».

11-го августа я заносил в дневник: «Только пробуждение революционного социалистического движения, которое должно будет сразу принять крайне бурные формы, заложит фундамент нового Интернационала. Грядущие годы будут эпохой социальной революции».

Я активно вошел в жизнь швейцарской социалистической партии. В рабочих низах ее интернационализм встречал почти безраздельное сочувствие. С каждого партийного собрания я выносил двойной запас уверенности в правоте своей позиции. Первую точку опоры я нашел в интернациональном по составу рабочем союзе «Eintracht». По соглашению с правле-

нием я выработал в начале сентября проект манифеста против войны и социалпатриотизма. Правление пригласило лидеров партии на собрание, где я читал немецкий доклад в защиту манифеста. Лидеры, однако, не явились. Они считали слишком рискованным занимать позицию в столь остром вопросе, предпочитая выжидать и ограничиваясь пока-что комнатной критикой «крайностей» немецкого и французского шовинизма. Собрание «Eintracht» почти единогласно приняло манифест, который, несмотря на все свои недомолвки, послужил серьезным толчком для партийного общественного мнения. Это был едва ли не первый с начала войны интернационалистический документ от лица рабочей организации.

В те дни я впервые ближе столкнулся с Радеком, который в начале войны прибыл из Германии в Швейцарию. Он стоял в немецкой партии на крайней левой, и я надеялся найти в нем единомышленника. Действительно, Радек с чрезвычайной непримиримостью отзывался о правящем слое немецкой социал-демократии. Здесь мы с ним были заодно. Но я с удивлением убедился в беседе, что он и не думает о возможности пролетарской революции в связи с войною и вообще в ближайшую эпоху. Нет, отвечал он, для этого производительные силы человечества, взятого в целом, еще недостаточно развиты. Я слишком привык слышать, что производительные силы России недостаточны для завоевания власти рабочим классом. Но я не представлял себе, что такого рода ответ может дать революционный политик передовой капиталистической страны. Радек читал вскоре после моего отъезда из Цюриха все в том же союзе «Eintracht» обширный доклад, в котором пространно доказывал, что капиталистический мир не подготовлен к социалистической революции.

О докладе Радека, как и вообще о цюрихском социалистическом перекрестке в начале войны рассказывает швейцарский писатель Брупбахер в своих небезинтересных воспоминаниях. Любопытно, что

Брупбахер называет мои тогдашние взгляды . . . пацифистскими. Что он понимает под этим, понять невозможно. Собственное свое развитие с того времени он в заглавии одной из своих книжек характеризует так: «от мещанина к большевику». Я получил достаточно ясное представление о тогдашних взглядах Брупбахера, чтоб полностью присоединиться к первой половине этого заглавия. Что касается второй половины, то я не беру на себя за нее никакой ответственности.

Когда немецкие и французские социалистические газеты дали ясную картину политической и моральной катастрофы оффициального социализма, я отложил дневник для политической брошюры на тему о войне и Интернационале. Под впечатлением первой моей беседы с Радеком я написал к брошюре предисловие, в котором еще с большей энергией подчеркнул, что нынешняя война есть ни что иное, как восстание производительных сил капитализма, взятых в мировом масштабе, против частной собственности, с одной стороны, государственных границ — с другой . . Книжка «Война и Интернационал», как и все другие книги, имела свою судьбу сперва в Швейцарии, затем в Германии и Франции, позже в Америке и, наконец, в Советской Республике. Обо всем этом надо здесь сказать несколько слов.

С русской рукописи работу мою переводил русский, далеко не совершенно владевший немецким языком. Проредактировать перевод взял на себя цюрихский профессор Рагац. Это дало мне случай познакомиться с этой своеобразной личностью. Верующий христианин, более того, богослов по образованию и профессии, Рагац стоял в то же время на крайнем левом фланге швейцарского социализма, признавал самые крайние методы борьбы против войны и высказывался за пролетарскую революцию. И он и его жена привлекли меня глубокой нравственной серьезностью своего отношения к политическим проблемам, которое так выгодно отличало их от австрийских,

германских, швейцарских и иных безыдейных чиновников социалдемократии. Насколько знаю, Рагац оказался вынужден впоследствии пожертвовать своим взглядам своей университетской кафедрой. Для той среды, к которой он принадлежал, это немало. Но в тех беседах, которые я вел с ним, я, наряду с чувством уважения к этому незаурядному человеку, почти физически ощущал наличность какой то тонкой, но абсолютно непроницаемой пелены между нами. Он был мистик насквозь, и хотя своих верований не навязывал и даже не упоминал о них, но само вооруженное востание овевалось в его речах какими то потусторонними дуновениями, которые во мне вызывали лишь неприятный озноб. С тех пор, как я стал мыслить, я был сперва интуитивным, затем сознательным материалистом, и не только не ощущал потребности в иных мирах, но никогда не мог найти психологического соприкосновения с людьми, которые умудряются одновременно признавать Дарвина и Троицу.

Благодаря Рагацу, книжка вышла в свет на хорошем немецком языке. Из Швейцарии она уже в декабре 1914 г. нашла путь в Австрию и Германию. Об этом позаботились, прежде всего, швейцарские левые: Ф. Платтен и др. Предназначенная для немецких стран, брошюра была направлена в первую голову против германской социалдемократии, руководящей партии второго Интернационала. Помнится, журналист Heibmon, игравший первую скрипку в оркестре шовинизма, назвал мою книжку сумасшедшей, но последовательной в своем сумасшествии. Большей похвалы я не мог и желать! Не было, конечно, недостатка и в намеках на то, что брошюра является искусным орудием антантовской пропаганды.

Позже во Франции я неожиданно прочитал однажды во французских газетах телеграмму из Швейцарии о том, что один из немецких судов приговорил меня заочно к тюремному заключению за мою цюрихскую брошюру. Из этого я заключил, что брошюра

попала в цель. Гогенцоллернские судьи оказали мне этим приговором, по которому я не торопился произвести уплату, очень ценную услугу. Для клеветников и сыщиков Антанты немецкий судебный приговор всегда оставался камнем преткновения в их благородных усилиях доказать, что я являюсь по существу дела агентом немецкого генерального штаба.

Это не помешало французским властям задержать на границе мою книжку, в виду ее «германского происхождения». В защиту моей брошюры от французской цензуры появилась двусмысленная заметка в газете Эрве. Думаю, что заметку написал небезызвестный Ш. Рапопорт, сам почти марксист и во всяком случае автор самого большого количества каламбуров, какие когда либо создавал человек, посвятивший им свою долгую жизнь.

После октябрьской революции находчивый ньюиоркский издатель выпустил мою немецкую брошюру в виде солидной американской книги. По собственному его рассказу, Вильсон потребовал у него из Белого Дома по телефону прислать ему корректурные оттиски: президент в это время фабриковал свои 14 пунктов и, как утверждают осведомленные люди, никак не мог переварить того, что большевики предвосхитили лучшие из его формул. В течение двух месяцев книжка разошлась в Америке в количестве 16.000 экземпляров. Но наступили дни брест-литовского мира. Американская печать подняла против меня неистовую травлю, и книжка сразу исчезла с рынка.

В Советской республике моя цюрихская брошюра выдержала тем временем немало изданий, служа пособием для изучения марксистского отношения к войне. С «рынка» Коминтерна она сошла только после 1924-го года, когда был открыт «троцкизм». Сейчас это запретное произведение, как и до революции. Таким образом, мы видим, что книги действительно имеют свою судьбу.

ГЛАВА XIX

Париж и Циммервальд

19 ноября 1914 г. я переехал границу Франции в качестве военного корреспондента «Киевской Мысли». Я принял предложение газеты тем охотнее, что оно давало мне возможность ближе подойти к войне. Париж был печален, улицы по вечерам погружались во тьму. Налетали цеппелины. После задержания немецких армий на Марне война становилась все требовательнее и беспощаднее. В безбрежном хаосе, пожиравшем Европу, при молчании рабочих масс, обманутых и преданных социалдемократией, развивали свою автоматическую силу машины истребления. Капиталистическая цивилизация доводила себя до абсурда, пытаясь пробить толстый череп человечества.

В тот момент, когда немцы приближались к Парижу, а буржуазные французские патриоты покидали его, два русских эмигранта поставили в Париже маленькую ежедневную газету на русском языке. Она имела своей задачей разъяснять заброшенным в Париж русским развертывающиеся события и не давать угаснуть духу международной солидарности. Перед выпуском первого номера в «кассе» издания имелось ровным счетом 30 франков. Ни один «здравомыслящий» человек не мог верить, чтобы можно было с таким основным капиталом издавать ежедневную газету. И действительно: не реже, чем раз в неделю, газета, несмотря на бесплатный труд редакции и сотрудников, переживала такой кризис, что, казалось, выхода нет. Но выход находился. Голодали преданные своей газете наборщики, редакторы носились по городу в поисках за несколькими десятками франков, — и очередной номер выходил. Так, под ударами дефицита и цензуры, исчезая и немедленно же появляясь под новым именем, газета просуществовала в течение 2-х лет, т. е. до февральской революции 1917 г. По приезде в Париж я стал усердно ра-

ботать в «Нашем Слове», которое тогда еще называлось «Голосом». Ежедневная газета явилась для меня самого важным орудием ориентировки в развертывающихся событиях. Опыт «Нашего Слова» оказался полезен мне позже, когда пришлось близко подойти к военному делу.

Семья моя переехала во Францию только в мае 1915 года. Мы поселились в Севре, в маленьком домике, который нам предоставил на несколько месяцев наш молодой друг, итальянский художник Рене Пареше. Мальчики стали посещать севрскую школу. Весна была прекрасна, зелень казалась особенно нежной и ласковой. Но число женщин в черном непрерывно росло. Школьники оставались без отцов. Две армии закопались в землю. Выхода не видно было. Клемансо начинал в своей газете аттаковать Жоффра. В реакционном подполье шла подготовка государственного переворота. Сведения об этом переходили из уст в уста. На страницах «Temps» парламент в течение одного или двух дней назывался не иначе, как ослом. От социалистов «Temps» тем не менее строжайше требовал соблюдения национального единения.

Жореса не было. Я посетил кафе Кроассан, где Жорес был убит: хотелось найти его следы. Политически я был далек от Жореса. Но нельзя было не испытывать на себе притягательного действия этой могучей личности. Духовный мир Жореса, состоявший из национальных традиций, метафизики нравственных начал, любви к обездоленным и поэтического воображения, имел столь же ярко выраженные аристократические черты, насколько духовный облик Бебеля был плебейски прост. Оба они были, однако, головою выше того наследства, которое оставили. Я слышал Жореса на парижских народных собраниях, на международных конгрессах и в комиссиях. И всегда я слушал его, как бы в первый раз. Он не накоплял рутины, в основе никогда не повторялся, всегда сам снова находил себя, всегда заново моби-

лизовал подспудные источники своего духа. При могучей силе, элементарной, как водопад, в нем было много мягкости, которая светилась на лице, как отблеск высшей культуры духа. Он обрушивал скалы, гремел, потрясал, но никогда не оглушал самого себя, всегда стоял на страже, чутко ловил ухом каждый отклик, подхватывал его, парировал возражения, иногда беспощадно, как ураган сметал сопротивление на пути, иногда великодушно и мягко, как наставник, как старший брат. Жорес и Бебель были антиподами и в то же время вершинами второго Интернационала. Оба были глубоко национальны: Жорес со своей пламенной латинской риторикой и Бебель со своей протестантской суховатостью. Я любил обоих, но по разному. Бебель исчерпал себя физически. Жорес пал во цвете сил. Но оба умерли во время. Их смерть отмечала тот рубеж, где закончилась прогрессивная историческая миссия Второго Интернационала.

Французская социалистическая партия находилась в состоянии полной деморализации. Место Жореса некому было занять. Вальян, старый «антимилитарист», ежедневно источал из себя статьи в духе самого напряженного шовинизма. Я случайно встретил старика в Комитете Действия, состоявшем из делегатов партии и синдикатов. Вальян походил на свою тень, — тень бланкизма с традициями санкюлотских войн в эпоху Раймонда Пуанкаре. Довоенная Франция, с задержанным ростом народонаселения и консервативными формами хозяйственной жизни и мысли, казалась Вальяну единственной страной движения и прогресса, избранной, освободительной нацией, прикосновение которой только и пробуждает другие народы к духовной жизни. Его социализм был шовинистическим, как его шовинизм — мессианистическим. Жюль Гэд, вождь марксистского крыла, исчерпавший себя в долгой изнурительной борьбе против фетишей демократии, оказался способным только на то, чтобы сложить свой незапятнанный нравственный авторитет у «алтаря» националь-

ной обороны. Все перепуталось. Марсель Самба, автор книги «Сделайте короля, или сделайте мир!» секундировал Гэду в министерстве... Бриана. Пьер Ренодель оказался на время «руководителем» партии. В конце концов кому-нибудь нужно же было занять опустевшее место Жореса. Надрывая себя, Ренодель подражал убитому вождю жестами и раскатами голоса. Лонге тянулся за Реноделем, но с некоторой застенчивостью, которую он выдавал за левизну. Всем своим поведением он напоминал, что Маркс не отвечает за своих внуков. Официальный синдикализм, представляемый председателем Всеобщей конфедерации Жуо, вылинял в двадцать четыре часа. Он «отрицал» государство в мирное время, чтобы стать перед ним на колени во время войны. Революционный шут Эрве, вчерашний крайний антимилитарист, вывернулся наизнанку и, в качестве крайнего шовиниста, оставался все тем же самодовольным шутом. Как бы для более яркого издевательства над идеями вчерашнего дня, его газета продолжала называться «La guerre sociale». Все вместе походило на траурный маскарад, на карнавал смерти. Нельзя было не сказать себе: нет, мы сделаны из более серьезного материала, — события не застигли нас врасплох, мы кое-что предвидели, многое предвидим сейчас и ко многому готовы. Скольк раз мы сжимали кулаки, когда Ренодели, Эрве и прочая публика пытались на расстоянии брататься с Карлом Либкнехтом! Отдельные оппозиционные элементы были рассеяны здесь и там, в партии и синдикатах, — но почти не подавали признаков жизни.

Крупнейшей фигурой, которую я нашел в Париже среди русской эмиграции, был несомненно Мартов, вождь меньшевиков, один из даровитейших людей, каких мне вообще приходилось встречать на жизненном пути. Несчастье этого человека состояло в том, что судьба сделала его политиком в революционную эпоху, не наделив для этого необходимым запасом воли. В духовном хозяйстве Мартова не

было равновесия, и это каждый раз трагически обнаруживалось, когда наступали большие события. Я наблюдал Мартова на трех исторических этапах: в 1905 году, в 1914-м и в 1917-м году. Первая реакция на события у Мартова почти всегда имела революционный характер. Но не успевал он еще занести свои идеи на бумагу, как его со всех сторон осаждали сомнения. Его богатой, гибкой и разнообразной мысли не хватало стержня воли. В письмах 1905-го года Аксельроду, во время наивысшего подъема первой революции, Мартов горько жалуется на то, что не может собрать своих мыслей. Он, действительно, так и не собрал их до самого наступления реакции. В начале войны он жалуется тому же Аксельроду на то, что события довели его до грани безумия. Наконец, в 1917 году он делает нерешительное движение влево, и внутри своей фракции уступает руководство Церетели и Дану, т. е. двум лицам, из которых первый в умственном отношении, а второй во всех отношениях приходились ему разве что по-колени.

14 октября 1914 года Мартов писал Аксельроду: «Скорее, чем с Плехановым, мы, может быть, могли бы столковаться с Лениным, который, повидимому, готовится выступить в роли борца против оппортунизма в Интернационале». Но эти настроения длились у Мартова недолго. Я застал его в Париже уже в состоянии увядания. Наше сотрудничество в «Нашем Слове» превратилось с первых же дней в непримиримую борьбу, которая закончилась выходом Мартова из редакции, а затем и из состава сотрудников.

Вскоре по приезде в Париж я вместе с Мартовым разыскал Монатта, одного из редакторов синдикалистского журнала «La vie ouvrière». Бывший учитель, потом корректор, типичный парижский рабочий по виду, умница и с характером, Монатт ни на минуту не уклонялся в сторону примирения с милитаризмом и буржуазным государством. Но где искать выхода? На этот счет у нас были разногласия. Монатт «от-

рицал» государство и политическую борьбу. Государство переступило через его отрицание и заставило его надеть красные штаны после того, как он выступил с открытым протестом против синдикального шовинизма. Через Монатта я близко сошелся с журналистом Росмером, который также принадлежал к анархо-синдикалистской школе, но, как показали события, уже тогда стоял по существу гораздо ближе к марксизму, чем гедисты. С Росмером меня связала с тех дней тесная дружба, выдержавшая испытание войны, революции, советской власти и разгрома оппозиции... По той же линии я познакомился с рядом неизвестных мне ранее деятелей французского рабочего движения: с секретарем союза металлистов, осторожным, себе на уме, вкрадчивым Мерргеймом, который закончил так печально во всех отношениях; с журналистом Гильбо, впоследствии заочно приговоренным к смерти за мнимую «измену»; с секретарем синдиката бондарей «папашей» Бурдероном; с учителем Дорио, который искал выхода на дорогу революционного социализма, и многими другими. Мы встречались еженедельно на Quai Jemappe, иногда собирались в большем числе на Gronge-aux-Belles, обменивались закулисными сведениями о войне и работе дипломатии, критиковали официальный социализм, ловили признак социалистического пробуждения, убеждали колеблющихся, подготовляли будущее.

4 августа 1915 года я писал в «Нашем Слове»: «И все же, мы встречаем кровавую годовщину без всякого душевного упадка или политического скептицизма. Мы, революционные интернационалисты, устояли в величайшей мировой катастрофе на позициях анализа, критики и предвидения. Мы отказались от всех «национальных» очков, которые выдавались из генеральных штабов не только по дешевой цене, но даже с приплатой. Мы продолжали видеть вещи, как они есть, называть их своими именами и предвидеть логику их дальнейшего движения».

И сейчас, 13 лет спустя, я могу лишь повторить

эти слова. Не покидавшее нас ни на день чувство превосходства над оффициальной политической мыслью, включая и патриотический социализм, не было плодом незаконного высокомерия. В этом чувстве не было ничего личного, оно вытекало из нашей принципиальной позиции: мы стояли на высокой вышке. Критическая точка зрения давала нам прежде всего возможность яснее видеть перспективу самой войны. Обе стороны расчитывали, как известно, на скорую победу. Свидетельств легкомысленного оптимизма можно бы набрать без числа. «Мой французский коллега — говорит в своих мемуарах Бьюкенен, — был одно время так оптимистически настроен, что пошел со мною на пари на 5 фунтов стерлингов за то, что война будет кончена до Рождества». Сам Бьюкенен в глубине души откладывал конец войны не дольше, чем до Пасхи. Начиная с осени 1914 года, мы, наперекор всем оффициальным пророчествам, в нашей газете, изо дня в день твердили, что война будет безнадежно затяжной, и что вся Европа выйдет из нее разбитой. Десятки раз мы писали в «Нашем Слове», что даже в случае победы союзников, Франция после войны, когда рассеется дым и чад, окажется на международной арене большой Бельгией — и только. Мы уверенно предвидели грядущую мировую диктатуру Соединенных Штатов. «Империализм — так писали мы 5 сентября 1916 г. в сотый раз — ставит через эту войну ставку на сильных: им будет принадлежать мир».

Из Севра моя семья давно уже переселилась в Париж, на маленькую rue Oudry. Париж все более опустошался. Останавливались одни за другими уличные часы. У бельфортского льва торчала почему то из пасти грязная солома. Война продолжала закапываться в землю. Вырваться из траншеи, из застоя, из ямы, из неподвижности — таков был вопль патриотизма. Движения! Движения! Так выросло страшное безумие верденских боев. В те дни, изворачиваясь под молниями военной цензуры, я писал

в «Нашем Слове»: «Как ни велико военное значение верденских боев, но политический их смысл несравненно крупнее. В Берлине и в других местах (sic) — они хотели «движения», — они будут иметь его. Чу! под Верденом выковывается «н а ш завтрашний день».

Летом 1915 года прибыл в Париж итальянский депутат Моргари, секретарь социалистической фракции римского парламента, — наивный эклектик, — с целью привлечь французских и английских социалистов на международную конференцию. На террасе кафе одного из больших бульваров у нас произошло, при участии Моргари, совещание с несколькими депутатами-социалистами, которые почему-то считали себя «левыми». Пока беседа ограничивалась пацифистскими разглагольствованиями и повторением общих мест о необходимости восстановления международных связей, дело шло довольно гладко. Но когда Моргари трагическим шопотом заговорил о необходимости раздобыть фальшивые паспорта для поездки в Швейцарию, — он явно увлекался «карбонарской» стороной дела, — у господ депутатов вытянулись лица, и один из них, не помню, кто именно, поспешно подозвал гарсона и второпях заплатил за весь кофе, потребленный совещанием. Дух Мольера показался над террасой и, кажется, также дух Рабле. Тем дело и кончилось. Возвращаясь с Мартовым, мы много смеялись, весело и сердито в одно и то же время. Монатт и Росмер были уже мобилизованы и не могли ехать. На конференцию я отправился с Мерргеймом и Бурдероном, очень умеренными пацифистами. Фальшивых паспортов никому не понадобилось, потому что правительство, еще не освободившееся окончательно от довоенных нравов, выдало законные.

Организационная сторона дела лежала на бернском социалистическом лидере Гримме, который в то время изо всех сил стремился подняться над филистерским уровнем своей партии и своим собственным. Он подготовил для конференции помещение в десяти

километрах над Берном, в небольшой деревушке Циммервальд, высоко в горах. Делегаты плотно уселись на четырех линейках и отправились в горы. Прохожие с любопытством глядели на необычный обоз. Сами делегаты шутили по поводу того, что полвека спустя после основания первого Интернационала оказалось возможным всех интернационалистов усадить на четыре повозки. Но в этих шутках не было скептицизма. Историческая нить часто рвется. Тогда приходится завязывать новый узел. Это мы и делали в Циммервальде.

Дни конференции (5—8 сентября) были бурными днями. Революционное крыло, возглавлявшееся Лениным, и пацифистское, к которому принадлежало большинство делегатов, с трудом сошлись на общем манифесте, проект которого был выработан мною. Манифест говорил далеко не все, что нужно было сказать. Но он означал все же большой шаг вперед. Ленин стоял на крайнем левом фланге конференции. По ряду вопросов он оставался в единственном числе внутри циммервальдской левой, к которой я формально не принадлежал, хотя по всем основным вопросам был близок к ней. В Циммервальде Ленин туго накручивал пружину для будущего международного действия. В горной швейцарской деревушке он закладывал первые камни революционного Интернационала.

Французские делегаты отметили в своем докладе то значение, какое имело для них существование «Нашего Слова», устанавливавшего идейную связь с интернационалистским движением других стран. Раковский указал, что «Наше Слово» сыграло крупную роль в процессе выработки интернационалистской позиции балканских с. д. партий. Итальянская партия была знакома с «Нашим Словом» по многочисленным переводам Балабановой. Чаще всего, однако, «Наше Слово» цитировалось в немецкой прессе, в том числе и оффициозной: как Ренодель пытался опереться на Либкнехта, так Шейдеман не прочь был зачислить в союзники нас.

Самого Либкнехта не было в Циммервальде. Он уже был пленником гогенцоллернской армии, прежде, чем стать пленником тюрьмы. Либкнехт прислал конференции письмо, знаменовавшее его резкий переход с пацифистской линии на революционную. Имя Либкнехта произносилось на конференции не раз. Оно уже стало нарицательным в борьбе, раздиравшей мировой социализм.

Писать из Циммервальда о конференции было строго запрещено, дабы сведения не проникли прежде времени в печать, и не создали делегатам затруднений при обратном переезде через границу. Через несколько дней безвестное дотоле имя Циммервальда разнеслось по всему свету. Это произвело потрясающее впечатление на хозяина отеля. Доблестный швейцарец заявил Гримму, что надеется сильно поднять цену своему владению и потому готов внести некоторую сумму в фонд Третьего Интернационала. Полагаю, однако, что он скоро одумался.

Циммервальдская конференция дала большой толчок развитию анти-военного движения в разных странах. В Германии шире развернули свою работу спартаковцы. Во Франции образовался «Комитет для восстановления международных связей». Рабочая часть русской колонии в Париже теснее сомкнулась вокруг «Нашего Слова», вынося его на своих плечах среди финансовых и иных затруднений. Мартов, в первый период усердно сотрудничавший в «Нашем Слове», теперь отошел от него. Второстепенные по существу разногласия, еще отделявшие меня от Ленина в Циммервальде, в ближайшие месяцы сошли на нет.

Тем временем над нашей головой собирались тучи, которые все более сгущались в течение 1916 года. На правах объявления реакционная Liberté печатала чьи-то заметки, обвинявшие нас в германофильстве. Мы все чаще получали анонимные письма с угрозами. И обвинения и угрозы исходили несомненно из русского посольства. Вокруг нашей ти-

пографии всегда терлись подозрительные фигуры. Эрве грозил нам полицейским пальцем. Профессор Дюркгейм, председатель правительственной комиссии по вопросу о русских изгнанниках, передавал, что в правительственных сферах говорят о закрытии «Нашего Слова» и высылке редактора. Однако, дело затягивалось. Придраться было не к чему, так как я не нарушал законов, ни даже цензурных беззаконий. Нужен был все-таки благовидный предлог. В конце концов он нашелся или, вернее сказать, был создан.

ГЛАВА XX

Высылка из Франции

Некоторые органы французской печати сообщали уже после моего приезда в Константинополь, что приказ о моей высылке из Франции остается в силе и сейчас, спустя 13 лет. Если это верно, то пришлось бы снова убедиться, что не все ценности погибли в страшнейшей из мировых катастроф. Правда, целые поколения снесены в те годы картечью, разрушены целые города, императорские и королевские короны валялись на пустырях Европы, изменились границы государств, передвинулись запретные для меня границы Франции. Но зато в этом грандиозном катаклизме счастливо сохранился приказ, подписанный г. Мальви ранней осенью 1916 г. Что из того, что сам Мальви успел после того быть высланным и снова вернуться? Часто в истории дело рук человека оказывалось сильнее своего творца.

Правда, строгий юрист может возразить, что он не усматривает необходимой непрерывности в существовании приказа. Так, в 1918 г. французская военная миссия в Москве предоставила в мое распоряжение своих активных офицеров. Вряд ли это было бы возможно в отношении «нежелательного» иностранца, лишенного доступа во Францию. Так, 10-го октября 1922 г. Эррио нанес мне в Москве визит,

совсем не для того, чтоб напомнить мне приказ о моей высылке из Франции. Наоборот, об этом приказе напомнил я, когда г. Эррио любезно осведомился, когда я думаю посетить Париж. Но и мое напоминание имело характер шутки. Мы оба смеялись, — правда, по разному, но все же вместе. Правда, в 1925 г. посол Франции, г. Эрбет, на открытии электростанции Шатура, отвечал от имени присутствовавших дипломатов на мою речь любезнейшим приветствием, в котором самое придирчивое ухо не открыло бы никаких отголосков приказа г. Мальви. Что из всего того? Недаром же один из двух полицейских инспекторов, отвозивших меня из Парижа на Ирун осенью 1916 г., объяснял мне: «правительства приходят и уходят, — полиция остается».

Чтоб лучше понять обстоятельства моей высылки из Франции, необходимо в двух словах остановиться на условиях, в каких существовала редактировавшаяся мною маленькая русская газета. Главным врагом ее было, конечно, царское посольство. Там усердно переводили на французский язык статьи «Нашего Слова» и пересылали с соответственными комментариями на Quai d'Orsay и в военное министерство. Оттуда встревоженно телефонировали нашему военному цензору, м-сье Шалю (Chasles), который провел до войны много лет в России, в качестве учителя французского языка. Шаль не отличался решительностью. Свои колебания он всегда разрешал в том смысле, что лучше вычеркнуть, чем оставить. Как жаль, что он не применил этого правила к написанной им самим несколько лет спустя из рук вон плохой биографии Ленина . . . В качестве перепуганного цензора, Шаль брал под свою защиту не только царя, царицу, Сазонова, дарданельские мечты Милюкова, но и Распутина. Можно без всякого труда доказать, что вся борьба против «Нашего Слова» — подлинная война на истощение — велась не из-за интернационализма газеты, а из-за ее революционного духа в отношении царизма.

С первым острым пароксизмом цензуры мы столкнулись в эпоху русских успехов в Галиции: при малейшей военной удаче царское посольство наглело чрезвычайно. Дело дошло на этот раз до того, что у нас целиком вычеркнули некролог графу Витте и даже самое название статьи, состоявшее всего из пяти букв: Витте. Надо еще прибавить, что в это самое время в оффициальном органе петербургского морского ведомства печатались необыкновенно наглые статьи по адресу французской республики, с издевательством над парламентом и его «жалкими царьками» — депутатами. С книжкой петербургского журнала в руках я отправился объясняться в цензуру.

— Я здесь, собственно, не при чем, — сказал мне г. Шаль, — все инструкции относительно вашего издания исходят из министерства иностранных дел. Не хотите ли поговорить с одним из наших дипломатов?

Через полчаса в помещение военного министерства явился седовласый дипломатический джентльмен. У нас произошел такой, примерно, диалог, записанный мною вскоре после того, как он состоялся.

— Не можете ли вы мне объяснить, почему у меня вычеркнули статью, посвященную русскому бюрократу, отставному, притом опальному и к тому же мертвому, и какое именно отношение имеет эта мера к военным операциям?

— Знаете ли, такие статьи им неприятны, — сказал дипломат, неопределенно кивая головою очевидно в ту сторону, где помещается русское посольство.

— Но мы именно для того и пишем, чтобы им было неприятно...

Дипломат снисходительно улыбнулся этому ответу, как милой шутке.

— Мы находимся в войне. Мы зависим от наших союзников.

— Вы хотите сказать, что внутренний режим Франции стоит под контролем царской дипломатии?

Не ошиблись ли в таком случае ваши предки, отрубая голову Людовику Капету?

— О, вы преувеличиваете. И притом, не забывайте, пожалуйста: мы находимся в войне...

Дальнейшая беседа становилась беспредметной. Дипломат с изысканной улыбкой разъяснял мне, что так как сановники смертны, то живые не любят, когда плохо говорят о мертвых. После свидания дела шли тем же порядком. Цензор вычеркивал. Вместо газеты выходил нередко лист белой бумаги. Мы никогда не были повинны в нарушении воли г. Шаля. Еще менее склонен был г. Шаль нарушать волю пославших его.

Тем не менее, в сентябре 1916 года мне в префектуре предъявили приказ о высылке меня из пределов Франции. Чем это было вызвано? Мне не сказали на этот счет ни слова. Только постепенно раскрылось, что поводом послужила злостная провокация, организованная во Франции русской охранкой.

Когда депутат Жан Лонге явился к Бриану с протестом, вернее сказать, с прискорбием — протесты Лонге звучат всегда нежнейшей мелодией — по поводу моей высылки, французский министр-президент ответил ему: «А вы знаете ли, что «Наше Слово» нашли в Марселе у русских солдат, которые убили своего полковника?» — Лонге этого не ожидал. Он знал о «циммервальдском» направлении газеты, — с этим он мог еще так или иначе мириться, — но убийство полковника не могло не застигнуть его врасплох. Лонге обратился за справками к моим французским друзьям, те в свою очередь ко мне, но я знал об убийстве в Марселе не больше, чем они. В дело случайно вмешались корреспонденты русской либеральной прессы, патриотические противники «Нашего Слова», и выяснили все обстоятельства марсельской истории. Дело в том, что одновременно с доставкой на республиканскую почву русских солдат — в виду своей незначительности эти отряды назывались «символическими» — царское правительство

спешно мобилизовало соответственное число шпионов и агентов-провокаторов. В их числе был некий Винииг (кажется, так), явившийся из Лондона, с рекомендацией от русского консула. Вининг для начала пытался привлечь к «революционной» пропаганде среди солдат умереннейших русских корреспондентов. Но тут он встретил отпор. К редакции «Нашего Слова» он не посмел адресоваться, так что мы о нем даже не знали. Потерпев в Париже неудачу, Вининг направился в Тулон, где имел, повидимому, некоторый успех среди русских матросов, которым труднее было разгадать его. «Почва для нашей работы здесь очень благоприятна, пришлите мне революционных книг и газет», писал Вининг из Тулона отдельным русским журналистам, наугад, но не получал от них ответа. В Тулоне вспыхнуло острое брожение на русском крейсере «Аскольд» и было жестоко подавлено. Роль Вининга в этом деле была слишком очевидной, и он счел своевременным перенести свою деятельность в Марсель. Почва и там оказалась «благодарной». Не без участия Вининга вспыхнуло брожение среди русских солдат, которое кончилось тем, что русский полковник Краузе был убит камнями во дворе казармы. При арестах у замешанных в это дело солдат находили один и тот же номер «Нашего Слова». Когда русские журналисты прибыли в Марсель, чтобы узнать, что там произошло, офицеры сообщили им, что некий Вининг рассовывал во время возмущения «Наше Слово» всем, кто хочет и кто не хочет. Только поэтому газету нашли у арестованных, которые не могли успеть и прочитать ее.

Нужно заметить, что сейчас же после разговора Лонге с Брианом о моей высылке, т. е прежде, чем роль Вининга в этом деле выяснилась, я в своем открытом письме Жюлю Гэду высказал предположение, что «Наше Слово» могло быть преднамеренно роздано солдатам в нужную минуту каким-либо провокатором. Это предположение получило гораздо скорее, чем я мог надеяться, неоспоримое подтверждение

со стороны ярых противников газеты. Но все равно. Царская дипломатия дала слишком ясно понять правительству республики, что если оно хочет иметь русских солдат, оно должно немедленно разорить гнездо русских революционеров. Цель была достигнута: колебавшееся до тех пор французское правительство закрыло «Наше Слово», а министр внутренних дел Мальви подписал заранее заготовленный префектом полиции приказ о высылке меня из Франции.

Теперь министерство чувствовало себя солидно прикрытым. Не только Жану Лонге, но и нескольким другим депутатам, в частности председателю парламентской комиссии Лейгу, Бриан указывал на марсельскую историю, как на причину моей высылки. Это не могло не действовать. Но так как все же «Наше Слово» к убийству полковника призывать не могло, будучи строго подцензурной газетой, и свободно продавалось в киосках Парижа, то дело оставалось загадочным — до тех пор, пока не вскрылась его провокационная подоплека. О ней стало известно и в палате. Мне передавали, что тогдашний министр народного просвещения Пенлеве воскликнул, когда ему изложили закулисную сторону дела: «Это позор... этого нельзя так оставить!» Но шла война. Царь был союзником. Нельзя было обнажать Вининга. Оставалось привести в исполнение приказ Мальви.

Парижская префектура довела до моего сведения, что я высылаюсь из Франции в одну из стран по собственному выбору. Впрочем, тут же я был предупрежден, что Англия и Италия отказываются от чести оказать мне гостеприимство. Оставалось вернуться в Швейцарию. Но — увы — швейцарская миссия наотрез отказалась дать мне визу. Я телеграфировал швейцарским друзьям и получил от них успокоительный ответ: вопрос будет разрешен в положительном смысле. Швейцарская миссия, однако, по прежнему отказывала в визе. Как выяснилось потом, русское посольство, при помощи союзников, про-

извело в Берне необходимый нажим, и швейцарские власти намеренно затягивали разрешение вопроса, чтоб дать время выслать меня из Франции. В Голландию и Скандинавию можно было попасть только через Англию. Но английское правительство категорически отказывало мне в праве проезда. Оставалась одна Испания. Но тут уж я сам отказался выезжать добровольно на Пиренейский полуостров. Около шести недель продолжалась возня с парижской полицией. Филеры преследовали меня по пятам, дежурили у моей квартиры и у редакции нашей газеты, не спуская меня с глаз. Наконец, парижские власти решили применить твердые меры. Префект полиции Лоран, пригласив меня к себе, предупредил, что так как я отказываюсь выезжать добровольно, то ко мне явятся два инспектора полиции, — впрочем, в «штатском платье», — прибавил он со всей возможной предупредительностью. Царское посольство добилось своего: я был выслан из Франции.

В деталях моего изложения, основанного на записях того времени, могут быть мелкие неточности. Но все основное совершенно неоспоримо. К тому же большинство лиц, прикосновенных к этой истории, живы и сейчас. Многие из них находятся во Франции. Существуют документы. Восстановить факты было бы поистине не трудно. С своей стороны я не сомневаюсь, что если извлечь приказ Мальви о моей высылке из архивов полиции и подвергнуть этот документ дактилоскопическому исследованию, то где-нибудь в углу можно наверняка открыть отпечаток указательного пальца г. Вининга.

ГЛАВА XXI

Через Испанию

Два полицейских инспектора дожидались у меня на квартире, на маленькой rue Oudry. Один — небольшого роста, почти старик; другой — огромный,

лысый, лет 45, черный, как смоль. Штатское платье сидело на обоих нескладно, и когда они отвечали, то брали рукою невидимый козырек. Когда я прощался с друзьями и семьей, полицейские архи-вежливо спрятались за дверь. Выходя, старший несколько раз снимал шляпу: «Excusez, Madame».

Один из двух филеров, неутомимо и злобно преследовавших меня в течение последних двух месяцев, дожидался у подъезда. Он дружелюбно, как ни в чем не бывало, поправил плед и закрыл двери автомобиля. Видом он был похож на охотника, который сдает дичь покупателю. Мы поехали.

Скорый поезд. Купэ третьего класса. Старший инспектор оказался географом. Томск, Казань, Нижегородская ярмарка — он знает все. Говорит поиспански, знает страну. Второй, черный и высокий, долго молчал и насупившись сидел в стороне. Но потом развернулся. «Латинская раса топчется на месте, другие ее обходят», — заявил он неожиданно, строгая ножом кусок свинины на волосатой руке с тяжелыми перстнями. — «Что вы имеете в литературе? Упадок во всем. В философии то же самое. Со времени Декарта и Паскаля нет движения... Латинская раса топчется на месте». Я изумленно ждал продолжения. Но он замолчал и стал жевать сало с булкой. — «У вас был недавно Толстой, но Ибсен нам понятнее Толстого». И опять замолчал.

Старик, уязвленный этим взрывом учености, стал выяснять значение Сибирской железной дороги. Затем, дополняя и в то же время смягчая пессимистическое заключение своего коллеги, прибавил: «Да, у нас есть недостаток инициативы. Все стремятся в чиновники. Это печально, но отрицать нельзя». Я слушал обоих покорно и не без интереса.

— Слежка? О, теперь это невозможная вещь. Слежка тогда действительна, когда ее не видно, не правда ли? Нужно сказать прямо: метро убивает слежку. Тем, за кем следят, следовало бы предписать: не садитесь в метро, — тогда только слежка

возможна. — И черный мрачно засмеялся. Старик, смягчая: «часто мы следим, — увы, — сами не зная почему».

— Мы, полицейские, — скептики, — снова заявил черный без переходов. — Вы имеете свои идеи. Мы же охраняем то, что существует. Возьмите Великую Революцию. Какое движение идей! Через четырнадцать лет после революции народ был несчастнее, чем когда либо. Прочитайте Тэна... Мы, полицейские, консерваторы по должности. Скептицизм есть единственная философия, которая отвечает нашей профессии. В конце концов никто не выбирает своего пути. Свободы воли не существует. Все предопределено ходом вещей.

Он стал стоически пить красное вино прямо из горлышка бутылки. Потом, затыкая пробкой: — Ренан сказал, что новые идеи всегда приходят еще слишком рано. И это верно.

При этом черный бросил подозрительный взгляд на мою руку, которую я случайно положил на рукоятку двери. Чтобы успокоить его, я спрятал руку в карман.

Тем временем старик снова брал реванш: он говорил о басках, их языке, женщинах, их головных уборах и прочее. Мы подъезжали к станции Hendaye.

— Здесь жил Дерулед, наш национальный романтик. Ему достаточно было видеть горы Франции. Дон-Кихот в своем испанском уголку. — Черный улыбнулся с твердой снисходительностью. — Пожалуйте, м-сье, за мной в комиссариат вокзала.

В Ируне французский жандарм обратился ко мне с вопросом, но мой спутник сделал ему франкмасонский знак и торопливо повел меня какими-то вокзальными проходами.

— C'est fait avec discretion? N'est ce pas? — спросил меня черный. — Вы сможете проехать в трамвае из Ируна в Сан-Себастьян. Вы должны иметь вид туриста, чтоб не вызывать подозрения

испанской полиции, которая очень-очень мнительна. И далее я вас не знаю, не так ли?

Простились мы холодно...

Из Сан-Себастьяна, где я любовался морем и ужасался ценам, я проехал в Мадрид и оказался в городе, где я никого не знал — ни одного человека — и где никто не знал меня. А так как я не знал испанского языка, то я не мог бы быть более одиноким в Сахаре или в Петропавловской крепости. Оставалось прибегнуть к языку искусства. Два года войны заставили забыть, что оно вообще существует на свете. С жадностью проголодавшегося я смотрел неоценимые сокровища Мадридского музея и чувствовал попрежнему элемент «вечного» в этом искусстве. Рембрандт, Рибейра. Картины Боса ван Акен, гениальные по своей наивной жизнорадостности. Старик сторож дал мне лупу, чтоб рассмотреть маленькие фигуры крестьян, осликов и собак на картинах Миеля. Война здесь совсем не чувствовалась, все стояло прочно на месте, краски жили своей неподконтрольной жизнью.

Вот что я записал в музее в свою записную книжку:

«Между нами и этими стариками — отнюдь не заслоняя и не умаляя их — стало до войны новое искусство, более интимное, более индивидуалистическое, нюансированное, более субъективное, более напряженное. Война, вероятно, надолго смоет эти настроения и эту манеру — массовыми страстями и страданиями, но это никак не сможет означать простой возврат к старой форме, хотя бы и прекрасной, к анатомической и ботанической законченности, к рубенсовским бедрам (хотя бедра, вероятно, будут играть в новом, послевоенном, жадном к жизни искусстве большую роль). Трудно гадать, но из тех небывалых переживаний, какими захвачено непосредственно почти все культурное человечество, должно же родиться новое искусство»...

Сидя у себя в отеле я со словарем в руках читал испанские газеты и ждал ответа на письма, отправ-

ленные в Швейцарию и Италию. Я все еще надеялся проехать туда. На четвертый день пребывания в Мадриде я получил из Парижа письмо с адресом французского социалиста Габье. Он занимал здесь пост директора страхового общества. Несмотря на свое буржуазное общественное положение, Габье оказался решительным противником патриотической политики своей партии. От него я узнал, что испанская партия находится целиком под влиянием французского социалпатриотизма. Серьезная оппозиция только в Барселоне, у синдикалистов. Секретарь социалистической партии Ангиано, которого я хотел посетить, оказался посажен в тюрьму на 15 дней за непочтительный отзыв о каком-то католическом святом. Во дни оны Ангиано просто-на-просто сожгли бы на ауто-да-фе.

Я ждал ответа из Швейцарии, заучивал испанские слова, беседовал с Габье и посещал музеи. 9 ноября горничная маленького пансиона, где устроил меня Габье, вызвала меня испуганными жестами в коридор. Там стояли два очень определенной внешности молодчика, которые без большого дружелюбия пригласили меня следовать за ними. Куда? Разумеется, в помещение мадридской префектуры. Там меня усадили в углу. — Значит я арестован? — спросил я.

— Да, par una hora, dos horas (на час — на два).

Не меняя позы, я просидел в префектуре 7 часов под-ряд. В 9 часов вечера меня повели наверх. Я предстал перед довольно многочисленным Олимпом.

— За что, собственно, вы меня арестовали?

Этот простой вопрос поставил олимпийцев в тупик. Они стали по очереди предлагать различные гипотезы. Один сослался на паспортные затруднения, которые русское правительство чинит иностранцам, отправляющимся в Россию.

— Если-б вы знали, сколько мы денег тратим на преследование наших анархистов... — искал моего сочувствия другой.

— Но, позвольте, ведь я не могу отвечать одновременно и за русскую полицию и за испанских анархистов.

— Конечно, конечно, это только к примеру...

— Какие ваши взгляды? — спросил, наконец, после размышлений шеф.

Я в популярной форме изложил свои взгляды.

— Ну, вот видите, — ответили мне.

В результате шеф заявил через переводчика, что мне предлагается немедленно покинуть Испанию, а впредь до этого моя свобода будет подвергнута «некоторым ограничениям». — Ваши идеи слишком передовые (trop avancées) для Испании, — ответил он мне чистосердечно через переводчика.

В 12 часов ночи агент на извозчике отвез меня в тюрьму. Неизбежный осмотр вещей в центре тюремной «звезды», в пересечении пяти корпусов, в четыре этажа каждый. Лестницы железные, висячие. Тишина, особая, тюремная, ночная, насыщенная тяжелыми испарениями и кошмарами. Скудные электрические лампочки в коридорах. Все знакомое, все то же. Грохот отворяемой железом окованной двери. Большая комната, полутьма, скверный тюремный запах, жалкая кровать, внушающая отвращение. Грохот запираемой двери. В который это раз? Я открыл форточку за решеткой. Повеяло прохладой. Не раздеваясь и застегнувшись на все пуговицы, я улегся на кровать и укрылся своим пальто. Тут только мне стала ясна вся несуразность случившегося. В Мадриде — в тюрьме. Вот что мне никогда не снилось. Извольский поработал на славу. В Мадриде. Я лежал в постели мадридской «образцовой тюрьмы» и от всей души смеялся. Смеялся, пока не заснул.

На прогулке уголовные мне объяснили, что в этой тюрьме есть камеры платные и бесплатные. Камера первого класса стоит полторы песеты в сутки, второго—75 сантимов. Всякий арестант вправе занять платное помещение, но не вправе отказываться от бесплатного. Моя камера — платная, первого

класса. Я снова смеялся от души. Но в конце концов это только последовательно. Почему должно быть равенство пред тюрьмой в обществе, которое целиком построено на неравенстве? Я узнал сверх того, что обитатели платных камер гуляют два раза в день по часу, тогда как остальные — всего полчаса. Опять-таки правильно. Легкие казнокрада, который платит ежедневно полтора франка, имеют право на большую порцию воздуха, чем легкие стачечника, который дышит бесплатно.

На третий день меня позвали для антропометрических измерений и предложили вымазать свои пальцы в типографскую краску, чтобы запечатлеть их на карточках. Я отказался. Тогда прибегли к «силе», впрочем с изысканной вежливостью. Я глядел в окно, а надзиратель вежливо пачкал мою руку, палец за пальцем, и накладывал раз десять на всякие карточки и листы, — сперва правую руку, потом левую. Дальше мне предложили сесть и снять обувь. С ногами дело оказалось труднее. Администрация ходила вокруг меня в замешательстве. В конце концов меня неожиданно отпустили на свидание с Габье и Ангиано, которого накануне выпустили из тюрьмы, только из другой. Они сообщили, что для моего освобождения приведены в движение все рычаги. В коридоре я столкнулся с тюремным священником. Он выразил свои католические симпатии моему пацифизму и прибавил в утешение: «Pacienzia, pacienzia». Ничего другого мне пока и не оставалось.

12-го утром агент сообщил мне, что сегодня вечером, я должен ехать в Кадикс, и справился, желаю ли я сам платить за свой билет. Но я не собирался в Кадикс. Я твердо отказался платить за билет. Достаточно платы за номер в образцовой тюрьме.

Итак, вечером мы отправились из Мадрида в Кадикс. Путевые издержки за счет испанского короля. Но почему в Кадикс? Я еще раз посмотрел на карту. Кадикс находится на самом крайнем пункте юго-западного полуострова Европы: из Березова на

оленях черех Урал в Петербург, оттуда кружным путем в Австрию, из Австрии через Швейцарию во Францию, из Франции в Испанию и, наконец, через весь Пиренейский полуостров — в Кадикс. Общее направление: с северо-востока на юго-запад. Дальше материк кончается, начинается океан. Pacienzia!

Агенты, меня сопровождавшие, отнюдь не окружали нашего путешествия тайной: наоборот, всем, всем, кто только интересовался, они обстоятельно рассказывали мою историю, при чем характеризовали меня с самой лучшей стороны: не фальшивомонетчик, а кабальеро, но с неподходящими взглядами. Все утешали меня тем, что в Кадиксе очень хороший климат.

— Как собственно вы до меня добрались? спрашивал я агентов. — Очень просто: по телеграмме из Парижа. Так я и думал. Мадридская дирекция получила от парижской префектуры телеграмму: «Опасный анархист, имя рек, переехал границу у Сан-Себастьяно. Хочет поселиться в Мадриде». Так что меня заранее ждали, искали и были обеспокоены, не находя в течение целой недели. Французские полицейские «деликатно» провели меня через границу, почитатель Монтеня и Ренана спросил даже: «C'est fait avec discretion, n'est ce pas?», — а одновременно та же полиция телеграфировала в Мадрид, что через Ирун-Сан-Себастьян проехал опасный «анархист».

Во всей этой истории крупную роль играл шеф так называемой юридической полиции, Биде-Фопа. Он был душою слежки и высылки. От своих коллег Биде отличался необыкновенной грубостью и злобностью. Он пытался разговаривать со мною тоном, какого никогда не позволяли себе царские жандармские офицеры. Наши беседы всегда заканчивались взрывом. Уходя от него, я чувствовал за спиною ненавидящий взгляд. На тюремном свидании с Габье я выразил уверенность, что мой арест подготовлен Биде-Фопа. Имя это, с моей легкой руки, прошло по испанской печати. Меньше, чем через два года, судьбе угодно было доставить мне за счет г. Биде

совершенно неожиданное удовлетворение. Летом 1918 г. мне сообщили однажды по телефону в военный комиссариат, что Биде, громовержец Биде, заключен в одну из советских тюрем. Я не хотел верить своим ушам. Оказалось, что правительство Франции отправило его в состав военной миссии для розыскных и заговорщических дел в Советской Республике. А он имел неосторожность попасться. Поистине большего удовлетворения нельзя требовать от Немезиды, особенно, если прибавить, что сам Мальви, министр внутренних дел Франции, подписавший приказ о моей высылке, сам был вскоре после того выслан из Франции министерством Клемансо по обвинению в пацифистских кознях. Надо же выдумать такое стечение обстоятельств, как бы специально предназначенное для фильмы!

Когда Биде привели ко мне в комиссариат, я сразу не признал его. Громовержец превратился в простого смертного, притом опустившегося. Я смотрел на него с недоумением. — Mais oui, monsieur, — сказал он, склоняя голову, — c'est moi. Да, это был Биде. — Но как же так? Как это могло случиться? — Я был искренне поражен. Биде философски развел руками и с убежденностью полицейского стоика заявил: c'est la marche des evénements. Вот именно! Прекрасная формула. В моей памяти всплыл черный фаталист, который вез меня в Сан-Себастьян: «свободы выбора нет, все предопределено заранее». — Но все же, г. Биде, вы не были со мной очень вежливы в Париже!.. — Увы, я должен это с грустью признать, господин народный комиссар. Я часто об этом думал в моей камере. Человеку иногда полезно, — прибавил он многозначительно — познакомиться с тюрьмой изнутри. Но я надеюсь все же, что мое парижское поведение не будет иметь для меня печальных последствий. — Я успокоил его. — Вернувшись в Париж, — заверял он меня, — я не буду заниматься тем, чем занимался. — Разве, г. Биде? On revient toujours á ses premiers amours. — Я так часто рассказывал эту

сцену своим друзьям, что помню наш диалог, как еслиб дело было вчера. Позже Биде был отпущен во Францию при размене пленных. Мне неизвестна его дальнейшая судьба.

Однако, из комиссариата по военным делам нам надо вернуться несколько назад, в Кадикс.

Посоветовавшись с губернатором, кадикский префект сообщил мне, что завтра утром, в 8 часов, я буду отправлен в Гавану, куда, по счастливой случайности как раз завтра идет пароход.

— Куда?

— В Гаванну.

— В Га-ван-ну?

— В Гаванну!

— Я добровольно не поеду.

— Мы вынуждены будем вас посадить в трюм.

Присутствовавший при разговоре в качестве переводчика, секретарь немецкого консульства, приятель префекта, рекомендовал мне «считаться с реальностями» (sich mit den Realitäten abzufinden).

Pacienzia, pacienzia! Но это было уже слишком. Я еще раз заявил, что это не пройдет. В сопровождении филеров я бегал на телеграф по улицам очаровательного города, мало замечал его, и давал телеграммы «урхенте» (срочно) Габье, Ангиано, директору охраны, министру внутренних дел, премьеру Романонесу, либеральным газетам, республиканским депутатам, мобилизуя все доводы, какие можно вместить в пределы депеши. Потом рассылал во все концы письма. «Представьте себе, дорогой друг, — писал я итальянскому депутату Серрати, — что вы находитесь сейчас в Твери под надзором русской полиции, и что вас намерены выслать в Токио, куда вы совершенно не собирались, — таково приблизительно мое положение в Кадиксе, накануне отправки в Гаванну». Потом снова мчался с филерами к префекту. Под моим напором тот телеграфировал на мой счет

в Мадрид, что я предпочитаю оставаться в кадикской тюрьме до нью-иоркского парохода, чем отправляться в Гаванну. Я не хотел сдаваться. Это был горячий день!

Тем временем республиканский депутат Кастровидо внес по поводу моего ареста и высылки запрос в кортесы. В газетах началась полемика. Левые нападали на полицию, но, как франкофилы, осуждали мой пацифизм. Правые сочувствовали моему «германофильству» (не даром же я выслан из Франции), но боялись моего анархизма. В этой путанице никто ничего не понимал. Мне разрешили все же дожидаться в Кадиксе ближайшего парохода на Нью-Иорк. Это было серьезной победой!

Несколько недель после того я состоял под надзором кадикской полиции. Но это был совсем мирный и семейный надзор, не то, что в Париже. Там я затрачивал в течение двух последних месяцев немало энергии на то, чтобы уйти от шпиков, — уезжал на одиноком автомобиле, входил в темный кинематограф, вскакивал в самый последний момент в вагон метро, или, наоборот, неожиданно выскакивал из него и пр. и пр. Филеры тоже не дремали, всячески изощрялись в погоне за мной: перехватывали автомобили, дежурили у выходов из кинематографа и вылетали, на подобие бомбы, из трамвая и метро, к негодованию публики и кондукторов. В сущности это было искусство для искусства. Моя политическая деятельность протекала целиком на глазах полиции. Но преследование филеров раздражало и порождало спортивные инстинкты. А в Кадиксе филер объявляет, что вернется в таком-то часу, и я должен его терпеливо ждать в отеле. В свою очередь он твердо отстаивает мои интересы, помогает мне при покупках и обращает мое внимание на все выбоины тротуара. Когда разносчик варенных креветок запросил с меня два реала за дюжину, шпик неистово бранился, угрожающе махал руками и, уж когда продавец вышел из кафе, снова

догнал его и поднял под окнами такой крик, что собралась толпа.

Я старался не терять времени даром: работал в библиотеке над историей Испании, зубрил испанские спряжения и, готовясь к Америке, обновлял свой запас английских слов. Дни проходили незаметно и нередко к вечеру я с огорчением замечал, что близится день отъезда, а я еще слишком мало продвинулся вперед. В библиотеке я был всегда один, если не считать книжных червей, которые изъели множество томов XVIII столетия. Нужно бывало иной раз не мало усилий, чтоб разгадать имя или число.

В своей тогдашней записной книжке я нахожу такую заметку для памяти: «Историк испанской революции рассказывает о политиках, которые за пять минут до победы народного движения клеймили его, как преступление и безумие, а после победы высовывались вперед. Эти ловкие господа, — продолжает старый историк, — появлялись во всех последующих революциях и кричали громче всех. Испанцы называют таких ловкачей panzistas — от слова брюхо. От этого слова происходит, как известно, и прозвище нашего старого знакомца Санчо-Панса. Название это трудно переводимо (шкурники, что ли?), но трудность тут лингвистическая, а не политическая. Самый тип вполне интернационален». После 1917 г. я имел снова не мало случаев в этом убедиться.

Замечательно, что кадикские газеты ничего не сообщали о войне, как-будто ее не существовало. Когда я обращал внимание собеседников на полное отсутствие военных бюллетеней в самой распространенной газете «El Diario de Cadiz», мне отвечали удивленно: «Неужели? Не может быть . . . Да, да, действительно». Значит, сами раньше не замечали. В конце концов воюют где то за Пиренеями. Я сам стал отвыкать от войны.

Пароход на Нью-Иорк отходил из Барселоны. Я добился разрешения выехать туда навстречу семье. В Барселоне новые затруднения с префектурой, новые

протесты и телеграммы, новые филеры. Прибыла семья. У них было за это время немало волнений в Париже. Зато теперь все хорошо. Осматривали Барселону в сопровождении филеров. Мальчики одобряют море и фрукты. С мыслью о переезде в Америку мы все уже примирились. Хлопоты мои о переезде из Испании в Швейцарию через Италию не привели ни к чему. Правда, разрешение было, наконец, по настоянию итальянских и швейцарских социалистов дано, но лишь после того, как я уже погрузился с семьей на испанский пароход, отчаливший 25 декабря из барселонского порта. Запоздание было, разумеется, преднамеренным. У Извольского все было по этой части согласовано не плохо.

Дверь Европы захлопнулась за мной в Барселоне. Полиция усадила меня с семьей на пароход испанской Трансатлантической компании «Монсерат», который в течение 17 дней доставил свой живой и мертвый груз в Нью-Йорк. 17 дней — этот срок был бы очень заманчивым для эпохи Христофора Колумба, памятник которого возвышается над портом Барселоны. Море было чрезвычайно бурно в эту худшую пору года, и корабль делал все, чтобы напомнить нам о бренности существования. «Монсерат» — старье, малоприспособленное для плавания по океану. Но нейтральный испанский флаг снижал во время войны число шансов на потопление. По этой причине испанская компания брала дорого, размещала плохо, кормила того хуже.

Население парохода было пестрое и, в своей пестроте, малопривлекательное. Здесь оказалось немало дезертиров разных стран, преимущественно более высокой марки. Художник увозил свои картины, свой талант, свою семью и свое достояние, под покровительством старика-отца, подальше от линии огня. Боксер, он же беллетрист, двоюродный брат Оскара Уайльда, открыто признавался, что предпочитает сокрушать челюсти господам янки в благородном спорте, чем дать проколоть свои бока какому-нибудь

немцу. Чемпион биллиардной игры, безукоризненный джентльмен, возмущался тем, что очередь дошла и до его возраста. И ради чего? ради этой бессмысленной бойни? Нет! И он выражал свои симпатии идеям Циммервальда. Все остальные были в том же роде: дезертиры, авантюристы, спекулянты или выкинутые из Европы «нежелательные» элементы, — ибо кому же придет в голову добровольно пересекать в такое время Атлантический океан на жалком испанском пароходишке?..

Труднее разобраться в пассажирах третьего класса. Эти лежат в тесноте, двигаются мало, мало разговаривают, ибо мало едят, угрюмые, плывущие от одной нужды, злой и постылой, к другой, окруженной пока неизвестностью. Америка работает на воюющую Европу и нуждается в свежей рабочей силе, только без трахомы, без анархизма и других болезней.

Пароход открывает для мальчиков необъятное поле наблюдений. Каждый раз они открывают что-нибудь новое. — Знаешь, кочегар здесь очень хороший. Он републикан. — Вследствие непрерывных перебросок из страны в страну, они говорят на некотором условном языке. — Республиканец? Да как же вы его поняли? — Он все нам хорошо объяснил. Сказал Альфонсо, а потом так: пиф-паф. Ну, значит, действительно республиканец, соглашаюсь я. Мальчики тащут для кочегара сушенную малагу и другие привлекательные вещи. Они нас знакомят. Республиканцу лет двадцать и насчет монархии у него, повидимому, взгляды вполне определенные.

1 января 1917 года. Все на пароходе поздравляли друг друга с новым годом. Два новых года войны я встретил во Франции, третий — на океане. Что готовит 1917 год?

Воскресенье 13 января. Подъезжаем к Нью-Иорку. В три часа ночи пробуждение. Стоим. Темно. Холодно. Ветер. Дождь. На берегу мокрая громада зданий. Новый Свет!

ГЛАВА XXII

В Нью-Иорке

Я оказался в Нью-Иорке, в сказочно-прозаическом городе капиталистического автоматизма, где на улицах торжествует эстетическая теория кубизма, а в сердцах — нравственная философия доллара. Нью-Иорк импонировал мне, так как он полнее всего выражает дух современной эпохи.

Больше всего легенд существует, кажется, насчет моей жизни в Соединенных Штатах. Если в Норвегии, где я был лишь проездом, изобретательные журналисты заставили меня заниматься чисткой трески, то в Нью-Иорке, где я провел два месяца, печать провела меня через целую серию профессий, одна интереснее другой. Если бы собрать приписанные мне газетами приключения, получилась бы, вероятно, гораздо более занимательная биография, чем та, которую я здесь излагаю. Но я вынужден разочаровать своих американских читателей. Единственной моей профессией в Нью-Иорке была профессия революционного социалиста. И так как дело было до «освободительной», «демократической» войны, то эта профессия еще не считалась в Соединенных Штатах более преступной, чем профессия алкогольного контрабандиста. Я писал статьи, редактировал газету и выступал на рабочих собраниях. Я был занят по горло и не чувствовал себя чужим. В одной из нью-иоркских библиотек я прилежно изучал хозяйственную жизнь Соединенных Штатов. Цифры роста американского экспорта за время войны поразили меня. Они были для меня настоящим откровением. Эти цифры предопределяли не только вмешательство Америки в войну, но и решающую мировую роль Соединенных Штатов после войны. Я тогда же написал на эту тему ряд статей и прочитал несколько докладов. С этого времени проблема «Америка и Европа» навсегда вошла в круг главных моих интересов. И

сейчас я внимательно работаю над этим вопросом, надеюсь посвятить ему книгу. Для понимания грядущих судеб человечества нет темы более значительной, чем эта.

На другой день после прибытия я писал в русской газете «Новый Мир»:

«С глубокой верой в надвигающуюся революцию я покинул окровавленную Европу. И без всяких «демократических» иллюзий я вступил на берег этого достаточно постаревшего нового света». А через десять дней я говорил на интернациональном «митинге встречи»: «Величайший по значению экономический факт состоит в том, что Европа разоряется в самых основах своего хозяйства, тогда как Америка обогащается. И, глядя с завистью на Нью-Иорк, я, еще не переставший чувствовать себя европейцем, с тревогой спрашиваю себя: выдержит ли Европа? Не превратится ли она в кладбище? И не перенесется ли центр экономической и культурной тяжести мира сюда, в Америку?» Несмотря на успехи так называемой европейской стабилизации, вопрос этот и сегодня сохраняет всю свою силу.

Я читал доклады на русском и немецком языках в разных частях Нью-Иорка, в Филадельфии и других соседних городах. Мой английский язык был тогда еще слабее, чем сейчас, так что я и думать не мог о публичных выступлениях по английски. Между тем я не раз встречал ссылку на мои английские речи в Нью-Иорке. На днях только редактор константинопольской газеты описывал мне самому одно из таких моих мнимых выступлений, на котором он присутствовал в качестве американского студента. Каюсь: у меня не хватило мужества сказать ему, что он сам является жертвой собственного воображения. Увы, с тем большей уверенностью он повторил свое воспоминание в газете.

Мы сняли квартиру в одном из рабочих кварталов и взяли на выплату мебель. Квартира за

18 долларов в месяц была с неслыханными для европейских нравов удобствами: электричество, газовая плита, ванная, телефон, автоматическая подача продуктов наверх и такой же спуск сорного ящика вниз. Все это сразу подкупило наших мальчиков в пользу Нью-Йорка. В центре их жизни стал на некоторое время телефон. Этого воинственного инструмента у нас ни в Вене, ни в Париже не было. Дженитори (дворник) нашего дома был негр. Жена внесла ему плату за три месяца, но не получила установленной росписки, так как домовладелец унес накануне книжку квитанций для проверки. Когда через два дня мы въехали в квартиру, оказалось, что негр сбежал, захватив с собою квартирную плату нескольких жильцов. Кроме денег, мы сдали ему на хранение еще и свои вещи. Мы были встревожены. Это было плохое начало. Но вещи оказались налицо. Когда же мы вскрыли деревянный ящик с посудой, то к великому нашему изумлению там обнаружились наши доллары, тщательно завернутые в бумажку. Дженитори унес плату только тех жильцов, которым выданы были правильные росписки. Негр не пощадил домовладельца, но не хотел причинять ущерба квартирантам. Право же это был прекрасный человек. Мы с женой были глубоко тронуты его заботой и сохранили о нем благодарную память. Симптоматическое значение этого маленького приключения показалось мне очень большим. Передо мною как будто приподнялся уголок «черной» проблемы в Соединенных Штатах.

В Америке шло в те месяцы деятельное подготовление к войне. Больше всего помогали этому делу, как всегда, — пацифисты. Дешевые речи о преимуществах мира над войною они заканчивали обещанием поддержать войну, если она станет «необходимой». В этом духе вел агитацию Брайан. Социалисты подпевали пацифистам. Известно ведь, что для пацифистов война является врагом только в мирное время.

После объявления немцами неограниченной подводной войны, на всех восточных вокзалах и в портах Соединенных Штатов сосредоточились горы боевых запасов, закупорив железные дороги. Цены на предметы потребления сразу сделали скачек вверх и я наблюдал в богатейшем Нью-Иорке, как десятки тысяч женщин-матерей выходили на улицу, опрокидывали лотки и громили лавки с предметами потребления. Что-то будет во всем свете после войны? спрашивал я себя и других.

3-го февраля произошел долгожданный разрыв дипломатических отношений с Германией. Музыка шовинизма крепчала со дня на день. Тенора пацифистов и фальцеты социалистов не нарушали гармонии. Я наблюдал уже все это в Европе, и американская мобилизация патриотизма была для меня только повторением пройденного. Я отмечал этапы процесса в своей русской газете и думал о глупости человечества, которое так медленно учится.

Через окно редакционного помещения я наблюдал такую картину. Старик с гноящимися глазами и всклокоченной седой бородой остановился возле жестянки с отбросами и извлек ковригу хлеба. Старик попробовал хлеб руками, поднес окаменелость к зубам, потом несколько раз ударил ею о жестянку. Ничто не помогало, хлеб устоял. Тогда, оглянувшись, не то с испугом, не то со смущением, он запихнул находку под полу рыжего пиджака и заковылял дальше по улице Святого Марка... Это маленькое событие произошло 2 марта 1917 года. Оно нимало не нарушило планов правящего класса. Война должна была стать неизбежной, и пацифисты должны были поддержать ее.

Одним из первых на почве Нью-Иорка нас встретил Бухарин, сам незадолго перед тем высланный из Скандинавии. Бухарин знал нашу семью еще по венским временам и приветствовал нас со свойственной ему ребячливой восторженностью. Несмотря на нашу

усталость и позднее время, Бухарин увел нас с женой в первый же день осматривать публичную библиотеку. Со времени совместной работы в Нью-Иорке начинается все возрастающая привязанность Бухарина ко мне, которая, все повышаясь, перешла в 1923 г. в свою противоположность. Свойство этого человека таково, что он всегда должен опираться на кого-либо, состоять при ком-либо, прилипнуть к кому-либо. В такие периоды Бухарин является просто медиумом, через который говорит и действует кто-то другой. Но надо не спускать с медиума глаз: иначе он незаметно для себя подпадет под прямо противоположное влияние, как другие люди попадают под автомобиль, и начнет поносить своего идола с той же беззаветной восторженностью, с какой только что превозносил. Я никогда не брал Бухарина слишком всерьез и предоставлял его самому себе, а это значит — другим. Бухарин стал после смерти Ленина медиумом Зиновьева, затем Сталина. Сейчас, когда пишутся эти строки, Бухарин проходит через новый кризис, и новые мне еще неведомые флюиды проникают в него.

В Америке же находилась в то время и Колонтай. Она много разъезжала и я сравнительно мало с ней встречался. Во время войны она проделала резкую эволюцию влево и из рядов меньшевизма перешла на левый фланг большевиков. Знание языков и темперамент делали ее ценным агитатором. Ее теоретические воззрения всегда оставались смутны. В нью-иоркский период ничто на свете не было для нее достаточно революционно. Она переписывалась с Лениным. Преломляя факты и идеи через призму своей тогдашней ультра-левизны, Колонтай снабжала Ленина американской информацией, в частности и о моей деятельности. В ответных письмах Ленина можно найти отголоски этого заведомо негодного осведомления. В борьбе против меня эпигоны не преминули позже воспользоваться заведомо ошибочными отзывами, от которых он сам отказался, и сло-

вом и делом. В России Колонтай почти с первых же дней встала в ультра-левую оппозицию не только ко мне, но и к Ленину. Она очень много воевала против «режима Ленина-Троцкого», чтобы затем трогательно склониться перед режимом Сталина.

Социалистическая партия Соединенных Штатов чрезвычайно отстала в идейном смысле даже от европейского социалпатриотизма. Однако, высокомерие еще нейтральной в то время американской прессы по адресу «беснующейся» Европы находило свое отражение и в суждениях американских социалистов. Люди, как Хилквит, не прочь были разыграть из себя социалистического американского дядюшку, который явится в нужный момент в Европу и примирит враждующие партии Второго Интернационала. И сейчас я не без улыбки вспоминаю лидеров американского социализма. Иммигранты, игравшие в молодости кое-какую роль в Европе, быстро растеривали привезенные с собою теоретические предпосылки в сутолоке борьбы за успех. В Соединенных Штатах есть обширный слой преуспевающих и полууспевающих врачей, адвокатов, дантистов, инженеров и пр., которые делят свои драгоценные досуги между концертами европейских знаменитостей и американской социалистической партией. Их миросозерцание состоит из обрывков и лоскутов усвоенной в студенческие годы премудрости. Так как каждый из них имеет кроме того автомобиль, то их выбирают неизменно в руководящие комитеты, комиссии и делегации партии. Эта чванная публика налагает печать своего духа на американский социализм. Вильсон был для них неизмеримо авторитетнее Маркса. В сущности это лишь разновидности мистера Бабита, дополняющего свои коммерческие дела вялыми воскресными размышлениями о будущности человечества. Эти люди живут небольшими национальными кланами, где идейная солидарность служит чаще всего прикрытием деловых связей. Каждый клан имеет своего вождя, обычно наиболее зажиточного Бабита. Они

очень терпимы ко всяким идеям, если только эти идеи не подрывают их традиционного авторитета и не угрожают — упаси боже — их личному благополучию. Бабитом всех Бабитов является Хилквит, идеальный социалистический вождь преуспевающих зубных врачей.

Первого моего соприкосновения с этими людьми было достаточно, чтобы вызвать в них откровенную ненависть ко мне. Мои чувства к ним, может быть более спокойные, также не отличались симпатией. Мы принадлежали к разным мирам. В моих глазах они были самой гнилой частью того мира, против которого я вел и веду борьбу.

Старик Евгений Дебс резко выделялся на фоне старшего поколения непотухающим внутренним огоньком социалистического идеализма. Искренний революционер, но романтик и проповедник, совсем не политик и не вождь, Дебс подпадал под влияние людей, которые были во всех отношениях ниже его. Главное искусство Хилквита состояло в том, чтобы сохранять на своем левом фланге Дебса, не нарушая деловой дружбы с Гомперсом. Лично Дебс производил обаятельное впечатление. При встречах он обнимал и целовал меня: нужно отметить, что старик не принадлежал к числу «сухих». Когда Бабиты объявили против меня блокаду, Дебс не принял в ней участия — он просто отошел в сторону с огорчением.

Я вошел с первых же дней в редакцию ежедневной русской газеты «Новый Мир», в которой, кроме Бухарина, уже работали Володарский, убитый впоследствии социалистами - революционерами под Петроградом, и Чудновский, раненный под Петроградом и убитый затем в Украине. Эта газета стала центром революционно-интернационалистской пропаганды. Во всех национальных федерациях социалистической партии имелись работники, владеющие русским языком. Многие члены русской федерации го-

ворили по-английски. Идеи «Нового Мира» проникали таким путем в широкие круги американских рабочих. Мандарины официального социализма всполошились. Начались неистовые кружковые интриги против европейского выходца, который только вчера де вступил на американскую почву, не знает американской психологии, стремится навязать американским рабочим свои фантастические методы. Борьба развернулась с чрезвычайной остротой. В русской федерации «испытанные» и «заслуженные» Бабиты были сразу оттеснены. В немецкой федерации старик Шлютор, главный редактор «Volkszeitung» и соратник Хилквита, все больше уступал влияние молодому редактору Лоре, который шел с нами заодно. Латыши были целиком с нами. Финская федерация тяготела к нам. Мы все успешнее проникали в могущественную еврейскую федерацию с ее четырнадцатиэтажным дворцом, откуда ежедневно извергалось двести тысяч экземпляров газеты «Форвертс», с затхлым духом сентиментально-мещанского социализма, всегда готового к худшим предательствам. Среди чисто-американской рабочей массы, связи и влияние социалистической партии, в целом, и нашего революционного крыла, в частности, были менее значительны. Английская газета партии «The Call» велась в духе бессодержательного пацифистского нейтрализма. Мы решили начать с постановки боевого марксистского еженедельника. Подготовительные работы шли полным ходом. Но они были сорваны — русской революцией.

После таинственного молчания телеграфа в течение двух-трех дней пришли первые сведения о перевороте в Петербурге, смутные и хаотические. Многоплеменный рабочий Нью-Иорк был весь охвачен волнением. Хотели и боялись надеяться. Американская пресса находилась в состоянии растерянности. Отовсюду бегали в редакцию «Нового Мира» журналисты, интервьюеры, хроникеры, репортеры. На некоторые время и наша газета стала в фокусе всей

нью-иоркской печати. Из социалистических редакций и организаций звонили непрерывно.

— Пришла телеграмма о том, что в Петербурге министерство Гучкова-Милюкова. Что это значит?

— Что завтра будет министерство Милюкова-Керенского.

— Вот как! А потом?

— А потом — потом будем мы.

— Ого!

Такой диалог повторялся десятки раз. Почти все мои собеседники принимали мои слова за шутку. На узком собрании почтенных и самых почтенных русских социалдемократов я прочитал доклад, в котором доказывал неизбежность завоевания власти партией пролетариата на второй стадии русской революции. Это произвело такое же примерно действие, как камень, брошенный в болото, населенное чванными и флегматичными лягушками. Доктор Ингерман не преминул объяснить собранию, что я не знаю четырех правил политической арифметики, и что на опровержение моих бредней не стоит тратить и пяти минут.

Рабочие массы относились к перспективам революции совсем по иному. Пошли необычайные по размерам и настроению митинги во всех частях Нью-Иорка. Весть о том, что над Зимним Дворцом развевается красное знамя, вызывала повсюду восторженный рев. Не только русские эмигранты, но и дети их, часто уже почти не знающие русского языка, приходили на эти собрания подышать отраженным восторгом революции.

Я показывался в семье урывками. А там шла своя сложная жизнь. Жена устраивала гнездо. Появились у детей новые друзья. Самым главным другом был шофер доктора М. Жена доктора с моей женой возила мальчиков на прогулку и была очень с

ними ласкова. Но она была простой смертной. Шофер же был чародей, титан, сверхчеловек. Манию его руки повиновалась машина. Сидеть рядом с ним было высшим счастьем. Когда заезжали в кондитерскую, мальчики обиженно теребили мать и спрашивали: «почему шофер не с нами?»

Детская способность приспособления неизмерима. Так как в Вене мы жили большей частью в рабочих кварталах, то мальчики, кроме русского и немецкого языка, отлично владели венским диалектом. Доктор Альфред Адлер с большим удовольствием отмечал, что они говорят на диалекте, как добрый старый венский извощик (Fiakerkutscher). В цюрихской школе пришлось переходить на цюрихский диалект, который в низших классах является языком преподавания, немецкий же язык изучается, как иностранный. В Париже мальчики круто перешли на французский язык. В течение нескольких месяцев они им овладели полностью. Я не раз завидовал непринужденности их французской речи. В Испании и на испанском пароходе они провели меньше месяца. Но и этого оказалось достаточным, чтоб подхватить ряд наиболее употребительных слов и выражений. Наконец, в Нью-Иорке они в течение двух месяцев посещали американскую школу и вчерне овладели английским языком. После февральской революции они стали петроградскими школьниками. Учебная жизнь была в расстройстве. Иностранные языки улетучивались из их памяти еще быстрее, чем раньше всасывались ею. Но по-русски они говорили, как иностранцы. Мы нередко с удивлением замечали, что построение русской фразы представляет у них точный перевод с французского. Между тем по-французски они построить эту фразу уже не могли. Так на детских мозгах, как на палимпсестах, оказалась записанной история наших эмигрантских скитаний.

Когда я телефонировал из редакции жене, что в Петербурге революция, младший мальчик лежал в дифтерите. Ему было девять лет. Но он знал давно

и твердо, что революция это амнистия, возвращение в Россию и тысяча других благ. Он вскочил и плясал на кровати в честь революции. Так обозначилось его выздоровление. Мы спешили выехать с первым пароходом. Я бегал по консульствам за бумагами и визами. Накануне отъезда врач разрешил выздоравливающему мальчику погулять. Отпустив сына на полчаса, жена укладывала вещи. Сколько раз уже пришлось ей проделывать эту операцию! Но мальчик не возвращался. Я был в редакции. Прошло три томительных часа. Звонок по телефону к нам на квартиру. Сперва незнакомый мужской голос, потом голос Сережи: «я здесь». З д е с ь — означало в полицейском участке на другом конце Нью-Иорка. Мальчик воспользовался первой прогулкой, чтоб разрешить давно мучивший его вопрос: существует ли в действительности п е р в а я улица (мы жили, если не ошибаюсь, на 164-ой). Но он сбился с пути, стал расспрашивать и его отвели в участок. На счастье он помнил номер нашего телефона. Когда жена со старшим мальчиком прибыла час спустя в участок, ее встретили там веселыми приветствиями, как давно жданную гостью. Сережа, весь красный, играл с полицейским в шашки. Чтобы скрыть смущение, которое вызывал в нем избыток административного внимания, он усердно жевал черную американскую жвачку вместе со своими новыми друзьями. Зато он и до сего дня помнит номер телефона нашей нью-иоркской квартиры.

Сказать, что я познакомился с Нью-Иорком, было бы вопиющим преувеличением. Я слишком быстро погрузился в дела американского социализма, и притом с головою. Русская революция пришла слишком скоро. Я успел уловить разве лишь общий ритм жизни того чудовища, которое зовется Нью-Иорком. Я уезжал в Европу с чувством человека, который только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где будет выковываться судьба человечества. Я утешал себя тем, что когда-нибудь вернусь. И сейчас я еще не оставил этой надежды.

ГЛАВА XXIII

В концентрационном лагере

25 марта я явился в Нью-Иоркское Генеральное Консульство, откуда был уже к тому времени удален портрет Николая II, но где еще царила густая атмосфера старого русского участка. После неизбежных проволочек и препирательств, генеральный консул распорядился выдать мне документы, пригодные для проезда в Россию. В великобританском консульстве в Нью-Иорке, где я заполнил вопросные бланки, мне было заявлено, что со стороны английских властей не будет никаких препятствий к моему проезду. Все было, таким образом, в порядке.

27 марта я выехал с семьей и несколькими соотечественниками на норвежском пароходе «Христианиафиорд». Нас провожали с цветами и речами. Мы ехали в страну революции. У нас были паспорта и визы. Революция, цветы и визы наполняли наши кочевые души гармонией. В Галифаксе (Канада), где пароход подвергался досмотру английских военно-морских властей, полицейские офицеры, просматривавшие бумаги американцев, норвежцев, датчан и других лишь с формальной стороны, подвергли нас, русских, прямому допросу: каковы наши убеждения, политические планы и пр.? Я отказался вступать с ними в разговоры на этот счет. Сведения, устанавливающие мою личность, извольте получить, но не более того: внутренняя русская политика не состоит пока что под контролем британской морской полиции. Это не помешало сыскным офицерам, Меккену и Вествуду, после вторичной безрезультатной попытки допроса, наводить обо мне справки у других пассажиров. Сыскные офицеры настаивали на том, что я — terrible socialist (страшный социалист). Весь розыск имел настолько непристойный характер и ставил русских революционеров в столь исключительное положение по сравнению с другими пассажирами, не имевшими

несчастья принадлежать к союзной Англии нации, что некоторые из допрошенных тут же отправили энергичный протест великобританским властям против поведения полицейских агентов. Я этого не сделал, чтобы не жаловаться Вельзевулу на дьявола. В тот момент мы еще не предвидели, однако, дальнейшего развития событий.

3 апреля на борт «Христианиафиорд» явились английские офицеры в сопровождении матросов и от имени местного адмирала потребовали, чтобы я, моя семья и еще пять пассажиров покинули пароход. Что касается мотивов этого требования,то нам было обещано «выяснить» весь инциндент в Галифаксе. Мы объявили требование незаконным и отказались подчиниться ему. Вооруженные матросы набросились на нас и, при криках «shame» (позор) со стороны значительной части пассажиров,снесли нас на руках на военный катер, который под конвоем крейсера доставил нас в Галифакс. Когда десяток матросов держал меня на руках, мой старший мальчик подбежал ко мне на помощь и, ударив офицера маленьким кулаком, крикнул: «Ударить его еще, папа?» Ему было 11 лет. Он получил первый урок по курсу британской демократии.

Жену с детьми полиция оставила в Halifax'е. Остальных доставили по железной дороге в Amherst, лагерь, где содержались немецкие пленные. Здесь нас подвергли в конторе лагеря обыску, какого мне не приходилось переживать даже при заключении в Петропавловскую крепость. Ибо раздевание донага и ощупывание жандармами тела в царской крепости производилось с глазу на глаз, а здесь, у демократических союзников, нас подвергли бесстыдному издевательству в присутствии десятка человек. На всегда запомнился шведско-канадский сержант Ольсен, с рыжей уголовно-полицейской головой, главная фигура обыска. Те канальи, которые руководили этим предприятием издалека, прекрасно знали, что в нашем лице имеют безупречных русских революционеров,

возвращающихся в освобожденную революцией страну.

Только на другой день утром комендант лагеря, полковник Моррис, в ответ на наши непрерывные домогательства и протесты, официально изложил нам причины нашего ареста: «Вы опасны для нынешнего русского правительства», — заявил он нам кратко: полковник не был красноречив, притом лицо его имело подозрительно возбужденный характер уже с утра. — Но ведь нью-иоркские агенты русского правительства выдали нам проходные свидетельства в Россию и, наконец, заботу о русском правительстве нужно предоставить ему самому! Полковник Моррис подумал, пожевал челюстями и присовокупил: «вы опасны для союзников вообще». Никаких документов о задержании нам не предъявлялось. От себя лично полковник присовокупил, что, как политические эмигранты, которым, очевидно, недаром же пришлось покинуть собственную страну, мы не должны удивляться тому, что с нами сейчас происходит. Русская революция для этого человека не существовала. Мы попытались объяснить ему, что царские министры, превратившие нас в свое время в политических эмигрантов, сами сейчас сидят в тюрьме, поскольку не успели эмигрировать. Но это было слишком сложно для господина полковника, который сделал свою карьеру в английских колониях и на войне с бурами. Так как я разговаривал с ним без должной почтительности, то он прорычал за моей спиною: «Попался бы он мне на южно-африканском побережье . . .» Это вообще была его любимая поговорка.

Жена моя не была формально политической эмиграноткой, так как выехала заграницу с законным паспортом. Тем не менее и она оказалась арестованной вместе с двумя нашими мальчиками, 11 и 9 лет. Слова об аресте детей не преувеличение. Сперва канадские власти пытались поместить мальчиков отдельно от матери в детский приют. Потрясенная этой перспективой жена моя заявила, что ни за что не по-

зволит себя отделить от них. Только в результате ее протеста мальчики были помещены вместе с нею на квартире англо-русского полицейского агента, который, в предупреждение «незаконной» отправки писем или телеграмм, не выпускал детей на улицу, даже отдельно от матери, иначе, как под надзором. Лишь через 11 дней жена и дети были переведены в отель с обязательством ежедневно являться в полицию.

Военный лагерь Amherst помещался в старом, до последней степени запущенном здании чугунно-литейного завода, отнятого у собственника-немца. Нары для спанья расположены были в три ряда вверх и в два ряды вглубь с каждой стороны помещения. В этих условиях нас жило 800 человек. Не трудно себе представить, какая атмосфера царила в этой спальне по ночам. Люди безнадежно толпились в проходах, толкали друг друга локтями, ложились, вставали, играли в карты или в шахматы. Многие мастерили, некоторые — с поразительным искусством. У меня и сейчас сохранились в Москве изделия амхертских пленных. Среди заключенных, несмотря на героические усилия, которые они делали для своего физического и нравственного самосохранения, имелось пять помешанных. Мы спали и ели с этими помешанными в одном помещении.

Из 800 пленных, в обществе которых я провел почти месяц, было около 500 матросов с затопленных англичанами немецких военных кораблей, около 200 рабочих, которых война застигла в Канаде, и около сотни офицеров и штатских пленных из буржуазных кругов. Отношения наши с немецкими товарищами по плену стали определяться по мере того, как они уясняли себе, что мы арестованы, как революционные социалисты. Офицеры и старшие морские унтера, помещавшиеся за досчатой перегородкой, сразу зачислили нас в разряд врагов. Зато рядовая масса все более окружала нас сочувствием. Этот месяц жизни в лагере походил на сплошной митинг. Я рассказывал пленным о русской революции, о Либкнехте, о Ле-

нине, о причинах крушения старого Интернационала, о вмешательстве Соединенных Штотов в войну. Помимо публичных докладов у нас шли непрерывные групповые беседы. Дружба наша становилась теснее с каждым днем. По настроению рядовая масса пленных делилась на две группы. Одни говорили: «нет, довольно, с этим надо покончить раз на всегда». Эти мечтали об улице и площади. Другие говорили: «Какое им дело до меня? нет, больше я им не дамся . . .» — Как же ты спрячешься от них? спрашивали другие. Углекоп Бабинский, высокий, голубоглазый силезец, говорил: «Я с женой и детьми поселюсь в глубоком лесу, понастрою кругом волчьих ям, не буду из дому выходить без ружья. Не смей никто приближаться»... И меня не пустишь, Бабинский? — И тебя не пущу. Никому не верю . . . — Матросы всячески старались облегчить мне условия существования, и только путем настойчивых протестов я отвоевал свое право стоять в очереди за обедом и участвовать в общих трудовых нарядах по подметанию полов, чистке картофеля, мойке посуды и приведению в порядок общей уборной.

Отношения между рядовой массой и офицерами, из которых некоторые и в плену вели кондуитные списки «своим» матросом, были враждебны. Офицеры кончили тем, что обратились к коменданту лагеря, полковнику Моррису, с жалобой на мою антипатриотическую пропаганду. Британский полковник встал немедленно на сторону гогенцоллернского патриотизма и запретил мне дальнейшие публичные выступления. Это произошло, впрочем, уже в последние дни нашего пребывания в лагере и только теснее сблизило меня с матросами и рабочими, которые ответили на запрещение полковника письменным протестом за 530 подписями. Такого рода плебисцит, проведенный под тяжелой рукой сержанта Ольсена, дал мне полное удовлетворение за все тяготы ахмерстского плена.

В течение всего нашего пребывания в лагере, власти неизменно отказывали нам в праве сноситься с русским правительством. Наши телеграммы в Петро-

град не пересылались. Мы сделали попытку обжаловать это запрещение в телеграмме Ллойд-Джорджу, английскому министру-президенту. Но и эта телеграмма не была пропущена. Полковник Моррис привык в колониях к упрощенному habeas corpus'у. К тому же его прикрывала война. Прежде, чем разрешить мне свидание с женой, коммендант поставил условием, чтобы я не давал ей никаких поручений к русскому консулу. Это может показаться невероятным, но это факт. Я отказался от свидания. Разумеется, и консул нисколько не торопился притти нам на помощь. Он ждал инструкций. А инструкции, очевидно, не приходили.

Нужно сказать, что закулисная механика нашего ареста и нашего освобождения мне и сейчас не вполне ясна. Английское правительство вписало мое имя в свои черные списки еще, должно быть, во время моей работы во Франции. Оно всячески помогало царскому правительству вытеснить меня из Европы. Очевидно, на основании этих старых списков, подкрепленных сведениями о моей антипатриотической деятельности в Америке, британские власти и арестовали меня в Галифаксе. Когда весть об аресте проникла в революционную русскую печать, британское посольство, не опасаясь очевидно моего возвращения, разослало петроградским газетам официальное сообщение о том, что арестованные в Канаде русские ехали «с субсудией от германского посольства для низвержения временного правительства». Это было, по крайней мере, недвусмысленно. Руководимая Лениным «Правда», несомненно, пером самого Ленина, ответила Бьюкенену 16 апреля: «Можно ли поверить хоть на минуту в добросовестность того сообщения, что Троцкий, бывший председатель совета рабочих депутатов в Петербурге в 1905 году, — революционер, десятки лет отдавший бескорыстноний службе революции, — что этот человек имел связь с планом, субсидированным германским правительством? Ведь это явная, неслыханная, бессовестная клевета на ре-

волюционера! От кого вы получили это сообщение, г. Бьюкенен? почему вы не скажете это? .. Шесть человек за руки и за ноги тащили товарища Троцкого — все это во имя дружбы к русскому временному правительству!» . . .

Какова была во всем этом деле роль самого временного правительства, менее ясно. Что Милюков, тогдашний министр иностранных дел, всей душой стоял за мой арест, не требует доказательств: он еще с 1905-го года вел злобную борьбу с «троцкизмом»; самый этот термин принадлежит ему. Но Милюков зависел от советов и должен был маневрировать с тем большей осторожностью, что его социалпатриотические союзники еще не втянулись в травлю большевиков.

В своих воспоминаниях британский посол Бьюкенен изображает дело так, что «Троцкий и другие были задержаны в Галифаксе впредь до выяснения намерений временного правительства в отношении их». Милюков был немедленно поставлен, по словам Бьюкенена, в известность о нашем аресте. Уже 8 апреля британский посол передавал будто бы своему правительству просьбу Милюкова о нашем освобождении. Но два дня спустя тот же Милюков взял свою просьбу назад и выразил надежду, что мы будем задержаны и далее в Галифаксе. «Поэтому, заключает Бьюкенен, именно временное правительство ответственно за их дальнейшее задержание». Все это очень похоже на правду. Бьюкенен только забывает объяснить в своих мемуарах, что сталось с полученной мною для низвержения временного правительства немецкой субсидией. И немудренно: припертый мною к стене, тотчас по моем прибытии в Петроград, Бьюкенен оказался вынужден заявить в печати, что ничего вообще об этой субсидии не знает. Никогда люди так не лгали, как во время «великой», «освободительной» войны. Если-б ложь имела разрывную силу, наша планета обратилась бы в пыль задолго до версальского мира.

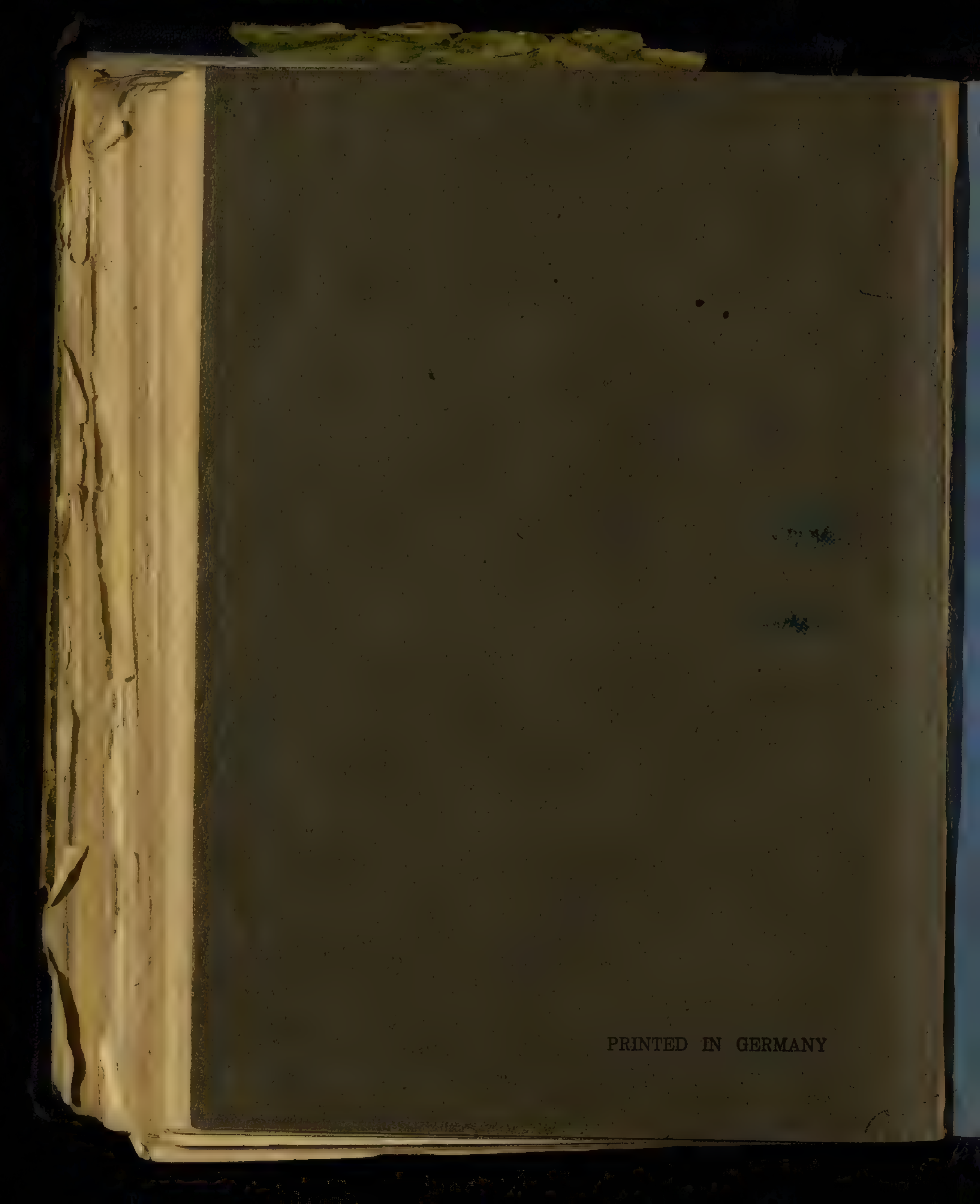
В конце концов совет вмешался, и Милюков должен был сдать. 29 апреля пробил час нашего освобождения из концентрационного лагеря. Но нас и освободили с применением насилия. Нам просто было приказано сложить свои вещи и отправиться под конвоем. Мы потребовали, чтобы нам объявили, куда и с какой целью нас отправляют. Нам отказали. Пленные волновались, думая, что нас увозят в крепость. Мы потребовали вызова ближайшего русского консула. Нам отказали. У нас было достаточно оснований не доверять добрым намерениям этих господ с большой морской дороги. Мы заявили, что добровольно не поедем, пока нам не скажут о цели нового путешествия. Комендант приказал применить силу. Конвойные солдаты вынесли наш багаж. Мы упорно лежали на нарах. И только тогда, когда конвой оказался лицом к лицу перед задачей выносить нас самих на руках, как выносили нас с парохода месяц перед тем, да еще на этот раз через толпу возбужденнных матросов, комендант уступил и заявил в свойственном ему англо-колониальном стиле, что он нас посадит на датский пароход для отправки в Россию. Багровое лицо полковника подергивалось конвульсиями. Он никак не хотел мириться с мыслью, что мы ускользаем из его рук. Попались бы мы ему на африканском берегу! . . .

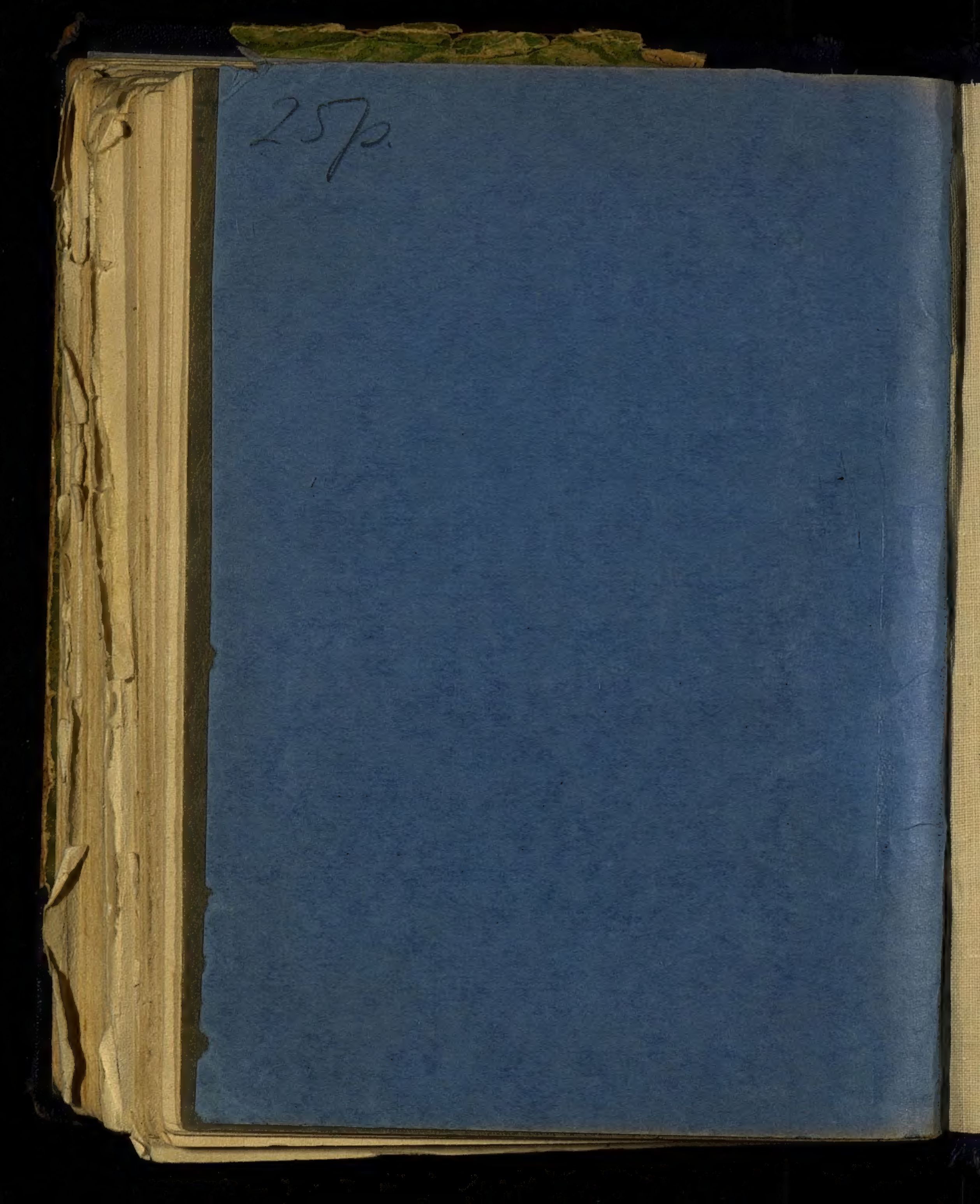
Когда нас уводили из лагеря, сотоварищи по плену устроили нам торжественные проводы. В то время, как офицеры замкнулись в своих отделениях, и только некоторые просовывали нос в щель, матросы и рабочие стали шпалерами вдоль всего прохода, самодельный оркестр играл революционный марш, дружеские руки тянулись к нам со всех сторон. Один из пленных произнес короткую речь, — привет русской революции, проклятие германской монархии. Вспоминаю и сейчас с теплотой, как братались мы в разгар войны с немецкими матросами в Амхерсте. От многих из них я получал в следующие годы дружеские письма из Германии.

Британскому жандармскому офицеру Меккену, который подверг нас аресту и прибыл к нашему отъезду, я пригрозил на прощанье, что первым делом внесу в Учредительном Собрании запрос министру иностранных дел Милюкову относительно издевательств англо-канадской полиции над русскими гражданами.

— Надеюсь, — ответил находчивый жандарм, — что вы не попадете в Учредительное Собрание.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА


PRINTED IN GERMANY


25р.



